

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Сейчас, когда я взялся за перо, чтобы на досуге и в полном уединении (я, кстати сказать, еще здоров, хотя и чувствую себя усталым, очень усталым, так что писать придется понемногу, с передышками), итак, когда я собрался четким, красивым почерком, который мне дан от бога, поверить долготерпеливой бумаге свою исповедь, меня вдруг взяло сомнение – достаточно ли я просвещенный и образованный человек, чтобы справиться с этой задачей. Но поелику я собираюсь рассказывать о своей собственной жизни, своих собственных страстях и заблуждениях, то материал, разумеется, мне знаком досконально, и сомневаюсь я лишь в своем умении с должным изяществом и тактом излагать события; хотя тут, по-моему, законченное образование играет меньшую роль, нежели природные способности и светское воспитание. А таковое я получил, ибо происхожу, из, что называется, «хорошей», хотя и непутевой, бюргерской семьи. Я и моя сестра Олимпия довольно долгое время находились под присмотром гувернантки из Веве, которой впоследствии пришлось покинуть наш дом по причине чисто женского соперничества, возникшего между ней и моей матерью. Дело касалось моего отца. Мой крестный Шиммельпристер[1 - Фамилия Шиммельпристер состоит из двух немецких слов: Schimmel – плесень и Priester – пастырь, священник.], с которым меня связывали самые дружеские отношения, был весьма уважаемым художником, и в нашем городишке его неизменно величали господином профессором, хотя этот почетный титул вряд ли был официально ему присвоен. Отец же мой, несмотря на свою тучность, отличался удивительной легкостью движений и очень заботился об изысканной ясности своей речи. В его жилах текла унаследованная от бабки французская кровь; годы учения он провел во Франции и уверял, что знает Париж как свои пять пальцев. Ему нравилось вставлять в разговор словечки вроде: «c'est ça», «epatant» или «parfaitement»[2 - это так; удивительно; чудесно (франц.)], – произношение у него было великолепное; любил он и обороты вроде «О, я это гутирую» – и до конца своих дней оставался любимцем женщин. Но возвращаюсь к моим врожденным стилистическим способностям; на них я полагался всю свою жизнь и думаю, что могу положиться и сейчас, при этом первом своем выступлении на литературном поприще. Вообще же свои заметки я буду писать с полнейшим чистосердечием, не страшась упреков ни в тщеславии, ни даже в бесстыдстве, ибо что проку в воспоминаниях, ежели они не откровенны!

Я родился в Прирейнской области, в благословенном краю, где мягок не только климат, но и рельеф местности не знает резких переходов, в краю густонаселенном, обильном веселыми городами и деревушками и едва ли не самом очаровательном на земле. Здесь, в сиянье полуденного солнца, защищенные рейнскими горами от суровых ветров, цветут и зеленеют селенья, при одном имени которых радостно бьется сердце бражника: Рауэнталь, Иоганнисберг, Рюдесгейм; здесь же приютился и почтенный городок, где за несколько лет до славного основания Германской империи я впервые увидел свет. Расположенный чуть западнее колена, образуемого Рейном у города Майнца, и знаменитый своими шипучими винами, он насчитывает около четырех тысяч жителей и является главным местом стоянки пароходов, снующих вверх и вниз по течению.

До веселого Майнца оттуда рукой подать, так же как и до прославленных курортов Висбадена, Гамбурга, Лангеншвальбаха, а до Шлангенбада и вовсе не больше получаса езды по узкоколейке. В погожие дни мои родители, сестра и я часто совершали поездки в экипаже, на пароходе или по железной дороге в направлении всех стран света, ибо красоты природы привлекали нас не меньше, чем достопримечательности, созданные рукой человека. Как сейчас вижу отца: в клетчатом просторном костюме он сидит вместе с нами под навесом какой-нибудь харчевни, довольно далеко от стола – брюшко мешало ему придвинуться ближе – и с наслаждением уписывает крабов, запивая их золотистым вином. Крестный Шиммельпристер тоже частенько ездил с нами и сквозь круглые очки зорко вглядывался в местность и в людей, равно принимая великое и малое в свою артистическую душу.

Мой бедный отец был владельцем фирмы «Энгельберт Круль», выпускавшей шипучее вино марки «Лорелея экстра кюве», ныне уже позабытой. Погребов фирмы находились на берегу Рейна, неподалеку от причала. Мальчиком я нередко бродил под их сумрачными сводами, погруженный в задумчивость, прохаживался меж высоких стеллажей и рассматривал полчища бутылок, которые в наклонном положении громоздились одна над другой до самого верху. «Вот вы лежите, – думал я (хотя, конечно, в ту пору еще не облакал свои мысли в столь точные слова), – лежите, окутанные сумраком подземелья, а в вашей утробе потихоньку зреет колючий золотистый сок, который со временем участит биение многих сердец, заставит просветлеть не одну пару глаз. Сейчас вы нагие, невзрачные, но придет день – и, великолепно разубранные, вы покинете подземный мир, чтобы на празднике, на свадьбе, в отдельном кабинете задорно выстрелить пробкой в потолок и вселить в захмелевших людей радостное безрассудство». Мальчиком я и вправду говорил что-то в этом роде и не без основания: фирма «Энгельберт Круль» придавала огромнейшее значение внешнему виду своих бутылок, то есть тому, что на языке виноделов называется «прической». Пробки, окруженные серебряной проволокой и позолоченными веревочками, были залиты красным лаком; мало того, сбоку на золотом шнуре болталась торжественная круглая печать, как на папских буллах или старинных имперских грамотах; горлышко щедро обертывалось станиолом, а ниже красовалась золотообрезанная этикетка, эскиз которой, по заказу фирмы, сделал крестный Шиммельпристер. На ней, кроме многочисленных гербов и звезд, вензеля моего отца и вытисненного золотыми буквами названия «Лорелея экстра кюве», была еще изображена женщина, всю одежду которой составляли браслеты и ожерелья. Закинув ногу на ногу, она сидела на утесе, держа гребень в высоко поднятой руке, и чесала свои золотые волосы. Надо сказать, что качество вина не вполне соответствовало этому блистательному оформлению.

– Круль, – говаривал отцу крестный Шиммельпристер, – я не хочу вас огорчать, но полиции следовало бы запретить ваше вино: неделю назад я соблазнился, раскупорил полбутылки, и вот мой организм еще и по сей час не оправился от этой авантюры. Скажите на милость, какую дрянь вы туда добавляете – керосин или сивуху? Короче говоря, вы отравитель. Бойтесь правосудия!

Мой бедный отец конфузился: он был слабый человек и пасовал перед резкой критикой.

– Вам легко насмешничать, Шиммельпристер, – отвечал он, по привычке поглаживая свое брюшко кончиками пальцев, – а мне надо выпускать дешевый товар. Очень уж у нас сильно предубеждение против отечественной продукции. Одним словом, я потчую людей тем, чего они от меня ждут. Вдобавок меня еще и конкуренция душит, я уж и так едва держусь. – Вот что обычно отвечал мой отец.

Мы жили в одной из тех очаровательных вилл, что во множестве лепятся по отлогим берегам Рейна и так красят прирейнский ландшафт. Сад наш, спускавшийся к реке, был

щедро изукрашен гномами, грибами и прочими искусно сделанными из фаянса фигурками; среди них на постаменте покоился большой блестящий шар, уморительно искажавший лица. Кроме того, в саду имелись эолова арфа, несколько гротов и фонтан, струи которого мудрено сплетались в воздухе и ниспадали в бассейн, где резвились серебристые рыбки.

Внутри наш дом, в согласии со вкусом отца, был убран изящно и весело. Уютные ниши и эркеры так и манили к отдыху; в одном из них даже стояла настоящая прялка. На бесчисленных этажерках и плюшевых столиках каких только не было безделушек: стаканчики, раковины, полированные шкатулки, флакончики с ароматическими веществами; по диванам и кушеткам были разбросаны подушечки, пестро расшитые шелками, – отец любил понежиться; карнизы на окнах имели форму алебард; в дверных проемах висели легкие занавеси из тростника и разноцветных бисерных нитей – те, что на первый взгляд кажутся сплошной стеной, но при первом прикосновении расступаются с чуть слышным стуком и шелестом, чтобы тотчас вновь сомкнуться за вошедшим. В прихожей над входными дверями у нас имелось хитроумное устройство: покуда дверь, сдерживаемая особым пневматическим приспособлением, медленно закрывалась, оно тоненько выводило начало песни «Жизни возрадуйтесь!»

2

В этом доме в дождливый и теплый майский день – кстати сказать, в воскресенье – я появился на свет. Отныне я постараюсь не забегать вперед, а неукоснительно придерживаться хронологии. Рождение мое, если верить рассказам домашних, протекало медленно и даже не без искусственного вмешательства, к которому прибег тогдашний наш врач, доктор Мекум, главным образом потому, что я – если только я вправе так обозначать то далекое и вовсе чужое мне существо – вел себя очень бездеятельно и безучастно, почти не разделяя усилий матери и не выказывая ни малейшей охоты явиться в тот мир, который впоследствии мне суждено было столь страстно полюбить. Тем не менее я оказался здоровым, крепким ребенком, которому безусловно шло на пользу молоко заботливо выбранной кормилицы. Раздумывая над странной своей вялостью и явной неохотой сменить мрак материнского лона на дневной свет, я пришел к выводу, что все это стоит в прямой связи с моей удивительной сонливостью, я бы даже сказал – с даром сна, проявившимся у меня еще в младенчестве. Говорят, что ребенком я не был ни крикуном, ни непоседой, а, напротив, к вящему удовольствию моих нянек, очень любил поспать или, на худой конец, подремать.

И хотя впоследствии меня так влекло в мир, к людям, что я являлся им даже под различными именами, ночь и сон всегда были как бы второй моей жизнью; я легко засыпал, даже не будучи усталым, впадал в глубокое темное забытие и когда просыпался после десяти – двенадцати, даже четырнадцати – часового сна, то чувствовал себя куда более бодрым и счастливым, чем после дневных впечатлений и радостей.

Это необычное упоенье сном, казалось, стоит в прямом противоречии с тем неутомимым влечением к жизни и любви, которое владело мной и о котором я еще буду говорить в свое время. Как сказано, я не раз возвращался мыслью к этому странному явлению и временами даже ясно осознавал, что эти две мои особенности не только не противоречат одна другой, но, напротив, неразрывно между собою связаны. Теперь, когда я – всего только сорокалетний человек, но состарившийся, утомленный и утративший жадное любопытство к людям – живу в полном уединении, «дар сна» начинает изменять мне. Сон мой стал кратким, неглубоким, чутким, тогда как в свое время в тюрьме, где для сна была пропасть времени, я спал даже крепче, чем на мягких

постелях Палас-отеля. Но я опять согрешил и забежал вперед.

Мои домочадцы часто твердили мне, что ребенок, родившийся в воскресенье, – счастливец. И хотя я рос в семье, чуждой всякого суеверия, но этому обстоятельству, в сопоставлении с именем Феликс[3 - Феликс (felix) по-латыни означает «счастливый».] (меня нарекли так в честь крестного Шиммельпристера) и моей располагающей внешности, я почему-то приписывал особое таинственное значение. Да, вера в свое счастье, в то, что я любимец богов, постоянно жила во мне и, несмотря ни на что, меня не обманула. Странная особенность моей жизни – все страдания и муки, выпавшие мне на долю, я воспринимал как нечто случайное, мне не predetermined, и сквозь них для меня неизменно мерцало солнечным светом мое истинное предназначение... Я отклонился в сторону, но сейчас уже перейду к воссозданию (хотя бы в общих чертах) картины моего детства.

Отъявленный фантазер, я постоянно веселил своих домашних всевозможными выдумками и затеями. Мне помнится, правда, может быть, по рассказам взрослых, что совсем еще малышом, в платьице, я любил воображать себя кайзером[4 - ...я любил воображать себя кайзером... – Речь идет о германском императоре и короле прусском Вильгельме I (1797–1888). «Седовласым героем» художник Шиммельпристер называет кайзера потому, что он номинально числился главнокомандующим во время франко-прусской войны 1870–1871 годов (фактически главнокомандующим немецкой армии был начальник генерального штаба Мольтке-старший). В 1871 году Бисмарк осуществил давно намеченное им объединение немецких земель под гегемонией Пруссии, и Вильгельм I, на 75-м году жизни, был провозглашен главою новой («второй») германской империи.] и часами с необыкновенным упорством играл в эту игру. Сидя в колясочке, которую моя няня возила по саду или по обширной прихожей нашего дома, я, почему – неизвестно, силился как можно больше опустить нижнюю губу, отчего верхняя растягивалась чуть ли не до ушей, и так часто моргал глазами, что слезы набегали на них, впрочем, не только от быстрого движения век, но и от внутренней моей растроганности. Притихший, потрясенный сознанием своего старческого величия, я сидел в колясочке, а нянька рассказывала всем встречным и поперечным о том, кого она катает, так как пренебрежение моей ребячьей выдумкой меня бы страшно огорчило. «Вот везу гулять кайзера», – объявляла нянька и прикладывала ладонь к виску, – так по ее представлению отдавали честь, – в ответ на что прохожие отвешивали мне поклоны. Крестный Шиммельпристер любил мне подыгрывать, чем еще больше укреплял меня в сознании моего величия. «Смотрите-ка, вот едет наш седовласый герой», – восклицал он при встрече и склонялся передо мной чуть ли не до земли. Затем он становился на моем пути следования, изображая народ, кричал «виват», подбрасывал в воздух шляпу, трость, даже очки и смеялся до коллик в животе, видя, как от избытка растроганности слезы скатываются у меня по растянутой верхней губе.

Этой игрой я увлекался и в более поздние годы, когда уже не мог рассчитывать на поддержку взрослых. Впрочем, я в ней и не нуждался, а скорее даже радовался самовольной независимости моей фантазии. Так, например, я просыпался утром с твердым намерением весь день быть восемнадцатилетним принцем по имени Карл и твердо держался этого решения не только до вечера, но много дней подряд.

Неоценимое преимущество этой игры состояло в том, что ее можно было ни на мгновение не прерывать, даже во время невыносимо скучного сиденья в классе. Я рядился в снисходительное величие, вел остроумные и любезные разговоры с гувернером или адъютантом, которых выдумывал себе в помощь, и был неописуемо счастлив и горд тайной своего возвышенного августейшего существования. Какой дивный дар фантазии, какие наслаждения она нам доставляет! Глупыми и жалкими казались мне другие мальчишки, явно лишенные этого дара, а следовательно, и скрытых

радостей, которые я без каких бы то ни было внешних приготовлений, одним только сосредоточением воли извлекал из него! Впрочем, обыкновенным мальчишкам, со щетинистой шевелюрой и красными руками, было бы уж очень не к лицу воображать себя принцами. У меня же были редко встречающиеся у мужчин белокурые шелковистые волосы, которые в сочетании с серо-голубыми глазами так странно контрастировали с золотистой смуглостью моей кожи, что на первый взгляд никто не мог даже определить – блондин я или брюнет, и меня с одинаковым успехом принимали то за того, то за другого. Я очень рано начал следить за своими руками, не слишком узкими, но приятной формы, которые, кстати сказать, не потели, оставаясь всегда умеренно теплыми и сухими; ногти мои тоже радовали глаз своим изяществом. В голосе у меня, еще до того, как он установился, было что-то ласкавшее слух, и наедине с собою, во время долгих и занимательных разговоров с невидимым гувернером на изобретенном мною тарбарском наречии, я с удовольствием прислушивался к его звуку. Подобные внешние преимущества – вещь довольно невесомая; определению здесь поддается разве что эффект, ими производимый, – говорить же об этом трудно, даже человеку, свободно владеющему словом. Так или иначе, но мне было очевидно, что я создан из более благородного материала, чем мои сверстники. Говоря это, я не страшусь упрека в самовлюбленности. Меня такой упрек задеть не может, я был бы лицемером или дураком, если бы оценивал себя как дюжинный товар. Поставив себе за правило неукоснительно держаться истины, я повторяю, что был создан из благороднейшего материала.

Подрастая в одиночестве (сестра Олимпия была на несколько лет старше меня), я питал склонность к необычным, мудреным занятиям, примеры которых сейчас приведу. Во-первых, мне вздумалось на самом себе изучать и наблюдать силу человеческой воли, таинственную силу, способную к проявлениям почти сверхъестественным. Всем известно, что зрачок наш сужается и расширяется в зависимости от силы света, попадающего в него. И вот я вбил себе в голову подчинить это произвольное движение своенравных мускулов моей воле. Я становился перед зеркалом и, стараясь выключить любую другую мысль, сосредоточивал всю свою душевную силу на приказе зрачкам – сузиться или расшириться по моему усмотрению. И смею заверить, что мои настойчивые упражнения увенчались полным успехом. Поначалу, несмотря на внутреннее напряжение – такое, что пот выступал у меня на лбу и кровь отливала от лица, – зрачки мои только неравномерно мерцали; но со временем я действительно научился приказывать им суживаться до крохотных точек или расширяться до больших блестящих черных кругов. Удовлетворение, которое я испытывал от такого успеха, уже граничило со страхом; я содрогался, думая о тайнах человеческой природы.

Другая фантазия, очень меня занимавшая и поныне еще не утратившая для меня известного смысла и обаяния, состояла в следующем. «Что желательнее, – спрашивал я себя, – видеть мир малым или великим?»

Мысль моя шла так: для великих людей – полководцев, крупных государственных умов, прирожденных завоевателей и властелинов, мощно возвышающихся над толпой, мир, должно быть, выглядит малым, как шахматная доска, иначе у них не достало бы жестокости и спокойствия духа на то, чтобы дерзко и беззаботно подчинять своим планам счастье и горе отдельных людей. Но, с другой стороны, подобная ограниченность кругозора, несомненно, может сделать человека никчемным, ибо тому, кто рано научается пренебрежению и ни во что не ставит мир и человечество, грозит опасность увязнуть в безразличии, вялости и воздействию на людские души хмуро предпочесть собственный покой. Я уж не говорю о том, что бесчувственность такого человека, его безучастность и неподвижность, на каждом шагу оскорбляя людское самолюбие, отрежут ему путь даже к случайному жизненному успеху. «Не разумнее ли, не лучше ли, – спрашивал я себя, – видеть в мире и в человеке нечто прекрасное, важное, достойное

любых усилий, самого трудного служения, чтобы, в свою очередь, добиться известного почета и доброй славы? Но против такого уважительного виденья мира говорит то, что оно с легкостью может привести к недооценке себя, к преувеличенной застенчивости, и тогда жизнь с насмешливой улыбкой пронесется мимо робкого и почтительного юнца в компании более мужественных любовников. Но, с другой стороны, благоговейная вера в жизнь дает человеку значительные преимущества. Ибо тот, кто все и всех принимает всерьез, не только будет приятен людям и, таким образом, добьется известного успеха в жизни, но самые его мысли и поступки неизбежно станут серьезными, страстными, ответственными, что, конечно, возвысит его в глазах людей, внушит им уважение и будет способствовать его значительному продвижению на жизненном поприще». Так я размышлял, взвешивая все «за» и «против».

Сам я произвольно, просто в соответствии со своей натурой, пользовался только второй возможностью; для меня мир, великий и бесконечно привлекательный, всегда был дарителем несказанно сладостных блаженств, достойным любых усилий, заслуживающим самых страстных домогательств.

3

Такие философские эксперименты внутренне отобщали меня от моих сверстников и школьных товарищей, которые предавались развлечениям, более принятым в нашем городишке; с другой стороны, всех этих мальчиков, сыновей помещиков-виноделов и чиновников, родители предостерегали против меня и, как вскоре выяснилось, даже запрещали им со мной водиться. Один из них, которого я попробовал пригласить к себе, сказал мне прямо в лицо, что дружить со мной и бывать у меня ему запрещено, так как наш дом недостаточно благоприличен. Меня это больно задело, и дружба с ним, в общем ничем не привлекательная, стала казаться мне весьма и весьма заманчивой. Но, по правде говоря, мнение, сложившееся в городке о нашем доме, было небезосновательно.

Я уже в самом начале упомянул о расстройстве, внесенном в нашу семейную жизнь гувернанткой из Веве. Отец действительно приволокнулся за нею и достиг вожделенной цели, отчего между моими родителями возникла размолвка, в результате которой отец на несколько месяцев уехал в Майнц – это случалось уже не впервые – передохнуть и пожить холостяцкой жизнью. Вообще же моя мать, женщина мало интересная и не особенно умная, была неправа, столь сурово обходясь с отцом, ибо сама, так же как и моя сестра Олимпия (толстая и весьма плотоядная особа, впоследствии не без успеха подвизавшаяся на опереточной сцене), в нравственном отношении стояла ничуть не выше его; только легкомыслию отца было присуще известное обаяние, тогда как в их упорной жажде наслаждений оно начисто отсутствовало.

Мать и дочь связывала на редкость интимная дружба; однажды, например, мне довелось видеть, как старшая сантиметром измеряла объем бедер младшей, сравнивая их со своими; я потом несколько часов кряду ломал себе голову над тем, что бы это могло значить. В другой раз, когда я уже смутно разбирался во всех таких делах, хотя ничего еще не мог определить словами, я стал тайным свидетелем того, как они обе донимали игривыми приставаниями работавшего у нас маляра – темноглазого паренька в белой блузе – и наконец до того его разгорячили, что он, не смыв зеленых усов, которые эти дамы ему намалевали масляной краской, как одержимый гнался за ними до самого амбара, где они укрылись с отчаянным визгом.

Так как мои родители смертельно скучали друг с другом, то к ним часто наезжали гости из Майнца и Висбадена, и тогда в доме становилось шумно и парадно. Общество у нас

собиралось самое разношерстное; несколько молодых фабрикантов, актеры и актрисы, один армейский лейтенант болезненного вида, позднее сватавшийся к моей сестре Олимпии, еврей-банкир с супругой, которая удручающим образом выпирала из своего расшитого стеклярусом платья, журналист в бархатной жилетке и с прядью, упавшей на лоб, всякий раз приводивший с собой новую подругу жизни, и множество других. Обычно гости съезжались к обеду, подававшемуся в семь часов; тогда шум, звуки рояля, шарканье танцующих, смех и взвизгивания уже не смолкали всю ночь напролет. Но высшей своей точки буря веселья достигала на масленицу и во время сбора винограда. В такие дни мой отец, очень искусный и сведущий в пиротехнике, собственноручно пускал великолепные фейерверки; фаянсовые гномы, залитые магическим светом, выступали из-за кустов, а прихотливые маски, в которые рядились собравшиеся, способствовали еще большей распушенности. Я в то время был учеником реального училища, и когда утром, часов в семь или в половине восьмого, только что умывшись холодной водой, я шел в столовую завтракать, гости, расслабленные, помятые, щурясь от дневного света, еще сидели за кофе и ликерами; меня приветствовали громкими криками и усаживали за стол.

Подростком я уже присутствовал на обедах и увеселениях, которые за ними следовали, наравне с моей сестрой Олимпией. У нас в доме вообще был хороший стол, и отец за обедом всегда пил шампанское пополам с содовой водой. Но при гостях подавалось бесконечное множество яств, великолепно приготовленных первоклассным поваром из Висбадена с помощью нашей кухарки; пикантные, возбуждающие аппетит кушанья умело чередовались с освежающими, «Лорелея экстра кюве» лилось рекой, но, кроме него, пили и хорошие вина, например «Бернкаслер доктор», букет которого был мне особенно приятен. В более зрелые годы я отведал еще немало превосходных вин и научился с небрежным видом заказывать «Гран вэн Шато Марго» и «Гран крю Шато Мутон Ротшильд».

Я люблю вспоминать, как отец со своей седой остроконечной бородкой, в неизменном белом жилете, плотно облегавшем его брюшко, председательствовал за столом. У него был слабый голос и привычка со сконфуженным выражением опускать глаза, но довольство явно читалось на его красном лоснящемся лице. «C'est ça, – говорил он, – епатант, parfaitement», – и изящными движениями пальцев с чуть загнутыми вверх кончиками орудовал бокалами, салфеткой, ножами и вилками. Мать и сестра в это время предавались бессмысленному кокетству и хихикали, прячась за своими веерами.

После обеда, когда сигарный дым уже плавал вокруг газовой люстры, начинались танцы и игра в фанты. Поздним вечером меня отсылали в постель, но так как музыка и шум все равно не давали мне уснуть, то я обычно вставал, набрасывал на себя красное шерстяное одеяло и живописно в него драпируясь к великому удовольствию женщин, возвращался в столовую. Всевозможные вина, закуски, жженка, лимонады, селедочные паштеты и винные желе сменяли друг друга до самого утреннего кофе. Танцы становились непристойными, фанты служили предлогом для поцелуев и других интимных прикосновений. Женщины в низко вырезанных платьях со смехом перегибались через спинки стульев, волнуя кавалеров выставленными напоказ прелестями, но высшей точки все это достигало, когда кто-нибудь внезапно гасил свет: тут уж кутерьма поднималась невообразимая.

Эти-то веселые сборища, или, вернее, связанные с ними расходы, и вызывали в городке подозрительное отношение к нашему дому; поговаривали (увы, с полным на то основанием), что дела моего бедного отца из рук вон плохи и что дорогостоящие фейерверки и обеды безусловно вконец разорят его. Такое недоверие общества, которое я при моей чуткости довольно рано обнаружил, в соединении с некоторыми странностями моего характера, обрекавшими меня на одиночество, причиняло мне

немало горя. Тем больше радости доставило мне одно приключение, которое я и сейчас с удовольствием припоминаю во всех его подробностях.

Мне было восемь лет, когда вся наша семья выехала на лето в близлежащий знаменитый курорт Лангеншвальбах. Отец лечился там грязевыми ваннами от приступов подагры, время от времени ему досаждавших, а мать и сестра обращали на себя внимание публики преувеличенно модными шляпами.

Там, как, впрочем, и везде, компания, группировавшаяся вокруг нас, приносила нам мало чести. Жители ближних мест нас избегали; аристократические иностранцы скупались на завязывание знакомства и держались особняком, как и положено аристократам. Те же, что разделяли с нами свой досуг, никак не могли считаться сливками общества. И все-таки мне было хорошо в Лангеншвальбахе; я всегда любил пребывание на курортах и впоследствии неоднократно избирал их ареной своей деятельности. Спокойствие, беззаботная и размеренная жизнь, встречи с холеными аристократами на спортивных площадках и в парках – все это мне по душе. Но в то лето ничто не привлекало меня больше, чем ежедневные концерты отличного курортного оркестра. Я всю жизнь был фанатическим поклонником музыки – этого обворожительного искусства, хотя сам и не выучился играть ни на одном инструменте. Уже тогда, совсем еще ребенок, я не в силах был уйти из павильона, где одетые в изящную форму оркестранты под управлением маленького капельмейстера с цыганским лицом исполняли всевозможные попури и отрывки из опер. Часами сидел я на ступеньках этого изящного храма музыки, замороженный прелестным хороводом упорядоченных звуков, и в то же время следил горящими глазами за движениями исполнителей, так по-разному обходившихся со своими инструментами. Больше всего меня поражали скрипачи. И дома, вернее – в гостинице, я развлекал своих тем, что при помощи двух палок – подлиннее и покороче – старался как можно более похоже воспроизвести повадки первой скрипки: зыбкие движения левой руки, заставляющей инструмент издавать прочувствованные звуки, мягкий переход, стремительная беглость пальцев при виртуозных пассажах и каденциях, точный и ловкий прогиб правого запястья при ведении смычка, самоуглубленное, напряженно вдумчивое выражение лица, щекой прижимающегося к деке, – все это я проделывал с таким совершенством, что мои домашние, и в первую очередь отец, покатывались со смеху. И вот однажды, будучи в отличнейшем расположении духа, вызванном благотворным действием вина, отец вдруг отзывает в сторонку длинноволосого и почти безгласного капельмейстера и уговаривается с ним разыграть маленькую комедию. По дешевке приобретается небольшая скрипка, смычок тщательно смазывается вазелином. В обычное время на мой внешний вид никто особого внимания не обращал, но теперь мне купили матросский костюм, шелковые чулки и блестящие, как зеркало, лакированные туфли. Однажды в воскресенье, в часы гулянья, излюбленные курортной публикой, я стоял во всех своих обновках рядом с маленьким капельмейстером у рампы нашего храма музыки, участвуя в исполнении венгерского танца. Это участие выражалось в том, что я своей скрипкой и навазелиненным смычком проделывал в точности то же самое, что и двумя палками. Успех я имел неслыханный. Публика – избранная и та, что попроще, – валом валила со всех сторон и толпилась у павильона. Все глазели на вундеркинда. Бледность и самозабвенное выражение моего лица, кудрявая прядь, то и дело спадавшая мне на глаза, детские руки, выглядывавшие из синих рукавов, широких у плеча и сужающихся к запястью, – одним словом, вся моя трогательная и необычная фигурка умиляла сердца. Когда я кончил, широким и энергичным жестом коснувшись всех струн зараз, бурная овация, мешающаяся с криками «браво», потрясла здание. Меня стаскивают на землю – маленький капельмейстер уже успел припрятать мою скрипку и смычок. На меня сыплются дождем похвалы, ласки, нежные прозвища. Аристократические дамы и господа гладят мне волосы, щеки, руки, называют меня чертенком и ангельчиком. Русская княгиня, старуха с толстыми седыми буклями, затянутая в бледно-лиловые шелка, протягивает униженные

кольцами руки, сжимает мою голову и целует меня в покрытый испариной лоб. Затем она судорожно отстегивает сверкающую бриллиантами брошь в форме лиры и, не переставая что-то бормотать по-французски, прикалывает ее к моей курточке. Подходят мои родители; отец называет свое имя и спешит оправдать несовершенство моей игры моим еще совсем детским возрастом. Меня тащат в кондитерскую. За тремя столиками наперебой потчуют шоколадом, закармливают пирожными. Маленькие аристократы, красивые дети богача графа Зибенклингена, на которых я частенько посматривал с тоской, получая в ответ лишь удивленные, холодные взгляды, учтиво просят меня сыграть с ними партию в крокет, и, покуда наши родители вместе пьют кофе, я, разгоряченный, опьяненный счастьем, с бриллиантовой булавкой на груди, иду с ними на крокетную площадку.

То был один из лучших дней моей жизни, если не самый лучший. Многие считали, что я должен выступить еще раз, даже дирекция курорта обратилась к отцу с этой просьбой. Но отец ответил, что дал свое согласие только однажды, вообще же публичные выступления не соответствуют моему положению в обществе. К тому же и наше пребывание в Лангеншвальбахе идет к концу...

4

Теперь я хочу рассказать о своем крестном Шиммельпристере, человеке безусловно незаурядном. Начну с внешности. Фигура у него была приземистая; волосы, рано поседевшие и жидкие, разделенные пробором над самым ухом, он зачесывал на одну сторону. Его бритое лицо с поджатыми губами и крючковатым носом, на котором сидели громадные круглые очки в целлулоидной оправе, привлекавшее к себе внимание удивительной величиной безбрового лба, свидетельствовало об уме остром и озлобленном; крестный, например, давал следующее ипохондрическое толкование своему имени.

– Природа, – говорил он, – это гниенье и плесень, и я предназначен быть ее пастырем, отсюда и мое имя Шиммельпристер. А вот почему я зовусь Феликсом, это уж одному богу известно.

Родом из Кельна, он был принят там в лучших домах и даже играл видную роль в обществе, являясь неизменным распорядителем карнавалов. В силу обстоятельств или какого-то происшествия, нам это оставалось неясным, ему пришлось убраться оттуда; он перекочевал в наш городишко и вскоре, еще задолго до моего рождения, сделался другом нашего дома. Постоянный посетитель всех наших вечеров, крестный пользовался большим уважением собиравшегося у нас общества. Дамы взвизгивали и закрывали лицо руками, когда он, поджав губы, внимательно и в то же время безразлично, словно штудируя какой-то неодушевленный предмет, вглядывался в них сквозь свои совиные очки.

– Ох уж этот художник! – кричали они. – Как смотрит! Верно, видит насквозь, до самого сердца. Смилуйтесь, профессор, не пугайте нас!

И хотя все его уважали, сам он не слишком высоко ставил свое призвание и часто высказывал довольно сомнительные суждения о природе художника.

– Фидий, – говорил он, – был человеком недюжинного таланта, о чем свидетельствует хотя бы то, что его обвинили в воровстве и бросили в афинскую тюрьму; он присвоил золото и слоновую кость, отпущенные ему для статуи Афины. Перикл, его почитатель,

устроил ему побег из тюрьмы (чем этот прославленный ценитель и доказал, что разбирается не только в искусстве, но, что гораздо важнее, и в художниках), и Фидий отправился в Олимпию. Там ему было поручено создать из золота и слоновой кости великого Зевса. Что же он сделал? Опять проворовался. И умер в олимпийской тюрьме. Характерный случай. Но таковы люди. Они с восторгом принимают талант, который уже сам по себе странность, но странностей, с ним связанных, и может быть – неразрывно, принять не только не хотят, но наотрез отказываются даже понимать их.

Так говорил мой крестный. Я дословно воспроизвел его рассказ, ибо он часто повторял его и всегда в тех же самых выражениях.

Мы, как сказано, жили с ним душа в душу. Он очень благоволил ко мне, и я с годами все чаще служил ему натурщиком; мне это доставляло большое удовольствие, тем более что он всякий раз рядил меня в другие костюмы и уборы, которых у него была целая коллекция. Мастерская крестного с одним большим окном напоминала ветошную лавку. Она помещалась под крышей небольшого домика у самого Рейна, единственными жильцами которого были он и его старая домоправительница. Там я часами, по его выражению, «сидел» для него на деревянном, грубо сколоченном помосте, а он орудовал у мольберта кистями и шпателем. Надо заметить, что я позировал и обнаженный для большой картины на сюжет из греческой мифологии, которая должна была украсить столовую некоего майнцского виноторговца. За это время я наслушался немало похвал от художника, ибо кожа у меня была золотистая, рост такой, как положено греческому богу, фигура стройная, крепкая, без излишне развитой мускулатуры и безупречная по своим пропорциям. Сеансы эти занимают совсем особое место в моих воспоминаниях. Но еще интереснее были переодевания, происходившие вне мастерской крестного. Случалось, что, собираясь к нам вечером, он заранее присылал целый тюк всевозможных костюмов, париков, оружия и после ужина обряжал меня, чтобы затем набросать на куске картона в том виде, который ему на сей раз приходился по вкусу.

– Этот мальчик рожден для маскарада, – говорил он, радуясь, что любой костюм мне к лицу, любое платье сидит на мне естественно и привычно.

И правда, кем бы я ни наряжался: римским флейтистом в коротеньких одеждах и венке из роз на черных кудрях; английским дворянином в жестком атласе, с кружевным воротником и в шляпе с перьями; испанским тореадором в усыпанном блестками ярком болеро и широкополой фетровой шляпе; юным аббатом эпохи пудренных париков, в скуфейке, в чинном белом галстуке, плаще и туфлях с пряжками; австрийским офицером в белом мундире при шпаге и шарфе или крестьянином из горных, немецких деревень в подбитых гвоздями башмаках и с хвостом серны на зеленой шляпе, – всякий раз людям казалось, что я рожден именно для этого костюма, да я и сам, смотрясь в зеркало, невольно приходил к тому же выводу. Более того, крестный уверял, что мое лицо, разумеется при соответствующем костюме и парике, становится характерным не только для определенного сословия и национальности, но даже для определенной эпохи; а сам он поучал нас, что время неизбежно накладывает на своих детей особую физиогномическую печать. Итак, если верить крестному, то я и в облике средневекового флорентийского щеголя, и в пышном парике, который в позднейшее столетие являлся непременным украшением знатного юноши, казался сошедшим с портрета тех времен. Ах, что за чудные это были минуты! Но они быстро пролетали, и когда я вновь облачался в тусклое будничное платье, мной овладевали печаль и жгучая тоска, ощущение бесконечной, неопишуемой скуки, так что остаток вечера я проводил, ни слова не говоря, в подавленности и унынии.

На этом кончаю о Шиммельпристере. Позднее, в конце моего изнурительного пути, этот превосходный человек снова решительнейшим образом спасительно вмешается в мою

Из дальнейших юношеских впечатлений мне ярче всего помнится день, когда меня впервые взяли в Висбаденский театр. Вообще же я должен заранее предупредить, что, рисуя свои детские годы, не собираюсь строго придерживаться хронологического порядка, а буду рассматривать эту пору как единое целое, произвольно выбирая из него, что мне вздумается. Для греческого бога я позировал крестному Шиммельпристеру в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, следовательно, совсем уже юношей, хотя и застрявшим в средней школе. Первое же посещение театра падает на более ранние годы – мне едва минуло четырнадцать. В то время я (как будет видно из дальнейшего) уже в известной мере достиг духовной и физической зрелости и был очень восприимчив ко всем жизненным впечатлениям. Все, что я увидел в тот вечер, глубоко врезалось мне в душу и дало повод для нескончаемых размышлений.

До театра мы побывали в «Венском кафе», где пили сладкий пунш, тогда как отец потягивал абсент через соломинку. Это уже само по себе привело меня в состояние сильного возбуждения. Но кто опишет жар и лихорадку, потрясшие все мое существо, когда извозчик наконец доставил нас к цели и ярко освещенный зал гостеприимно распахнул перед нами свои двери! Женщины в ложах, обмахивающие веерами полуобнаженную грудь; мужчины, склоняющиеся над ними в разговоре; жужжанье толпы в креслах, где были и наши места; запах светильного газа, ароматы, источаемые волосами и платьями; приглушенный гул настраиваемых инструментов; щедро расписанный плафон, занавес, кишасий обнаженными гениями, и целые каскады розовых купидонов мал мала меньше. Как все это будоражило юные чувства, как подготавливало к восприятию необычного.

Подобное скопление людей в высоком роскошном зале доныне мне приходилось видеть только в церкви, и правда, театр – это величаво расчлененное пространство, где на возвышенном и просветленном поприще в волнах музыки пели, танцевали, размеренно двигались и совершали положенные им действия пестро одетые избранники судьбы – представился мне церковью, храмом наслаждения. В этом храме скрытая в тени и жаждущая душевной услады толпа разинув рты взирала на свои заветные идеалы, ожившие на сцене – в сфере ясности и совершенства.

В тот вечер давали довольно непритязательную пьесу – плод легкомысленной музыки, оперетку, название которой я, к сожалению, позабыл. Действие происходило в Париже (что весьма повысило настроение моего бедного отца) и вращалось вокруг молодого атташе, гуляки, очаровательного тунеядца и волокиты, которого играл премьер театра, обожаемый публикой певец Мюллер-Розе. Отец, давно с ним знакомый, сказал мне имя этого человека, чей образ никогда не померкнет в моей памяти. Теперь Мюллер-Розе, надо думать, стар и немощен, так же как и я, но в то время он приводил публику в такой восторг, так ослеплял ее, что этот спектакль остался одним из самых сильных впечатлений моей жизни. Я употребил слово «ослеплял» и ниже расскажу, как много смысла здесь в него вложено. Но сейчас я хочу по живым воспоминаниям воссоздать сценический облик певца.

Он появился из-за кулис, одетый в черное с головы до пят, и все же суетный блеск исходил от всей его фигуры. По пьесе он возвращался с великосветского раута и был слегка под хмельком; это свое состояние он изображал тактично, изящно и облагороженно. Черная крылатка, подбитая атласом, лакированные туфли, черные

фрачные панталоны, белые перчатки glaces[5 - лайковый (франц.)] и цилиндр на гладких блестящих волосах, по тогдашней моде до самого затылка разделенных пробором, – все было ново с иголки и безусловно сидело на нем, сияя той нетронутой свежестью, которую в обыденной жизни не сохранить и четверти часа, свежестью, так сказать, нездешней. Но цилиндр, цилиндр, небрежно сдвинутый набекрень, был поистине своего рода чудом – без единой пылинки, с идеально гладким, переливчатым ворсом, он казался нарисованным; такое же впечатление производило и лицо этого высшего существа, словно вылепленное из тончайшего воска. Нежно-розовое, с миндалевидными, темно очерченными глазами, с коротким прямым носом, удивительно четко обрисованным коралловым ртом и абсолютно симметричными усиками, казалось, выписанными тонкой кисточкой над слегка изогнутой верхней губой. Упруго покачиваясь, – в обыденной жизни такого пьяного не увидишь, – он отдал трость и шляпу лакею, сбросил ему на руки свою крылатку и предстал перед нами во фраке и в накрахмаленной манишке, среди мелких складочек которой сверкали бриллиантовые запонки. Болтая и заливаясь серебристым смехом, он снял перчатки, и руки у него оказались снаружи мучнисто-белыми, а ладони такими же розовыми, как лицо. Стоя возле рампы, он потихоньку запел первый куплет песенки, в которой говорилось, как удивительно легка и весела жизнь атташе и волокиты, затем, блаженно раскинув руки и прищелкивая пальцами, он в танце перенесся на противоположную сторону сцены, пропел там второй куплет и отступил подальше, чтобы в ответ на аплодисменты снова приблизиться к рампе и спеть третий уже над самой суфлерской будкой. Кончив куплеты, он с обаятельной беззаботностью вмешался в события пьесы. По замыслу автора он был очень богат, отчего его образу сообщалось еще больше прелести. По мере развития действия он появлялся во все новых туалетах: в белоснежном спортивном костюме с красным кушаком, в роскошном и небывалом мундире, а при каких-то особо щекотливых и донельзя комических обстоятельствах – даже в кальсонах из голубого шелка. Он непрерывно оказывался в рискованных, веселых или удивительно сложных и запутанных положениях: у ног герцогини, за шикарным ужином с двумя шикарными девами радости, с пистолетом в высоко поднятой руке, готовый к дуэли с придурковатым соперником. И ни одно из этих элегантно зловключений не сказалось на его безукоризненной внешности, не измяло идеально заутюженных складок на брюках, не потушило сиянья цилиндра, не заставило неприятно раскраснеться его розовое лицо. Связанный и в то же время окрыленный музыкальным сопровождением и театральными условностями, он держался удивительно легко, свободно, дерзко и притом без малейшего налета серой обыденщины. Его тело, казалось, до мозга костей пронизанное тем волшебством, которое можно обозначить лишь неопределенным словом «талант», очевидно, доставляло ему не меньше радости, чем нам всем. Смотреть, как он берется за серебряный набалдашник трости или засовывает обе руки в карманы, было поистине наслаждением. Его самоуверенная манера вставать с кресла, кланяться, отходить от рампы и вновь приближаться к ней заставляла все сердца радоваться жизни. Да, да, вот именно: Мюллер-Розе распространял вокруг себя радость жизни, ибо какими другими словами можно определить то сладостно-болезненное чувство зависти, возбуждения, надежды и любовной горячности, которое испытывает человек от лицезрения красоты, удачи и совершенства.

Публика в креслах состояла из бургеров и их жен, коммивояжеров, одногодичников, молоденьких девушек, и, как я ни был увлечен происходящим на сцене, у меня все же достало самообладания и любопытства, чтобы, изредка взглядывая на лица соседей, проверять с помощью собственных впечатлений, как все это на них действует. Выражение этих лиц было блаженное и дурацкое. На всех устах играла одинаковая туповато-самозабвенная улыбка, только на лицах девушек она была нежнее и возбужденнее, у женщин носила характер томный, расслабленный и упоенный, мужчины же улыбались растроганно, с тем поощрительным благожелательством, с которым простолюдины-отцы смотрят на своих блистательно преуспевающих сыновей, которые

живут совсем по-иному и как бы претворяют в жизнь их собственные юные мечты. Что касается коммивояжеров и одногодичников, то на их лицах все было настезь: раздувающиеся ноздри, широко открытые глаза, разинутые рты. Но и они тоже улыбались. «А что, если бы мы стояли в кальсонах там на возвышении, хорошенький был бы у нас вид», – казалось, говорили их улыбки. А как он смело обходится с этими шикарными девами радости! Когда Мюллер-Розе исчезал со сцены, все плечи опускались, казалось, силы вдруг оставляют зрителей. Когда он с поднятой рукой, держа высокую ноту, стремительным и победоносным шагом шел из глубины сцены к рампе, все груди так бурно вздымались ему навстречу, что лифы на женских платьях трещали по швам. Да, все это скопище людей походило на гигантскую темную стаю ночной мошкары, молча, слепо и упоенно устремляющуюся к сиянию пламени.

Мой отец был наверху блаженства. По французскому обычаю, он захватил с собой в зал трость и шляпу. Шляпу он надел, едва только опустил занавес, а с помощью трости принял участие в неистовой овации: он долго и громко стучал ею об пол. «C'est epatant!» – повторял он чуть слышным, расслабленным голосом. Но после конца представления, уже в фойе, где вокруг нас толпились опьяненные и взыгравшие сердцем коммивояжеры, силившиеся подражать герою вечера походкой, манерой говорить, держать трость и даже рассматривать свои красные руки, отец вдруг обратился ко мне:

– Пойдем! Надо хоть поздороваться с ним. Мы с Мюллером, слава богу, друзья-приятели. Он будет рад снова меня увидеть.

Матери и сестре было приказано дожидаться нас в вестибюле, и мы вдвоем отправились приветствовать Мюллера-Розе.

Путь наш лежал через ближайшую к сцене и уже темную директорскую ложу, откуда железная дверца вела за кулисы. По неосвещенной сцене, точно призраки, сновали театральные рабочие. Какую-то миниатюрную особу в красной ливрее, игравшую в спектакле мальчика-лифтера, которая стояла, в раздумье прислонившись к стене, мой бедный отец шутливо ущипнул за самое широкое место ее фигуры и спросил, как пройти в уборную Мюллера-Розе. Она сердито ткнула пальцем куда-то в глубину кулис. Мы прошли побеленным коридором, в спертom воздухе которого открытыми язычками горел газ. Брань, смех и болтовня доносились сюда из множества дверей, и отец, смеясь, коротким движением большого пальца указал мне на эти проявления жизни. Мы дошли до последней двери в узкой поперечной стене коридора. Отец постучал в нее и прислушался. Изнутри ответили то ли «кто там», то ли «какого черта» – не помню точно, что произнес этот громкий и не слишком учтивый голос. «Можно войти?» – осведомился отец; ему посоветовали сделать что-то другое, что именно, я все же не рискую повторить на этих страницах. Отец смущенно хихикнул и сказал:

– Мюллер, это я, Круль, Энгельберт Круль. Надеюсь, мне будет дозволено пожать вашу руку!

За дверью расхохотались.

– Ах, это ты, старый хрен! Входи, входи, очень рад! Вас, надеюсь, не смутит, – продолжал голос, когда мы уже отворили дверь, – что я не слишком-то одет.

Мы вошли, и взору мальчика представилось незабываемо мерзкое зрелище.

За грязным столом перед пыльным и закапанным зеркалом сидел Мюллер-Розе в серых вязаных подштанниках. Какой-то человек с засученными рукавами обрабатывал полотенцем его спину, всю облитую потом, меж тем как он сам усердно тер заскорузлой

от цветного жира тряпкой свою лоснящуюся шею. Одна половина его лица, еще покрытая розовым слоем, который так недавно сообщал ему идеально восковой вид, теперь выглядела желто-красной по сравнению с другой, уже разгримированной. Он успел снять русский парик с длинным пробором, в котором изображал, атташе, и я убедился, что волосы у него рыжие. Один глаз был еще подведен, и на его ресницах блестел какой-то черный металлический порошок, в то время как другой, оголенный, водянистый, натертый до красноты, дерзко уставился на нас. Но все это еще куда ни шло; самое скверное было то, что грудь, плечи и спину Мюллера-Розе сплошь покрывали прыщи. Отвратительно красные прыщи с гнойными головками, местами кровоточащие; я и сейчас содрогаюсь при одном воспоминании, о них. Я давно заметил, что брезгливость наша тем больше, чем живее мы воспринимаем жизнь и все, что она нам предлагает. Холодный и безлюбый человек никогда не будет охвачен той дрожью отвращения, которая потрясла меня тогда. Вдобавок ко всему, воздух этой комнаты, с железной печью, не в меру жарко натопленной, был пропитан запахом пота и испарениями стаканчиков, склянок и разноцветных палочек, загромождавших стол, так что по началу мне показалось, что я не выдержу здесь и минуты.

Тем не менее я стоял и смотрел. Но больше я уж ничего такого не увидел, о чем бы стоило рассказывать. Я был бы вправе упрекнуть себя за излишне подробное описание первого посещения театра, если бы эти воспоминания не предназначались прежде всего для меня самого и лишь во вторую очередь – для читателя. О сюжетной занимательности и пропорциональности я вовсе не думаю и оставляю эти заботы авторам, которые черпают из воображения, стараются на выдуманном материале создать прекрасные и правильные произведения искусства; я же только рассказываю о собственной необычной жизни и обращаюсь с этой материей, как мне заблагорассудится. На встречах или событиях, благодаря которым мне многое открылось в себе самом и в окружающем меня мире, я останавливаюсь подолгу, тщательно выписываю каждую деталь и в то же время легко проскальзываю мимо всего, что мне менее дорого и интересно.

Разговор между Мюллером-Розе и моим бедным отцом почти полностью изгладился из моей памяти, вероятно потому, что мне было некогда к нему прислушиваться. Ведь чувство расшевеливает наш дух куда сильнее, чем слово. Впрочем, мне помнится, что певец – хотя бурные овации и делали его успех несомненным, – то и дело спрашивал, понравилась ли нам его игра, что именно в ней понравилось, – и я отлично понимал его тревогу. Далее, мне смутно вспоминаются некоторые вульгарные остроты, которыми он пересыпал свою речь; так, например, на какую-то шутку отца он воскликнул:

– Ну и сво... – чтобы тут же добавить: – Ну и своеобразная же ты личность.

Впрочем, эти остроты я слышал только вполуха, так как был занят другим – всеми силами старался осмыслить пробудившиеся во мне чувства.

Вот приблизительно ход моих мыслей: итак, этот неопрятный, прыщавый субъект и есть тот, на которого только что благоговейно взирала восхищенная толпа! Мерзостный червяк – вот подлинный образ беспечного мотылька, в котором тысячи обманутых глаз видели воплощение своих тайных грез о красоте, беззаботности, совершенстве! Или он из породы тех пакостных слизняков, которые во мраке вдруг загораются сказочным огоньком? Но как же взрослые, житейски опытные люди так охотно позволили ему себя одурачить? Неужто они не поняли, что их обманывают? Или же они по какому-то молчаливому сговору не считали обман за обман? Пожалуй, это всего вероятнее. Ведь если хорошенько подумать, каково настоящее обличье светлячка? Поэтическая искорка, парящая в летней ночи, или низменное, невзрачное существо, извивающееся у нас на ладони? Поостерегись решать этот вопрос! Сначала вспомни картину, только что представившуюся твоим глазам: огромная стая жалкой мошкары упрямо и безумно

летит в манящее пламя! Какое единодушие в желании поддаться обману! Видимо, это потребность, вложенная самим господом богом в природу человека, и Мюллер-Розе создан для того, чтобы удовлетворять ее. Здесь мы явно имеем дело с механизмом, необходимым жизни для ее хозяйства, а Мюллер-Розе – наемный слуга, приводящий в действие этот механизм. И разве он не заслуживает хвалы за то, что ему удалось сегодня и, видимо, удастся каждый день! Подави в себе отвращение, брезгливость, почувствуй всем сердцем: этот человек, зная о своих отвратительных прыщах, все время их ощущая, сумел с таким победоносным самодовольством лицедействовать перед толпой, более того, сумел заставить толпу (разумеется при помощи света, грима, музыки и расстояния) увидеть в нем свой идеал и тем самым утешил ее и вдохнул в нее жизнь.

И еще спроси: что заставило этого пошлого остряка изучить искусство ежевечернего преображения? Спроси себя о тайных источниках чар, которыми полчаса назад до кончика ногтей было проникнуто все его тело! Для того чтобы ответить на этот вопрос, надо только вспомнить (именно вспомнить, потому что тебе это слишком хорошо известно), какая безыменная сила, сила, для обозначения которой не подыщешь достаточно сладостных слов, научила светиться светляка. Обрати внимание, что этот человек никак досыта не наслушается уверений, что он тебе понравился, до безумия понравился. Ясно, что любовь и приверженность к этой серой толпе сделали его столь искусным; и если он заставляет ее радоваться жизни, а она платит ему восхищением, то разве это не взаимное осчастливливание, не брачное соитие его и ее желаний?

6

На последнем листке в общих чертах воспроизведен ход мыслей, пронесившихся в моем разгоряченном пытлимом мозгу, когда я стоял в уборной Мюллера-Розе. В последующие дни, даже недели, я много-много раз, волнуясь и любопытствуя, возвращался к ним. Эти внутренние поиски всякий раз исполняли меня тревогой, нетерпеливым желанием и надеждой, пьянили и радовали так, что даже теперь, несмотря на всю мою огромную усталость, одно воспоминание о них заставляет быстрее биться мое сердце. Но в то время эти чувства были так сильны, что, казалось, грудь у меня разорвется под их напором. Бывали дни, когда я просто ощущал себя больным и пользовался этим своим состоянием как предлогом не идти в школу.

Распространяться о моем все возраставшем отвращении к этой враждебной институции я считаю излишним. Для меня необходимейшее условие жизни – свобода мысли и воображения. Потому-то я и вспоминаю о своем долголетнем тюремном заключении с меньшей неприязнью, чем об оковах раболепства и страха, которые накладывала на чувствительную душу мальчика, казалось бы, столь почтенная дисциплина, царившая в белом, похожем на коробку доме, что стоял в нижней части нашего городка. А если принять во внимание еще и мое внутреннее одиночество – о причинах его я говорил выше, – то, конечно, нет ничего удивительного, что я и в будние дни стремился уклониться от несения школьной службы.

Тут мне оказало бесценную услугу умение подражать почерку отца, которое я в себе выработал во время своих одиноких игр. Отец, естественно, является образцом для подрастающего мальчика, жаждущего приобщиться к миру взрослых. Бессознательно основываясь на таинственном сродстве и сходстве телосложения, подросток-сын старается перенять повадки родителя, которые рядом с собственной неловкостью представляются ему достойными восхищения; восхищаясь ими, он развивает наследственно заложенные в нем свойства. Водить пером легко и деловито, как отец, было моей мечтой, когда я еще едва-едва выписывал каракули на разлинованной

грифельной доске, а сколько бумаги я извел позднее, стараясь держать ручку с такой же грацией, как отец, и по памяти воспроизводя его почерк. Собственно говоря, это было нетрудно, ибо почерк у отца был почти что детский, каллиграфически безупречный и невыписанный; правда, буквы у него получались крохотные, но из-за невиданно длинных соединительных штрихов письмо казалось размашистым – манера, которой я быстро и превосходно научился подражать. Что касается подписи «Э.Круль», в противоположность готически заостренным буквам текста носившей скорее латинский характер, то ее окружала целая туча росчерков, на первый взгляд словно бы неподражаемых, но, в сущности, до того простых, что именно подпись удавалась мне почти безупречно. Нижняя половина первой буквы имени красиво летящей линией сбегала вниз, а в открытое ее лоно был аккуратно вписан первый слог фамилии. Эта линия дважды пересекалась другой, берущей свое начало от хвостика «у», обнимающей всю подпись в целом и протяженным завитком спускающейся вниз. Все же вместе устремлялось скорее в высоту, чем в ширину, и при всей своей причудливости было придумано по-ребячески наивно, отчего я и воспроизводил эту подпись так, что сам отец не сумел бы отличить ее от собственноручной. А потому разве не сама собой напрашивалась мысль использовать сноровку, приобретенную так, скуки ради, для своего духовного раскрепощения?

«Сын мой, Феликс, – писал я, – 7-го с.м. из-за мучительных желудочных колик пропустил занятия, что я и вынужден с сожалением подтвердить. Э.Круль». Или же: «Гнойное воспаление надкостницы, а также вывих правого плеча заставили Феликса с 10-го по 14-е с.м. пролежать в постели и, к большому нашему сожалению, воздержаться от посещения школы. С совершенным уважением Э.Круль». Поскольку этот трюк удавался, ничто уже не мешало мне несколько дней подряд бродить в окрестностях городка, или, лежа на зеленой лужайке, в тени шепчущей листвы, предаваться юным мечтам, или целыми часами дремать среди живописных развалин блаженной памяти епископского замка над Рейном, или, наконец, в суровую зимнюю пору находить приют в мастерской крестного Шиммельпристера; он хоть и ругал меня на все лады за такие штуки, но в тоне его чувствовалось, что причины, меня к сему побудившие, и ему кажутся уважительными.

Нередко случалось и так, что я, сказавшись больным, оставался дома и не вставал с постели, считая, как я уже говорил, что у меня есть на это известное внутреннее право. Согласно моей теории любой обман, в основе которого не заложена хоть крупинка высшей правды, иными словами, ложь неприкрытая, несовершенная и неуклюжая может быть разоблачена первым встречным. Действительным и успешным будет лишь обман, не безусловно заслуживающий названия такового, обман, который сводится к тому, чтобы наделить живую, но не окончательно утвердившуюся в реальном мире правду теми материальными признаками, без которых человечество не соглашается считать ее правдой. Здоровый мальчик, за исключением легко протекавших детских болезней не знавший серьезных недугов, я отнюдь не затевал грубого притворства, когда однажды утром решил сказать больным и тем самым избежать страха и неприятностей, ожидавших меня в школе. Да и зачем бы я стал затрачивать столько ненужных усилий, если в моем распоряжении всегда имелись средства утихомирить моих духовных поработителей? Нет, напряжение всех внутренних сил как следствие размышлений, о которых я говорил выше, в то время очень меня изнурявших, вкупе с отвращением к школьному ярму сообщило бесспорную правдивость моему притворству и вооружило меня всеми средствами, нужными для того, чтобы вызвать тревожную озабоченность врача и домочадцев.

Разыгрывать больного я начинал без всяких зрителей, как бы для себя самого, лишь только мое решение насладиться в этот день свободой вместе с неумолимым ходом часовых стрелок вырастало в насущную необходимость. Я уже прозевал последнюю минуту, в которую можно было встать, не боясь опоздания, в столовой остывал приготовленный мне завтрак, тупоголовые юнцы уже шагали в школу, будний день

начался, и мне предстояло собственными силами, на свой страх и риск вырваться из деспотического его распорядка. От смелости такого предприятия у меня захолонуло сердце и засосало под ложечкой. Тут я обнаружил, что мои ногти приобрели синеватый оттенок. Утро, как видно, выдалось холодное, и было достаточно пролежать несколько минут без одеяла или, еще того лучше, пройтись по комнате и слегка утомить себя, чтобы вызвать внушительный приступ озноба. То, что я сейчас говорю, весьма для меня характерно; мой организм всегда был легко уязвим и требовал бережного ухода, так что всю мою последующую бурную деятельность я рассматривал как мужественное самопреодоление, более того – как немалый нравственный подвиг. Будь это не так, мне бы не удалось ни тогда, ни впредь при помощи нарочитого легкого утомления тела и мозга придавать себе вид серьезно больного и по мере надобности настраивать окружающих на мягкий, жалостливый лад. Дюжий малый запросто из себя больного не разыграет. Только человек (да будет мне позволено вновь прибегнуть к этому обороту), только человек, созданный из благородного материала, может, не будучи больным в обыденном смысле слова, так сродниться со страданием, чтобы, внутренним взором подметив его симптомы, произвольно воссоздавать их. Я закрыл глаза и тотчас же снова широко открыл, сообщив им вопрошающее, жалобное выражение. Я и без зеркала знал, что мои волосы, спутавшиеся от сна, длинными прядями падают на лоб и что мое лицо бледно от волнения и страха. Для того чтобы оно выглядело еще и осунувшимся, я прибег к способу собственного изобретения: чуть-чуть закусил зубами внутреннюю сторону щек, отчего подбородок вытянулся, а щеки сделались впалыми, что явно свидетельствовало о мучительно проведенной ночи. Вибрирующие ноздри и как бы болезненное подергивание мускулов во внешних уголках глаз дополняли картину. Руки с посиневшими ногтями я сложил на груди, на стул около кровати водрузил снятый с умывальника таз и, время от времени стуча зубами, стал ждать, пока меня хватятся.

Случилось это не скоро, так как мои родители любили поздно спать, и пока обнаружилось, что я утром не ушел из дому, в школе прошло уже два или три урока. Но вот моя мать поднялась наверх и вошла ко мне в комнату, еще с порога спрашивая, уж не захворал ли я. Я посмотрел на нее широко открытыми, остановившимися глазами, словно с трудом приходя в себя и еще не понимая, где я и что со мной, и отвечал, что, видимо, и вправду болен.

– Что ж ты чувствуешь? – осведомилась она.

– ...Голова... все тело ломит... Почему мне так холодно? – сказал я, как бы с трудом ворочая языком, и заметался на постели.

Мать прониклась ко мне состраданием. Не думаю, чтобы она приняла мою болезнь всерьез, но так как чувствительность в ней всегда одерживала верх над разумом, то у нее не достало духу выйти из игры, напротив, она, как в театре, начала мне «подыгрывать».

– Бедное дитя, – воскликнула она, подпирая щеку указательным пальцем и горестно покачивая головой. – И кушать ты ничего не хочешь?

Я вздрогнул, судорожно прижал подбородок к груди и сделал отрицательный жест. Железная последовательность моего поведения отрезвила мать, поколебала ее уверенность, лишила удовольствия, которое она заодно со мной получала от этой иллюзии, ибо то, что человек может зайти в своей игре так далеко, чтобы отказаться от еды и питья, в ее голове не укладывалось. Она посмотрела на меня недоверчивым, испытующим взглядом. Но я, заметив это и желая подтолкнуть ее на нужное мне решение, немедленно разыграл самую трудную и эффектную из всех заготовленных мною сцен. А именно: подскочил на кровати, дрожащими, неверными руками пододвинул к себе таз и буквально распротерся над ним, несмотря на страшные судороги и корчи,

сводившие мое тело, – надо было иметь каменное сердце, чтобы не тронуться видом таких страданий.

– Ничего больше нет, – давясь и задыхаясь, проговорил я, поднимая от таза измученное лицо. – Ночью я все, все отдал...

Тут я счел за благо изобразить приступ удушья, почти уже жизнеопасный. Мать держала мою голову и испуганным голосом настойчиво повторяла мое имя, надеясь привести меня в чувство.

– Я сейчас пошлю за Дюзингом, – крикнула она, когда судороги слегка отпустили меня, окончательно убежденная в моей болезни, и выбежала из комнаты.

Совершенно измученный, но неописуемо довольный и удовлетворенный, я откинулся на подушки.

Как часто я мысленно рисовал себе эту сцену, как часто про себя ее репетировал, прежде чем набраться храбрости разыграть ее «на публике»! Не знаю, поймут ли меня, но когда я впервые практически воспроизвел ее и добился всего, чего хотел, я был сам не свой от счастья. Не всякий способен такое сотворить! Многие об этом мечтают, но не могут осуществить свои мечты. А ведь когда ты падаешь без сознания, когда струйка крови течет у тебя изо рта и судороги сводят твоё тело, – как быстро тогда жестокость и равнодушие мира оборачиваются вниманием, испугом, запоздалым раскаянием. Но тело своенравно и тупо-выносливо. Когда душа давно уже жаждет сострадания и ласковой заботы, оно все еще не подает тревожных сигналов, которые каждому говорят, что и с тобой может стрястись беда, и громким голосом взывают к совести человечества. И вот я не только сумел воспроизвести эти симптомы, но и добился результатов не меньших, чем если бы они проявились без сознательного моего участия. Я исправил природу, осуществил мечту. И только тот, кому удавалось из ничего, на основе одного лишь внутреннего знания и наблюдения над вещами, иными словами – на основе фантазии и, конечно, при наличии большой смелости, создать насильственную и жизнеспособную действительность, только тот поймет, в какой счастливой истоме пребывал я, успешно закончив спектакль.

Через час явился санитарный советник Дюзинг. Он стал нашим домашним врачом после смерти старого доктора Мекума, содействовавшего моему рождению. Дюзинг был долговязый, вечно сутулившийся мужчина со стоящими дыбом волосами, который то и дело защемлял свой нос между большим и указательным пальцами и потирал одна о другую широкие костлявые руки. Этот человек был мне опасен: не своим врачебным талантом – на этот счет дело у него обстояло неважно (впрочем, легче всего обмануть как раз хорошего врача, самоотверженно служащего науке ради нее самой), – но из-за грубой житейской смекалки, так часто свойственной заурядным натурам и составлявшей основу его карьеры. Ограниченный и честолюбивый, этот ученик Эскулапа раздобыл себе звание санитарного советника благодаря личным связям, знакомству с крупными виноторговцами – словом, по протекции – и часто ездил в Висбаден, где продолжал энергично продвигаться по служебной линии. Характерно для него было, что дома он принимал пациентов – я в этом убедился собственными глазами – не по порядку и очереди, а, ни капельки не стесняясь, пропускал вперед людей богатых и с положением в обществе, оставляя сидеть пришедших много раньше пациентов «из простых». Высокопоставленных больных он окружал чрезмерной заботой и попечением, с бедняками же обращался грубо, недоверчиво и в большинстве случаев старался объявить их жалобы необоснованными. По моему убеждению, он был способен на любую пакость, плутню, лжесвидетельство, если мог этим угодить «верхам», или зарекомендовать себя преданным слугой власть имущих. Низкопробный здравый смысл

подсказывал ему, что именно так должен действовать человек бездарный, но желающий преуспеть в жизни. Дело в том, что мой бедный отец, несмотря на свое сомнительное положение, как фабрикант и налогоплательщик, принадлежал к видным горожанам, санитарный же советник в качестве домашнего врача от него зависел, а может быть, просто с жадностью хватался за любую возможность неблагоприятного поступка. Так или иначе, но этот тип решил, что должен действовать со мною заодно.

Всякий раз, когда он обращался ко мне с наигранным докторским добродушием: «Ай-ай-ай, что же это с нами такое приключилось?» или: «Это что еще за фокусы, молодой человек?» – и садился возле моей кровати, чтобы выслушать и порасспросить меня, – повторяю, всякий раз неожиданное молчание, улыбка или даже подмигивание с его стороны должны были побудить меня ответить ему тем же и, значит, признать, что я просто праздную «святого лентяя», как он, надо думать, называл это про себя. Но я никогда, никогда не перебрал ему мостика. И удерживала меня от этого не осторожность (по всей вероятности, ему можно было довериться), а скорее гордость и презрение. Все его старания вовлечь меня в разговор ни к чему не приводили, только глаза у меня делались все печальнее и растеряннее, щеки вваливались еще больше, губы бессильно опускались, дыхание становилось отрывистее; я всегда был готов, если это окажется нужным, и перед ним разыграть приступ неукротимой рвоты и с такой невозмутимой последовательностью продолжал свое притворство, что ему в конце концов пришлось признать себя побежденным, позабыть о своем здравомыслии и прибегнуть к помощи науки.

Это давалось ему нелегко, во-первых, потому что он был глуп, а во-вторых, потому что картина болезни, воссоздаваемая мною, грешила очень уж большой неопределенностью. Он выслушивал и выстукивал меня со всех сторон, засовывая мне в горло ручку чайной ложечки, докучал частым измерением температуры и затем изрекал:

– Мигрень. Никаких оснований для беспокойства нет. Склонность этого молодого человека к головным болям нам давно известна. К сожалению, на сей раз затронут и кишечник. Я рекомендую покой, никаких посетителей, поменьше разговаривать и побольше лежать в затемненной комнате. Очень хорошо в таких случаях принимать кофеин с лимонной кислотой. Сейчас я выпишу рецепт.

Если же в нашем городке отмечалось два-три случая гриппа, то он говорил:

– Грипп, уважаемая госпожа Круль, грипп, осложнившийся гастритом. Кроме того, воспаление дыхательных путей, хотя и очень незначительное. У вас появился кашель, мой друг, не так ли? Температура немного поднялась, а в течение дня, несомненно, подымется еще на несколько десятых. Пульс учащенный и неровный.

Со свойственным ему отсутствием фантазии он прописывал кисло-сладкое укрепляющее вино; я его пил с удовольствием, и после выдержанной баталии оно приводило меня в умиротворенное, довольное настроение.

Конечно, профессия врача не составляет исключения в ряду других профессий, и многие ее представители – обыкновеннейшие дураки, готовые видеть то, чего нет, и отрицать то, что совершенно очевидно. Любой неученый знаток человеческого организма превосходит их в знании тончайших секретов такового, и ему ничего не стоит обвести вокруг пальца ученого медика. Катар дыхательных путей, который он у меня обнаружил, не был мною предусмотрен; я не сделал ни малейшего намека на него в придуманной мною клинической картине. Но так как мне все-таки удалось заставить санитарного советника отказаться от его пошлого диагноза: «празднует святого лентяя» – то ничего более остроумного, чем грипп, он придумать не сумел, и вот, боясь осрамиться, требовал,

чтобы я страдал от приступов кашля, и утверждал, что у меня распухли миндалины, чего тоже не было. Что же касается повышения температуры, то здесь он не ошибался, хотя это и не служило к чести его школьной премудрости. Врачебная наука почему-то хочет, чтобы жар всегда был только следствием отправления крови возбудителями болезни, и утверждает, что повышение температуры связано лишь о физическими явлениями. Но это смешно! Читатель давно уже понял, в чем я его к тому же заверяю честным словом, что физически я не был болен, когда санитарный советник Дюзинг меня выслушивал; но возбуждение минуты, отважное предприятие, мной задуманное, своего рода опьянение, которое я испытывал, выгравшись в роль больного, роль, требовавшую участия всего моего организма и предельного совершенства исполнения, чтобы не стать комической, более того, известное вдохновение, которое требовало одновременно и напряжения и ослабления всех сил, для того чтобы нечто мнимое стало действительным для меня и других, – все это вместе взятое привело в состояние такого подъема деятельность моего организма, что санитарный советник черным по белому прочитал это на термометре. Учащение пульса, конечно, объяснялось теми же причинами; когда же голова советника легла ко мне на грудь и я почуял животный запах его сухих бурых волос, то под этим живым впечатлением мне удалось даже придать своему сердцу неровный – то замирающий, то убыстренный – ритм. Наконец, если доктор Дюзинг независимо от диагноза всякий раз объявлял затронутым желудок, то должен заметить, что этот орган всегда у меня отличался столь болезненной чувствительностью, что при любом душевном потрясении начинал биться и пульсировать, так что в иных жизненных случаях я, можно сказать, страдал не сердцебиением, как другие люди, а биением желудка. Санитарный советник только диву давался, наблюдая этот феномен.

Итак, прописав мне горькие пилюли или кисло-сладкое укрепляющее вино, он еще некоторое время сидел у постели больного, оживленно болтая с моей матерью, я же, прерывисто дыша полуоткрытым ртом, вперял в потолок усталый, потухший взор. Иногда к ним присоединялся и отец. Вид у него бывал смущенный, он старался не встречаться со мной глазами и пользовался случаем поговорить с санитарным советником о своей подагре. Оставшись наконец один, я проводил день, а иногда и два-три дня в мирном отдохновении и в сладких мечтах о жизни, о будущем, правда, получая лишь скудную диетическую пищу, но тем вкуснее она мне казалась. Если же протертый суп и сухарики не удовлетворяли моего юношеского аппетита, я осторожно вылезал из кровати, тихонько поднимал крышку своего маленького бюро и принимался поглощать шоколад, запасы которого у меня почти никогда не переводились.

7

Откуда брались у меня эти сласти? В мое владенье они попадали странным, можно сказать, фантастическим образом. В нижней части городка, на углу сравнительно оживленной торговой улицы, помещалась премило убранная гастрономическая лавка, если не ошибаюсь, филиал висбаденской фирмы, обслуживавшей богатую клиентуру. По дороге в школу и обратно я каждый день проходил мимо аппетитной витрины этой лавки, а случалось, и заживал в нее с мелкой монетой в руке, чтобы купить в соответствии со своим капиталом немного дешевых пряников или ячменных леденцов. Однажды в обеденное время я застал лавку пустой, там не было не только покупателей, но и никого из приказчиков. Звонок (обыкновенный колокольчик, его при открывании и закрывании двери толкал зубец металлической штанги) зазвонил, но звук его либо не донесся до заднего помещения, отделенного от лавки застекленной дверью со сборчатой зеленой занавеской, либо там тоже никого не было в данную минуту. Во всяком случае, никто оттуда не появился. Удивленный, испуганный и даже взволнованный окружающим меня безмолвием и пустотой, я огляделся по сторонам. Никогда еще мне не удавалось так

свободно осматривать этот соблазнительнейший уголок.

Помещение, узковатое, хотя и высокое, было снизу доверху набито разнообразной снедью. Плотные ряды окороков и колбас всевозможных форм и цветов – белых, желтых, красных и черных, круглых и твердых, как пушечные ядра, а также длинных, узловатых и крученых вроде веревки – затемняли окна. Жестяные консервные коробки, какао и цибики чая, разноцветные банки с вареньем, медом и засахаренными фруктами, стройные и пузатые бутылки с ликерами и пуншевыми эссенциями заполняли стенные шкафы от пола до потолка. Под стеклом на прилавке красовались тарелки и миски с дразнящими аппетит копченостями: макрелью, миногами, треской и угрями. Там же стояли блюда с итальянским салатом. На глыбе льда распростер свои клешни омар; шпроты, тесно прижатые друг к дружке, мерцали жирным золотом в открытых ящичках; редкостные фрукты, клубника и гроздья винограда, точно чудом заброшенные сюда из страны обетованной, громоздились среди башенок, построенных из жестянок с сардинами и соблазнительных белых баночек с икрой и паштетом из гусиной печени. С верхних полок свешивались шейки жирной домашней птицы. Разносортные закуски, предназначенные для холодных ужинов, как-то: ростбиф, гусиные грудки, ветчина, языки и копченая лососина – горками высились чуть подальше; рядом с ними лежали длинные и узкие ножи. Большие стеклянные колпаки прикрывали все виды сыров, какие только есть на свете: кирпично-красные, молочно-белые, мраморные с прожилками и такие, что лакомой золотистой волной вытекали из своей серебряной оболочки. Между ними зеленели артишоки, пучки спаржи, трюфеля и точно высыпанные из рога изобилия радужным блеском отливали печеночные колбаски в пестрых обертках из станиолевой бумаги. На отдельных столиках были расставлены открытые жестянки с лучшими сортами бисквитов, подносы со сложенными крест-накрест медовыми коврижками, излучавшими коричневое сияние, а среди них высились стройные стеклянные вазы, полные конфет и глазированных фруктов.

Я стоял, как зачарованный, впивая трепещущей грудью чудесный воздух, в котором запахи шоколада и копченостей мешались с упоительно гнилостным благовоением трюфелей. Сказочные страны и подземные сокровищницы, где счастливики смело набивают себе карманы и даже сапоги драгоценными камнями, вставали в моем воображении. Сказка это или сон? Удручающая законность и добропорядочность будней вдруг рассеялась, растворилась, исчезли условности и помехи, в обыденной жизни стеной встающие на пути вождения. Радость от того, что этот изобильный уголок земли сейчас подчинен моей самодержавной власти, охватила меня с такой силой, что я почувствовал зуд во всем теле. С трудом подавил я в себе желанье вскрикнуть от неистового счастья, от наслаждения всей полнотой небывалой свободы.

– Добрый день, – проговорил я в пустоту, и мне еще сейчас слышится сдавленный, неестественно-спокойный звук моего голоса, потерявшийся в тишине.

Никто не ответил. И в это самое мгновение у меня буквально потекли слюни изо рта. Быстро и бесшумно ступил я к одному из боковых столов, ломившихся от сластей, великолепным жестом запустил руку в ближайшую вазу с конфетами, высыпал всю пригоршню в карман пальто, прошел к двери и через секунду уже скрылся за углом.

Мне, конечно, скажут, что моя проделка – обыкновеннейшее воровство. А я смолчу, постараюсь пропустить это мимо ушей, ведь все равно я не могу помешать воспользоваться этим жалким словом тому, кому приятно его произносить. Но одно – слово, дешевое, истертое, лишь очень приблизительно рисующее жизнь, и совсем другое – живой, непосредственный, вечно юный поступок, блистающий неповторимой, несравненной новизной. Только привычка и леность заставляют нас полагать, что это одно и то же, тогда как на самом деле слово, поскольку оно должно характеризовать

поступок, напоминает хлопнувшую для мух, то есть всегда бьет мимо. Вдобавок, когда речь идет о поступке, существенно не «что» и не «как» (хотя последнее все-таки важнее), а «кто».

Что бы я в жизни ни делал, было прежде всего моим поступком, а не поступком некоего имярека, и хотя мне пришлось многое претерпеть и всякая шушера, в том числе блюстители правосудия, именовали мой поступок так же, как и десятки тысяч других, но я, в глубине души неколебимо считая себя любимцем богов, предпочтенной плотью и кровью, внутренне неизменно восставал против такого приравнивания. Да простит мне мой будущий читатель это отступление в область чисто умозрительного, которое, вероятно, не к лицу человеку малообразованному и по роду своих занятий непривычному к размышлениям, тем не менее я почитаю за долг по мере возможности примирить читателя со своеобразием моей жизни, а если это не удастся, то вовремя удержать его от чтения этих листков.

Вернувшись домой, я прошел в пальто к себе в комнату, чтобы выложить на стол и рассмотреть принесенную добычу. Я едва верил, что все это мое. Ведь во сне что только не дается нам в руки, а проснешься – и ничего у тебя нет. И только тот может хоть отчасти разделить со мной мою радость, кто живо себе вообразит, что богатства, дарованные ему в прельстительном сне, при свете утра, весомые, ощутимые, лежат у него на одеяле, словно он позабыл унести их с собою.

Конфеты самых дорогих сортов, с ликером или душистым кремом, были обернуты в цветные станиолевые бумажки, но меня опьянял не их прекрасный вид и вкус, а то, что они представлялись мне драгоценностями из сновидения, которые я спас для действительной жизни; и радость эта была столь глубока, что я, естественно, стал думать, как бы мне при случае вновь испытать ее. Читатель может отнестись к этому факту как ему угодно, – сам я не считал нужным долго над ним размышлять. Дело в том, что в обеденное время гастрономическая лавка иногда оставалась без присмотра – не часто, конечно, не регулярно, но через большие или меньшие промежутки времени это все же бывало, – что я и замечал, проходя с ранцем за плечами мимо застекленной двери. В таких случаях я входил, затворял за собой дверь тихо, осторожно, так что колокольчик не издавал ни звука, хотя язычок и терся об его стенки, на всякий случай говорил «добрый день» и живо брал то, что мне хотелось – немного, скромно: горсть конфет, кусок медовой коврижки, плитку шоколада, – но мало-помалу я перепробовал все. Когда в позднейших частых моих «перевоплощениях» я так же легко и свободно пригоршнями брал сладости жизни, мне казалось, что я снова испытываю то не поддающееся определению чувство, с которым я сроднился в силу своеобразного строя своих мыслей и различных психологических изысканий.

8

Неведомый читатель! Признаюсь, я даже на время отложил перо, чтобы собраться с мыслями, прежде чем вступить в область, которую я уже не раз затрагивал в своих воспоминаниях и на которой, как человек добросовестный, я хочу остановиться несколько подробнее. Спешу предупредить: того, кто ждет от меня фривольного тона и скользких шуток, неизбежно постигнет разочарование. В этих записях я, напротив, стремлюсь сочетать должную искренность с той сдержанной серьезностью, которую диктуют мораль и благоприличие. Ибо я, в противоположность многим, никогда не любил сальностей, более того, из всех видов распушенности распушенность языка мне всегда внушала наибольшее отвращение, так как она не оправдана никакою страстью. Когда человек острит и сквернословит, кажется, что речь идет о чем-то пустом, комическом,

тогда как на самом деле мы здесь касаемся важнейшего таинства природы, и говорить о нем наглым, пошлым тоном – значит предавать это таинство глумлению черни. Но возвращаюсь к исповеди!

Прежде всего должен заметить, что известные отношения рано начали играть роль в моей жизни, занимать мои мысли, составлять предмет моих мечтаний и ребяческих игр, – многим раньше, чем я узнал, как это называется и сколь всеобщее значение имеет. Надо также сказать, что картины, рисовавшиеся моему живому воображению, и пронизывающее удовольствие, которое я при этом испытывал, казались мне моей личной, никому другому не понятной особенностью, странностью, о которой я предпочитал не говорить вслух. Не зная, каким словом обозначить этот подъем и сладостное волнение, я придумал для них два наименования: «наилучшее» и «великая радость», – и хранил их как бесценную тайну. В силу такой ревнивой замкнутости, в силу моего одиночества и еще третьего фактора, о нем я скажу ниже, я долгое время оставался в этом состоянии духовной невинности, никак не вязавшейся с живостью моих чувств. Ибо с тех пор как я себя помню, «великая радость» занимала главенствующее положение в моей душевной жизни; более того, она, видимо, пробудилась во мне еще за гранью памяти. Маленькие дети обычно невинны по незнанию; предположение, что они невинны в смысле подлинной чистоты и ангельской святости, – только сентиментальное суеверие, которое развеивается при ближайшем рассмотрении. Мне по крайней мере из достоверного источника (о котором я сейчас скажу подробнее) известно, что еще у груди кормилицы я выказывал недвусмысленные признаки чувства; этот рассказ представляется мне более чем вероятным и весьма характерным для моей энергичной натуры. И правда, моя способность к любовным утехам граничила почти уже с чудом и, как я теперь в этом убеждаюсь, далеко превосходила обычную меру. Основание предполагать это явилось у меня рано, но, для того чтобы предположение переросло в уверенность, понадобилось вмешательство одной особы (она-то и сообщила мне о моем бойком поведении у груди кормилицы), с которой я отроком в продолжение ряда лет состоял в тайных сношениях. Это была горничная по имени Женевьева, поступившая к нам совсем еще девочкой и в пору, когда мне минуло шестнадцать, достигшая уже тридцатилетнего возраста. Дочь фельдфебеля, давно уже помолвленная с начальником маленькой станции между Франкфуртом и Нидерландштейном, она тяготела к светской утонченности и хотя выполняла всякую черную работу, но по виду и манерам являла собой нечто среднее между горничной и наперсницей. Но так как приличное приданое все еще не было сколочено, то ее свадьба все откладывалась в долгий ящик, и Женевьеве, крупной, упитанной блондинке с зелеными тревожными глазами и изящными телодвижениями, необозримо долгая пора ожидания часто не в меру докучала. Проводя лучшие свои годы в воздержании, она не снисходила к домогательствам простолюдинов: солдат, рабочих, мастеровых, которые очень льстились на ее пышную юность. Не причисляя себя к простонародью, она презирала его язык и запах. Иное дело – хозяйский сынок да-еще недурной собою и, надо думать, возбуждающий ее женское чувство. Удовлетворение его потребностей, с одной стороны, как бы входило в круг ее домашних обязанностей, с другой же – означало своего рода альянс с высшими классами. Так вот и получилось, что мои желания не встретили серьезного сопротивления.

Я отнюдь не намерен распространяться об эпизоде, слишком обычном, чтобы его подробности могли занять просвещенного читателя. Короче говоря, однажды вечером после ужина, когда крестный Шиммельпристер кончил наряжать меня во всевозможные костюмы, в темном коридорчике мансарды, у дверей моей комнаты, произошла встреча, конечно, не без умысла со стороны Женевьевы, встреча, которая имела продолжение уже в комнате и кончилась полным взаимным обладанием. Помнится, что в тот вечер я был более обыкновенного подавлен прозой жизни, наступившей после маскарада, и погружен в бесконечную печаль и тоску. Будничное платье, которое я натянул на себя после стольких переоблачений, претило мне, я ощущал непреодолимое желанье сорвать его с

себя, но на этот раз не только для того, чтобы обрести успокоение во сне. Настоящее успокоение, казалось мне, я найду лишь в объятиях Женевьевы; говоря откровенно, мне даже мерещилось, что полная близость с нею будет своего рода завершением вечернего маскарада, более того, что она и есть истинная цель моих сегодняшних превращений. Как бы там ни было, а изнуряющее, небывалое наслаждение, которое я испытывал у белой, пышной груди Женевьевы, никакому описанию не поддается. Я кричал, мне казалось, что я возношусь на небо. И не своекорыстным было мое сладострастие, оно, как это свойственно моей натуре, распалось тем больше, чем полнее делила его со мною Женевьева. Всякие сравнения здесь, конечно, немыслимы и неуместны. Но мое убеждение, столь же недоказуемое, сколь и неопровержимое, остается в силе: любовью я наслаждался вдвое острее и жарче, чем другие.

Однако было бы несправедливо полагать, что этот врожденный дар превратил меня в сладострастника, в селадона. Этого не могло случиться хотя бы по той простой причине, что трудная и опасная жизнь, которую я вел, предъявляла немалые требования к моей выдержке, а ее бы у меня, конечно, не достало, если бы я стал размениваться направо и налево. Ибо если для многих это сомнительное времяпрепровождение является, как я заметил, чем-то, что делают походя и после чего можно взять да и отправиться по делам, будто ровно ничего не произошло, то я отдавал ему всего себя, вставал полностью опустошенный и непригодный к какой-либо деятельности.

Я часто распутничал, ибо плоть слаба, а мир был всегда готов любострастно идти мне навстречу. Но, в конечном счете, я, как и подобает мужчине, был настроен серьезно, и из чувственной расслабленности меня вскоре вновь тянуло к напряженной и суровой жизни. Животный акт любви – не является ли он лишь наиболее грубым видом наслаждения тем, что я, исполненный смутных чаяний, когда-то назвал «великой радостью»? Ведь, слишком нас пресыщая, он нас опустошает, и мы перестаем быть любимцами жизни, ибо любви достоин лишь алчущий, а не пресыщенный. Что до меня, то я знаю куда более тонкие, радостные, окрыленные виды удовлетворения страсти, чем этот примитивный акт, в конечном счете являющийся лишь скудной, обманчивой пищей, и я полагаю, что плохо понимает в счастье тот, чьи помыслы направлены только на эту цель. Я всегда стремился к большему, к наиполнейшему и находил изысканную, пряную усладу там, где другие не стали бы даже искать ее. Мои чувства никогда не были направлены на точную, определенную цель, чем, наверно, и объясняется то, что я, несмотря на весь жар вожделения, так долго оставался в наивном неведении, вернее навеки остался ребенком и мечтателем.

9

На этом хватит о материи, трактуя которую, я, как мне думается, ни разу не преступил границ благопристойности; пора уже приблизиться к поворотной точке, трагически заключившей мою жизнь в отчет доме. Сначала, правда, надо еще сказать несколько слов о помолвке моей сестры Олимпии с неким Юбелем – секунд-лейтенантом Второго Нассауского пехотного полка № 88, стоявшего в Майнце, – событию, отмеченном весьма торжественно, но так и не возымевшем серьезных последствий. Под натиском обстоятельств эта помолвка была расторгнута, и невеста, после того как все у нас окончательно рухнуло, стала опереточной артисткой. Юбель, болезненный, уже поживший молодой человек, был завсегдаем наших вечеров. Распаленный танцами, игрой в фанты, вином «Бернкаслер доктор» и прелестями, которые так щедро демонстрировали ему наши дамы, он возгорелся любовью к Олимпии, со страстностью слабогрудого человека стал мечтать об обладании ею и вдобавок, по наивности сильно переоценивая наше материальное благополучие, однажды вечером на коленях, чуть не плача от

нетерпения, попросил ее руки. Я и посейчас удивляюсь, как у Олимпии, почти не отвечавшей на его чувства, хватило наглости согласиться на это безумное предложение, – ведь она была многим лучше меня осведомлена о состоянии наших дел. Видимо, ей хотелось вовремя обеспечить себе хотя бы такой ненадежный кров, а может быть, ей внушили, что помолвка с носителем двухцветного мундира укрепит наше положение или по крайней мере отодвинет катастрофу. Мой бедный отец (Олимпия тотчас же к нему побежала), конфузясь, дал свое согласие на этот брак, после чего о событии было объявлено гостям, которые со страшным шумом начали приносить свои поздравления и, как они выражались, щедро «обмывать» помолвку «Лорелеей экстра кюве». Отныне лейтенант Юбель стал ежедневно приезжать к нам из Майнца, хотя долгое пребывание вблизи от предмета его болезненного вожеления шло ему очень и очень во вред. Когда мне случалось войти в комнату, где они сидели вдвоем, лейтенант выглядел совершенно изнуренным и бледным; он бы вконец извелся, если бы, на его счастье, ход дел не принял совсем иного оборота.

Но я снова возвращаюсь к своей особе. Все мои мысли в ту пору были заняты переменной фамилии, предстоявшей моей сестре после вступления в брак; мне живо помнится, что я до недоброжелательства ей завидовал. Подумать только, что она, всю жизнь называвшаяся Олимпией Круль, теперь станет писаться «Олимпия Юбель»! Сколько в этом новизны и прелести! Можно ли себе представить что-нибудь скучнее и утомительнее, чем весь век ставить под письмами и деловыми бумагами одну и ту же подпись? Рука сама отказывается выводить эти докучные буквы. Какое счастье, какой прилив свежих сил – откликаться на новое имя! Возможность хоть раз в жизни переменить имя казалась мне огромнейшим преимуществом слабого пола, – ведь нас, мужчин, закон лишает этой радости. Что до меня, не приспособленного, как большинство людей, вести под защитой буржуазного строя унылую и безопасную жизнь, то я впоследствии проявил немало изобретательности, чтобы обойти запрет, мешавший мне жить и зарабатывать себе на жизнь, и я уже сейчас позволяю себе отослать читателя к тому проникнутому легкой своеобразной прелестью месту моих воспоминаний, где я впервые, как изношенную, пропотевшую одежду, сбрасываю с себя свое родовое имя, чтобы не вовсе самочинно присвоить себе другое, по звучности и аристократизму далеко превосходящее имя лейтенанта Юбеля.

Но в то время как сестра моя была невестой, рок, выражаясь фигурально, костлявым пальцем уже стучался в наши двери. Ехидные слухи о состоянии дел моего бедного отца, распространившиеся в наших краях, недоверчивая сдержанность, с какой к нам стали относиться, беды, которые пророчили нашему не в меру гостеприимному дому, – все это к величайшему удовлетворению грязных злопыхателей сбылось, оправдалось и подтвердилось.

Потребитель решительно отвергал наши шипучие вина. Ни сильное удешевление (что, разумеется, мало способствовало повышению их качества), ни сверхсоблазнительные рекламы, которые мой крестный Шиммельпристер, вопреки своему убеждению, из чистой любезности сделал для фирмы, не привлекли симпатий винолюбивого общества к нашему товару. Последнее время заказы уже равнялись нулю; и вот в один из весенних дней, незадолго до моего восемнадцатилетия, на моего бедного отца надвинулась катастрофа.

В том нежном возрасте я ничего не понимал в коммерческих делах, да и позднее моя фантазмагорическая жизнь не давала мне возможности приобрести меркантильные знания. Посему я не буду вдаваться в предмет, мне почти незнакомый, и утруждать читателя профессиональными подробностями краха фабрики шампанских вин. Но о сердечном участии, которое мне в то время внушал мой бедный отец, я все же скажу несколько слов. С каждым днем он все глубже и глубже погружался в меланхолию,

выражавшуюся в том, что он целыми днями сидел где-нибудь на стуле у стены со склоненной набок головой, пальцами правой руки неторопливо поглаживая свое брюшко и часто-часто моргая глазами. Иногда он ездил в Майнц, – эти печальные поездки предпринимались, надо думать, в надежде достать денег или сыскать какие-нибудь источники помощи; приезжал он оттуда совершенно подавленный и то и дело вытирал батистовым платочком лоб и глаза. Препрежнее благодушие возвращалось к отцу, разве когда он, повязанный салфеткой, с бокалом вина в руке, председательствовал за пиршественным столом, – по вечерам в нашем доме все еще собиралось шумное общество. Но однажды во время такого собрания между моим бедным отцом и евреем-банкиром (супругом обвешанной драгоценностями особы) возникла пренеприятная и достаточно отрезвляющая словесная перепалка. Банкир этот, как я тогда же узнал, был одним из самых отчаянных живодеров, что заманивают в свои сети незадачливых и легкомысленных коммерсантов. Вскоре наступил тот знаменательный, роковой, но для меня все же интересный и бодрящий день, когда фабрика и контора фирмы остались закрытыми, а в нашем доме появилась кучка почтенных господ с холодным взглядом и поджатыми губами, чтобы описать наше имущество.

На суде мой бедный отец в изысканных выражениях подтвердил свою неплатежеспособность и скрепил бумагу наивно вычурной подписью, которую я умел так мастерски воспроизводить, после чего дело было торжественно передано конкурсному управлению.

В тот день из-за нашего позора, уже известного всему городу, я не пошел в школу, вернее в реальное училище, окончить которое, замечу мимоходом, мне так и не было суждено: во-первых, потому, что я ни в малейшей мере не скрывал своего отвращения к деспотической тупости, характерной для этого заведения, и, во-вторых, потому, что подозрительные слухи, а затем и полное крушение нашего торгового дома восстановило против меня весь учительский персонал, более того, преисполнило его ненавистью и презрением ко мне. И на сей раз, после банкротства отца, меня не только не перевели на пасху в следующий класс, но поставили перед выбором – либо и впредь терпеливо сносить уродливые проявления тирании, в моем возрасте уже нестерпимые, либо уйти из школы и тем самым поставить крест на тех общественных преимуществах, которые дает окончание реального училища. В задорном сознании, что личные мои качества с лихвой возместят мне утрату этих жалких привилегий, я, разумеется, выбрал последнее.

Катастрофа, постигшая нас, была непоправимой, и мне стало очевидно, что мой бедный отец оттягивал ее приближение, все безнадежнее запутываясь в сетях ростовщиков, потому что точно знал – торги сделают нас не только бедняками, но нищими. Все пошло с молотка – складские запасы (впрочем, не знаю, кто согласился дать хоть грош за эту злополучную субстанцию, именованную шипучим вином); недвижимое, как то: погреб и наш загородный дом, обремененные долгами по закладным, составлявшим более двух третей их стоимости, проценты по которым не платились в течение ряда лет; гномы, грибы и зверюшки из нашего сада, даже стеклянный шар и эолова арфа не избежали этой печальной участи. Дом наш лишился всего своего приветливого изобилия – прятка, пестрые подушки, полированные ларчики и флаконы с благовониями были вынесены на аукцион; конкурсное управление не пощадило даже алебард и веселых занавесей из раскрашенного тростника, и если забавное устройство над входной дверью уцелело в этом разгроме и по-прежнему тоненько выводило «Жизни возрадуйтесь», то только потому, что судебские его не заметили.

Собственно говоря, мой бедный отец не производил впечатления вконец сломленного человека. В нем замечалось даже известное удовлетворение по поводу того, что дела, распутать которые ему не представлялось возможным, теперь находятся в надежных руках, а так как правление банка, в чье владенье перешла наша недвижимость,

сердобольно разрешило нам до поры до времени проживать в голых стенах нашего загородного дома, то у отца как-никак была еще и крыша над головой. Легковерный и добродушный по природе, он и других людей не считал за жестокосердных педантов и не думал, что они всерьез его оттолкнут; у него даже достало наивности явиться в местное акционерное общество по выработке шампанских вин и предложить свои услуги в качестве директора. Получив насмешливый отказ, он сделал еще несколько попыток встать на ноги, для чего храбро возобновил свои вечера и фейерверки. Когда и это средство не помогло, отец впал в уныние; а так как он еще полагал, что стоит нам поперек дороги и что без него мы легче пробьемся в жизни, то и решил покончить с собою.

Со времени торгов прошло пять месяцев. Наступила осень. Я уже с пасхи не посещал школы и радовался временной свободе и переходному своему состоянию без определенных видов на будущее. Мы – моя мать, сестра Олимпия и я – собрались в столовой, единственной еще кое-как обставленной комнате, и довольно долго не приступали к скудной трапезе, дожидаясь главы семейства. Но когда отец не появился и после того, как суп был уже съеден, сестра Олимпия, к которой он питал особую нежность, была послана в кабинет звать его к обеду. Через какие-нибудь три минуты мы вдруг услышали, что она с криком мчится вниз по лестнице, потом опять вверх и зачем-то снова вниз. Я весь похолодел и, готовый к наихудшему, ринулся в комнату, отца. Он лежал на полу в расстегнутом сюртуке; одна его рука покоилась на выпуклом животе, а рядом лежал блестящий опасный предмет, из которого он выстрелил в свое чувствительное сердце. Горничная Женевьева и я подняли его и положили на софу. Покуда прислуга бегала за врачом, Олимпия с воплями носилась по дому, а мать не отваживалась выйти из столовой, я стоял, закрыв глаза руками, возле стынувшей оболочки моего родителя, щедро воздавая ему дань сыновних слез.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Долго пролежали эти бумаги в запертом ящике; более года нежелание писать и сомнение в плодотворности задуманного удерживали меня от того, чтобы в строгой последовательности, листок за листком, продолжать свою исповедь. На предыдущих страницах я хоть и неоднократно заверял, что веду свои записи главным образом и прежде всего для собственного развлечения, но так как я и здесь намерен воздать должное правде, то хочу откровенно признаться: садясь за письменный стол, я втихомолку все же помышлял о читателях, и без подкрепляющей меня надежды на их участие и поощрение у меня, наверное, не хватило бы усидчивости довести свою работу хотя бы до нынешней ее стадии. И уж, конечно, я не раз задавался вопросом – смогут ли мои правдивые признания, скромно почерпнутые из действительной жизни, соперничать с вымыслом писателей и заслужить благоволение публики, давно пресытившейся пряностями искусства? Одному богу известно – не раз говорил я себе, – каких очарований и потрясений ждут от книги, которая в силу своего заглавия как бы становится в один ряд с детективными романами, тогда как история моей жизни временами хотя и кажется необычной, даже неправдоподобной, но, конечно же, вовсе не знает ошеломляюще внезапных эффектов и запутанных интригующих положений. От всех этих мыслей мужество едва не оставило меня.

Но сегодня мне случайно попались на глаза уже написанные главы; не без чувства

растроганности я сизнова прочитал хронику моего детства и первых отроческих лет; воодушевившись, я опять предался воспоминаниям и, в то время как передо мной оживали наиболее, памятные моменты моей биографии, невольно подумал, что подробности, столь живительно действующие на меня, будут небезыntenесны и широкому читателю. Стоит мне, например, припомнить, как я в одной из знаменитых столиц империи под именем бельгийского аристократа сажу с сигарой за чашкой кофе в избранном обществе, среди которого находится и начальник полиции, на редкость гуманный сердцевед, и веду беспечный разговор об авантюризме и криминалистике, или же роковой час моего первого ареста, когда один из вошедших ко мне чиновников уголовного розыска, пораженный величием момента и сбитый с толку роскошью моей спальни, постучался в открытую дверь и, старательно вытерев ноги, тихо проговорил: «Прошу прощения за смелость», – за что был вознагражден негодующим взглядом своего толстого начальника, – и я преисполняюсь радостной надежды, что мои признания, пусть уступающие вымыслам романистов в захватывающей интересности, пусть менее полно удовлетворяющие пошлое любопытство публики, тем не менее решительно превзойдут их утонченной проникновенностью и благородной правдивостью. Вот почему я снова возгорелся желанием продолжить и завершить свои записки. Отныне я намерен еще с большим тщанием следить за чистотой стиля и благоприличием оборотов, дабы вышедшее из-под моего пера могло читаться и в самых лучших домах.

2

Я возобновляю свой рассказ на том самом месте, где некогда прервал его, а именно на самоубийстве моего бедного отца, загнанного в тупик людским жестокосердием. Предать его земле по религиозному обряду было затруднительно, ибо церковь отворачивает свой лик от подобного деяния, осуждаемого, впрочем, и моралью, свободной от канонических воззрений. Жизнь, разумеется, не высший дар небес, за который, обольщенные ее прелестью, мы должны цепляться; по-моему, ее скорее следует рассматривать как заданный, в известной мере даже нами самими выбранный, тяжелый и трудный урок, каковой нам надлежит выполнять со старательным упорством, ибо преждевременное бегство от него является величайшей нерадивостью. Но в этом частном случае я воздержался от сурового приговора и всецело отдался чувству жалости. Похоронить отца без благословения церкви мы, оставшиеся, считали невозможным – моя мать и сестра из-за людской молвы и из ханжества (они были ревностными католичками), а я в силу врожденного традиционализма, всегда меня побуждавшего предпочитать благодетельно устоявшиеся формы претензиям новейшего прогресса. Итак, поскольку у женщин не хватило на то мужества, я взялся уговорить настоятеля нашего собора, консисториального советника Шато, совершить обряд погребения.

Этот жизнелюбивый клирик, лишь недавно получивший приход в нашем городе, которого я застал за вторым завтраком, состоявшим из омлета и бутылки легкого вина, удостоил меня отменно любезного приема. Дело в том, что консисториальный советник Шато был пастырем самого светского толка, убедительно олицетворявшим своей особой блеск и аристократизм католической церкви. Кругленький и низкорослый, но отнюдь не лишенный известного изящества, он при ходьбе проворно и приятно покачивал бедрами и радовал глаз удивительной округлостью жестов. Речь у него была изысканная, можно сказать образцовая, а из-под его отлично сшитой шелковисто-черной сутаны выглядывали черные шелковые чулки и лакированные туфли. Правда, масоны и антипаписты утверждали, будто он вынужден постоянно носить лакированную обувь из-за того, что у него потеют и скверно пахнут ноги, но мне это и посейчас кажется злостным

измышлением.

Несмотря на то что я предстал перед ним впервые, он своей белой пухлой рукой пригласил меня сесть за стол, разделить с ним трапезу и любезно сделал вид, что верит моим лживым показаниям: я утверждал, будто мой отец, рассматривая давно не бывший в употреблении револьвер, нечаянно всадил в себя пулю. Всему этому он счел нужным поверить по соображениям чисто политическим (в нынешние худые времена церковь бывает рада, когда к ней кто-нибудь прибегает, хотя бы с нечистой совестью), сказал мне в утешенье несколько ласковых слов и высказал пастырскую готовность отслужить панихиду и совершить обряд погребения, расходы по которому великодушно взял на себя крестный Шиммельпристер. С моих слов его преподобие сделал себе несколько заметок относительно жизненного пути покойного. Я постарался обрисовать этот путь как радостный и почетный. Потом он задал мне ряд вопросов о моих личных обстоятельствах и видах на будущее. Я отвечал на них пространно, но довольно уклончиво.

– Вы, милый сын мой, – сказал он, – до сей поры были не очень строги к себе. Но я полагаю, что не все еще потеряно, вы производите весьма приятное впечатление, и мне в особенности пришелся по душе ваш голос. Не сомневаюсь, что фортуна будет к вам благосклонна. Рожденных в счастливый час и угодных богу я распознаю с первого взгляда, ибо судьба человека начертана на его челе письменами, которые без труда читает посвященный.

С этими словами он отпустил меня.

Радуюсь услышанному, я помчался, чтобы сообщить домашним о благоприятном исходе моей миссии. К сожалению, похороны отца, хотя и церковные, нимало не походили на величаво торжественный обряд, который нам представлялся: народу собралось очень мало, и в этом, поскольку речь идет о жителях нашего города, ничего удивительного не было. Но куда подевались иногородние друзья, которые в хорошие времена так часто любовались фейерверками моего бедного отца и так охотно распивали с ним бутылку-другую «Бернкаслер доктор». Они не почтили его похорон своим присутствием, надо думать, не потому, что были людьми неблагородными, а потому, что все серьезное, все заставляющее вспоминать о вечности было им просто не по нутру и они избегали церемоний, способных омрачить их существование, что, конечно, свидетельствует об известной душевной низости. Явился один только лейтенант Юбель из Второго Нассауского, и лишь благодаря ему мой крестный Шиммельпристер и я оказались не единственными сопровождающими гроб к разверстой могиле.

Тем не менее предсказание духовного отца все время стояло у меня в ушах; совпадая с моими чаяниями и надеждами, оно вдобавок еще исходило от институции, которая в столь глубоких и тайных вопросах представлялась мне законополагающей. Объяснять почему – не дело профана, и все же я возьму на себя смелость хотя бы поверхностно коснуться этого предмета. Во-первых, почтенное место на одной из ступеней иерархии римской церкви, без сомнения, помогает куда тоньше разбираться в людских рангах, чем пребывание в обывательском болоте. Высказав эту самоочевидную мысль, я попытаюсь пойти еще дальше, неуклонно придерживаясь логического ее развития. Здесь речь идет о чувстве – следовательно, об элементе чувственности. Католическая же форма богопочитания, для того чтобы ввести человека в сверхчувственный мир, опирается прежде всего на чувственное восприятие, она прокладывает для него все мыслимые пути и больше, чем любая другая религия, старается проникнуть в его тайны. Ухо, привыкшее к возвышенной музыке, к гармонии, как бы предвосхищающей хоры небожителей, может ли оно оказаться недостаточно чутким и не уловить внутреннего аристократизма в звуке человеческого голоса? Глаз, искушенный в благочестивой

роскоши, в красках и в формах, представляющих на земле великолепие горних чертогов, разве может он не прозреть таинственной прелести, самой природой заложенной в счастливого избранника? Орган обоняния, который всегда вдыхает услажденную ладаном атмосферу алтаря, орган, досрочно чующий благоухание святости, неужели не ощутит он нематериального и все же плотского духа, что исходит от счастливецца, от человека, рожденного в воскресенье? Тот, кому дано свершать величайшее таинство этой церкви, таинство причастия, неужели он посредством высшего чувства осязания не отличит высокую человеческую субстанцию от низменной? Лыщу себя надеждой, что при помощи этих тщательно подобранных слов я по мере возможности ясно выразил свою мысль.

Во всяком случае, пророчество патера не сказало мне ничего такого, что не подтверждалось бы моими собственными ощущениями и тем, что я видел в зеркале. Правда, временами я чувствовал упадок духа, ибо мое тело, уже однажды во всей своей мифической красе нанесенное на холст рукою художника, пока что прикрывалось уродливым поношенным платьем, а мое положение в городе было не только унижительным, но и внушающим подозрение. Отпрыск семьи с весьма сомнительной репутацией, сын банкрота-самоубийцы, бросивший ученье, молодой человек без каких бы то ни было видов на будущее, я постоянно чувствовал на себе пристальные, хмурые взгляды своих сограждан – людей достаточно пустых, и для меня лишенных всякого обаяния; но в силу особенностей моей натуры эти взгляды больно ранили меня, почему я, не имея еще возможности уехать из нашего города, старался как можно меньше показываться на улице.

Издавна присущие мне робость и нелюдимость, кстати сказать, отлично уживались в моем сердце с алчной приверженностью к жизни и к людям. Вдобавок эти хмурые взгляды выражали – и не только у женской половины населения – нечто вроде невольного участия, что при более благоприятных обстоятельствах очень бы меня обнадежило.

Ныне, когда лицо мое исхудало и тело начало стариться, я могу сказать без лишней скромности, что в мои девятнадцать лет сбылось все, что сулило мне отрочество, и в ту пору я, даже по собственному мнению, расцвел в прелестного юношу. Белокурый и в то же время смуглый, с мерцающими синими глазами, со скромной улыбкой на губах, с шелковистыми волосами, зачесанными кверху надо лбом, я должен был привлекать к себе сердца моих простодушных земляков – если бы взгляд их не затуманивало неприятное сознание ложности моего положения, – как впоследствии привлекал сердца жителей всех частей света. Моя фигура, удовлетворявшая даже взыскательный глаз крестного Шиммельпристера, была отнюдь не плотной, но равномерно и пропорционально развитой, как у любителей спорта и гимнастических игр, хотя я, истый мечтатель, в жизни не занимался физическими упражнениями и ничего не делал для своего физического развития. К тому же кожа моя была столь нежна, что, несмотря на свою стесненность в деньгах, я всегда покупал самое мягкое и дорогое мыло, так как дешевые сорта заставляли ее кровоточить.

Врожденные преимущества, природные дары, неизменно внушают их обладателю живой и благоговейный интерес к своему происхождению, потому-то я так любил рыться в изображениях предков, в фотографиях, дагерротипах, медальонах и силуэтах, служивших мне подспорьем в моих исследованиях; горя желанием узнать, кому я обязан наибольшей благодарностью, я старался отыскать в лицах предков черты, подготовившие возникновение моей особы. Но сколько-нибудь значительным успехом эти поиски не увенчались. Правда, в облике некоторых родичей со стороны отца можно было заметить подготовительные упражнения природы (я ведь уже говорил, что и сам мой бедный отец, несмотря на свою тучность, был на короткой ноге с грациями). Но в

общем я убедился, что особенно благодарить мне некого; и если отказаться от мысли, что в какой-то неизвестный момент история моего рода претерпела загадочные коллизии, вследствие которых одним из моих предков стал аристократ или вельможа, то для обоснования преимуществ, дарованных мне природой, я должен был углубиться в размышления над самим собой.

Почему, собственно, слова консисториального советника произвели на меня такое огромное впечатление? На этот вопрос я и сейчас могу ответить с не меньшей уверенностью, чем в те далекие годы. Он меня похвалил, за что? За приятный голос. Но ведь это свойство или дар, явно ничего общего с понятием «заслуги» не имеющий, и считать его похвальным так же не принято, как порицать кого-нибудь за косоглазие, хромоту или зоб. Ведь, по мнению нашего буржуазного общества, хвалы или хулы достойно только нравственное, а не природное начало; восхвалять начало природное считается нелепым и несправедливым. То, что Шато, видимо, держался обратного мнения, поразило меня своей новизной и смелостью, показалось мне выражением сознательной и упрямой независимости, к которой примешивалось даже нечто от языческой простоты, и натолкнуло меня на приятные размышления. «Очень трудно, – думал я, – провести границу между врожденным и нравственным преимуществами. Все эти портреты дядьев, теток и дедов ясно доказали, сколь немногие из моих преимуществ перешли ко мне по наследству, Но в таком случае, „значит, я сам в какой-то, мере выработал их? Разве верное чувство мне не подсказывает, что достоинства, которыми я обладаю, в значительной мере моя заслуга, что голос мой мог быть вульгарным, взгляд тупым и ноги кривыми, если б душа моя тому попустительствовала? Тот, кто по-настоящему любит жизнь, создает себя ей в угоду. Иными словами, если природные достоинства и не являются следствием нравственных усилий, то похвалы, которые патер расточал благозвучию моего голоса, по здравому размышлению, отнюдь не простая его причуда“.

3

Через несколько дней после того, как бранные останки моего отца были преданы земле, все мы во главе с крестным Шиммельпристером собрались на семейный совет. Нам было официально предложено к новому году очистить дом, а посему принятие решения относительно дальнейшего нашего местожительства стало насущной необходимостью.

Я до сих пор не знаю, как благодарить крестного за советы и участливое внимание, с каким он, имея в виду каждого из нас в отдельности, разработал планы на будущее, впоследствии оказавшиеся (в частности, для меня) поистине благодетельными. Семейный совет состоялся в нашей бывшей гостиной, некогда уютно обставленной мягкой мебелью и полной веселья и праздничного угара, а теперь голой, разгромленной, почти пустой. Мы сидели в углу на бамбуковых стульях с ореховыми сиденьями, когда-то стоявших в столовой, за зеленым столиком – остатком гарнитура, состоявшего издвигающихся один в другой четырех или пяти хрупких закусовых столиков.

– Круль, – начал крестный (в фамильярном своем дружелюбии он и мать обычно называл по фамилии). – Круль, – сказал он и обратил к ней свой крючковатый нос и пронзительные глаза без бровей и ресниц, своеобразно обрамленные целлулоидными кругами очков, – вот вы нос повесили и руки опустили, а ведь совсем напрасно. На самом деле радостные и разнообразные возможности по-настоящему открываются человеку как раз после жестокой катастрофы, которую так метко называют гражданской смертью, и самое обнадеживающее положение – это то, когда нам до того плохо, что, кажется, хуже и быть не может. Уж поверьте, друг мой, человеку, который сам переживал

подобные удары судьбы если не материального, то нравственного порядка. Впрочем, вам до такого состояния еще далеко, и это-то, вероятно, и подрезает вам крылья. Не падайте духом, дорогая, побольше предприимчивости. Да, в этом городе у вас со всем покончено, но что с того? Перед вами широкая дорога. Ваш личный, правда скромный, счет в Коммерческом банке еще не окончательно исчерпан. С этими деньгами вы подадитесь куда-нибудь в большой город – в Висбаден, Майнц, Кельн, пусть даже в Берлин. В кухне вы как дома, простите мне неуклюжий оборот. Вы умеете стряпать пудинг из хлебных крошек и отличное кисло-сладкое жаркое из остатков вчерашнего мяса. Кроме того, вы привыкли видеть у себя множество людей, потчевать их, занимать разговором. Итак, вы снимете несколько комнат, дадите объявление, что по сходной цене принимаете нахлебников или просто жильцов без стола, и будете жить так же, как жили до сих пор, с той только разницей, что ваши гости будут вам платить. А снисходительное отношение к людям и бодрое состояние духа позволят вам устроить приятную, уютную жизнь своим пансионерам, и я, право, буду удивлен, если ваше предприятие вскоре не начнет процветать и расширяться.

Тут крестный умолк, давая нам высказать свою восторженную признательность и радость; та, к которой он обращался, тоже в конце концов к нам присоединилась.

– Что касается Лимпхен, – продолжал он (этим ласкательным именем крестный всегда величал мою сестру), – то самым простым для нее, конечно, было бы сделаться помощницей матери и скрашивать жизнь ее постояльцев, причем я не сомневаюсь, что она проявила бы себя как достойная и энергичная *filia hospitalis* [б - юная хозяйка (лат.)]. Но эта возможность никогда от нее не уйдет. А пока что я имею для нее в виду нечто лучшее. В дни вашего процветания она училась петь; настоящей певицы из нее не вышло – голос у Олимпии слабый, хотя он не лишен благозвучия и в сочетании с ее внешними данными производит весьма приятное впечатление. Салли Меершаум из Кельна – мой давнишний друг, а главное из его предприятий – это театральное агентство. Он с легкостью устроит Олимпию в опереточную труппу, пусть по началу даже не первого ранга, или в какую-нибудь певческую капеллу; свой гардероб на первых порах она пополнит из моей костюмерной. Начало ее карьеры будет, по всей вероятности, нелегким, возможно, что ей придется вступить в борьбу с жизнью. Но если она проявит характер (который важнее таланта) и сумеет извлечь профит из своего дарования, состоящего из множества разнообразных дарований, то быстро пойдет в гору и, кто знает, может быть, достигнет блистательных вершин. Я могу, конечно, только указать вам направление, наметить возможности – остальное уж ваше дело.

Взвизгнув от радости, моя сестра кинулась на шею советчику и спрятала голову у него на груди.

– А теперь, – продолжал он, и по всему было видно, что следующий пункт он принимает еще ближе к сердцу, – теперь перейдем к нашему «оборотню» (читателю понятно, на что он намекал, называя меня этим именем). – Я немало поломал себе голову над проблемой его будущего и, несмотря на значительные трудности, думается все же, нашел решение, конечно временное. По этому поводу я даже затеял переписку с заграницей, точнее говоря с Парижем, – сейчас я объясню вам, с кем именно и на какой предмет. По моему разумению, надо прежде всего открыть ему дорогу в жизнь, которая, как в силу прискорбного недоразумения полагают почтенные вершители судеб, для него закрыта. Как только он очутится на просторе, течение подхватит его и, я в этом уверен, принесет к прекрасному берегу. По моему мнению, наилучшие виды на будущее сулит Феликсу работа в большой гостинице, хотя бы в должности кельнера: я говорю не только о прямом пути (который тоже может привести к весьма почтенному положению в обществе), но и о всевозможных отклонениях и неожиданных кружных тропинках, которые не в меньшей мере, чем проторенные дороги, порой благоприятствуют

счастливицу. Я помянул о переписке. Так вот, я списался с директором гостиницы «Сент-Джемс энд Олбани», Париж, улица Сент-Оноре, неподалеку от Вандомской площади (самый центр, следовательно; я покажу вам это место на плане Парижа), с Исааком Штюрцли, – мы с ним на «ты» еще с моих парижских времен. Я не только выгоднейшим образом отозвался о воспитании и характере Феликса, но поручился за тонкость его обращения и расторопность. Он немного говорит по-французски и по-английски и в ближайшее время должен еще подучиться этим языкам. Штюрцли готов сделать мне одолжение и взять его на испытательный срок, конечно без жалованья. Питание и помещение он получит бесплатно, а ливрею, которая, несомненно, будет ему к лицу, сумеет приобрести по достаточно льготной цене. Одним словом, это путь в жизнь, благоприятное поприще для развития его дарований, и я надеюсь, что наш Феликс сумеет угодить знатным постояльцам «Сент-Джемс энд Олбани».

Само собой разумеется, что я высказал этому прекрасному человеку не меньше благодарности, чем моя мать и сестра. Ненавистная ограниченность родного городишка, казалось, уже уходила в прошлое, широкий мир открывался передо мною; и Париж, город, при одном воспоминании о котором мой бедный отец впадал в сладостную истому, уже вставал перед моим внутренним взором во всем своем жизнерадостном великолепии. Но на деле все было не так просто, вернее, как говорят в простонародье, была тут одна загвоздка: я не имел права покинуть родину, так как подлежал призыву на военную службу. Государственная граница являлась для меня непреодолимым препятствием, покуда в моих бумагах черным по белому не будет стоять, что я освобожден от воинской повинности; вопрос о военной службе тем более тревожил меня, что я, как известно, не пользовался привилегиями окончивших учебное заведение и в случае, если б меня признали годным, должен был бы явиться в казармы как обыкновеннейший рекрут. Эта подробность, о которой я до сих пор просто старался не думать, в минуту, исполненную столь радужных надежд, тяжелым камнем легла мне на сердце. И когда я нерешительно об этом заговорил, выяснилось, что ни моя мать, ни сестра, ни сам Шиммельпристер не принимали этого обстоятельства в расчет – первые по женскому своему неведению, последний же потому, что, всю жизнь занимаясь живописью, имел очень неточное представление о таких формальностях. С досадой заявив, что он совершенно беспомощен в подобном деле, ибо знакомств с военными врачами не имеет, а следовательно, не может повлиять на тех, от кого это зависит, крестный предложил мне выпутываться из петли собственными силами.

Итак, в этом щекотливом деле я был предоставлен самому себе; благосклонный читатель вскоре узнает, насколько я оказался способным с ним управиться. Сначала мой живой юношеский ум был отвлечен предстоящей переменой обстановки, всевозможными приготовлениями к переезду. Поскольку моя мать намеревалась обзавестись на хлебниками уже к Новому году, то переселение наше должно было состояться еще перед рождеством. Местом нашего нового жительства был избран Франкфурт-на-Майне: в таком большом городе легче может подвернуться счастливая случайность.

Как легко, как нетерпеливо, презрительно и жестокосердно покидает жаждающий простора юноша свою тесную родину, ни разу даже не оглянувшись на ее башни и холмы, покрытые виноградниками! Он уже отчужден от нее и впредь будет отчуждаться еще больше, но ее до смешного знакомый образ останется жить в глубинах его сознания и после долгих лет забвения вдруг снова всплывет на поверхность. Прошлое покажется ему тогда достойным уважения, в своих делах и успехах на чужбине, при каждой жизненной перемене, при каждом новом взлете он будет оглядываться на тот покинутый малый мирок, станет спрашивать себя, что бы сказали об этом или уже говорят там, в родном его городе. Так сделает любой одаренный юноша, к которому родина была глуха, неблагожелательна, несправедлива. Зависая от нее, он всем существом ей противился, но после того, как ей пришлось его отпустить и она, вероятно, о нем уже позабыла, он

добровольно предоставит ей право голоса в своей жизни. Более того, по истечении пестрых, полных событий лет его повлечет взглянуть на гавань, из которой он отплыл в житейское море, он не сможет противостоять искушению на удивление тамошним жителям и с боязливой насмешкой в сердце, узнанным или неузнанным, побродить среди старых стен в том новом, чуждом и блистательном обличье, которое успел приобрести. В должном месте я расскажу, как это было в моем случае:

Я написал в Париж учтивое письмо господину Штюрцли, сообщая ему, что вынужден повременить с отъездом до того, как будет решено, годен я или нет к военной службе; при этом я выражал ни на чем не основанную уверенность, что по причинам, не имеющим отношения к будущей моей работе, ответ окажется благоприятным.

Остатки нашего имущества приобрели вид тюков и чемоданов, в одном из которых лежало полдюжины роскошных рубашек с крахмальными манишками; крестный вручил их мне на прощанье, выразив уверенность, что в Париже они сослужат мне добрую службу. И вот в тусклый зимний день мы все трое, высунувшись из окна отходящего поезда, видим, как исчезает трепыхающийся на ветру красный платок нашего друга. С этим прекрасным человеком мне довелось свидеться еще только однажды.

4

Не буду долго останавливаться на первых суматошных днях нашего пребывания во Франкфурте. Мне неприятно вспоминать о той жалкой роли, которую мы играли в этом богатейшем торговом городе, к тому же я боюсь наскучить читателю подробным изложением наших тогдашних обстоятельств. Умолчу и о грязной харчевне или постоялом дворе, меньше всего заслуживающем названия гостиницы, где мы с матерью (сестра Олимпия сошла с поезда в Висбадене, чтобы попытать счастья в кельнском агентстве Меершаума) из соображений экономии провели много ночей: я спал там на диване, который просто кишел кусачими, злобными насекомыми. Умолчу и о мытарствах, которые мы претерпели, разыскивая в этом большом, бессердечном, враждебном беднякам городе хоть мало-мальски подходящую квартиру, покуда наконец не наткнулись в одном из отдаленных кварталов на помещение, в известной мере отвечающее житейским планам моей матери. Это были четыре маленькие комнаты и малюсенькая кухня в нижнем этаже флигеля с видом на безобразный двор и без единой капли солнечного света. Но поскольку эта квартира стоила всего сорок марок в месяц, а нам было не к лицу строить из себя прихотливых жильцов, то мы тут же дали задаток и поспешили в нее перебраться.

В молодости любая новизна бесконечно привлекательна, и хотя это унылое жилище не могло идти ни в какое сравнение с нашим светлым загородным домом, на меня в столь необычной обстановке нашел приступ необузданного веселья и радости. Я рьяно помогал матери в неотложных работах: передвигал мебель, вынимал из ящиков со стружками тарелки и чашки, старался покрасивее расставить в шкафу и на полках кухонную посуду и терпеливо вел переговоры с хозяином, омерзительно пузатым мужчиной подлейшего характера, относительно необходимого ремонта, от которого этот брюхач так упорно уклонялся, что матери пришлось за собственный счет произвести кое-какие поделки, дабы предназначенные ею к сдаче комнаты не имели слишком неприглядного вида. Ей это далось очень нелегко, так как расходы по переезду оказались весьма значительными и в случае задержки с пансионерами делу, еще не открытому, грозило банкротство.

В первый же вечер, когда мы с матерью, стоя в кухне, ужинали яичницей-глазуньей,

решено было в память доброго старого времени наречь наше предприятие «Пансион Лорелея», и мы тут же вместе написали открытку, испрашивая на то одобрения крестного Шиммельпристера. Уже на следующий день я побежал в редакцию одной из наиболее читаемых франкфуртских газет со скромно, но заманчиво составленным объявлением; предполагалось, что напечатанное жирным шрифтом поэтическое название будущего пансиона непременно проймет франкфуртских жителей. Относительно же дощечки, которую мы намеревались прибить у дверей, для того чтобы привлечь внимание прохожих к нашему предприятию, мы с матерью несколько дней пребывали в затруднении – она оказалась нам не по средствам. Как же описать нашу радость, когда на шестой или седьмой день нашего водворения во Франкфурте из родного города вдруг прибыла посылка весьма необычной формы; отправителем ее значился крестный Шиммельпристер, а в ящике лежала продырявленная по всем четырем углам прямоугольная дощечка, на которой красовалась собственноручно сотворенная им женская фигура с наших этикеток, в одежде из одних колец и браслетов, и надпись золотистой масляной краской: «Пансион Лорелея». Эта вывеска, прибитая к углу выходившего на улицу дома, выглядела очень эффектно: мы сумели так ее прикрепить, что дева скал указывала своей униженной драгоценностями рукой на подворотню и двор, в котором находилась наша квартира.

И правда, скоро объявились постояльцы; первым пришел не то техник, не то инженер-механик, серьезный, молчаливый, даже угрюмый и явно недовольный своим жребием молодой человек, который, однако, платил аккуратно и вел размеренный, степенный образ жизни. Он не прожил в «Пансионе Лорелея» и недели, как у нас оказалось еще двое нахлебников, принадлежавших уже к театральному миру, а именно: комический бас, оставшийся без работы из-за полной потери голосовых средств, толстый и смешной с виду, но озлобленный свалившимся на него несчастьем. Он тщетно пытался нескончаемыми упражнениями укрепить свой голос, и когда он пел эти упражнения, казалось, что кто-то, задыхаясь, взывает о помощи из пустой бочки. Вместе с ним явилась его тень женского пола – рыжая хористка в неопрятном капоте, с длинными, выкрашенными в розовый цвет ногтями, – до ужаса худое и, видимо, слабогрудое создание, которое наш певец, то ли за какие-нибудь упущения, то ли просто чтобы дать выход накопившейся горечи, нередко «учил» посредством своих подтяжек, что, впрочем, ни разу не поколебало ее безусловной уверенности в чувствах своего сожителя.

Итак, эта пара занимала одну комнату, механик – другую, третья служила нам столовой, где все мы ели обеды, умело приготовленные из мизерного количества продуктов. Не желая, по соображениям благопристойности, делить комнату с матерью, я спал на кухне, постилая себе постель на лавке, и мылся над раковиной, в уверенности, что такое мое житье долго продлится не может.

«Пансион Лорелея» начал процветать, нам приходилось тесниться, уступая место гостям, и моя мать уже с полным правом помышляла о том, чтобы расширить предприятие и нанять кухарку. Одним словом, дело налаживалось, и помощь моя была не нужна, а до отъезда в Париж или до дня, когда мне придется повязать двухцветный шарф, у меня оставалось еще много свободного времени, столь желанного и необходимого всякому незаурядному юноше, Образование дается не тупой учебной повинностью, оно – дар свободы и досуга; его не добиваются в поте лица, а вдыхают, как воздух; на него работают незримые инструменты. Потайное усердие чувства и мысли, отлично уживающееся с тем, что люди считают пустой тратой времени, ежечасно обогащает тебя знаниями, я бы даже сказал, что на избранника судьбы образование нисходит во сне. Ибо поистине надо быть созданным из податливого материала, чтобы стать просвещенным человеком. Никто не усваивает того, что не заложено в нем от рождения, и не алчет того, что ему чуждо. Тупому человеку образования не добиться, кто его приобрел, никогда не был мужланом. И здесь опять-таки очень трудно провести прямую и четкую

демаркационную линию между личной заслугой и тем, что мы называем «благоприятными обстоятельствами»; ведь если доброжелательная судьба в самый подходящий момент забросила меня в большой город и от своих щедрот одарила меня временем, то, с другой стороны, начисто лишенный средств, которые раскрывают перед человеком двери тех мест, где он может пополнить свое образование и получить духовное наслаждение, я был обречен заглядывать в цветущий таинственной прелестью сад только через великолепную решетку.

В ту пору я предавался сну даже чрезмерно, спал большей частью до обеда, нередко еще позднее, и, встав, наспех съедал в кухне какие-нибудь разогретые, а не то и холодные остатки, потом закуривал папиросу, дар нашего механика (он знал, как я падок до этой сладостной утехы и как редко могу себе ее позволить), и уходил из «Пансиона Лорелея» уже в предвечернее время, часа в четыре, в пять, когда светская жизнь в городе достигает высшей точки, богатые женщины отправляются с визитами или ездят в экипажах из лавки в лавку, кафе наполняются посетителями и витрины начинают сиять огнями. В это время я пускался в свои одинаково поучительные и занимательные прогулки по многолюдным улицам прославленного города. И частенько, внутренне обогащенный, возвращался домой уже при бледном свете зари.

А теперь представьте себе невзрачно одетого юношу и то, как он, без друзей и знакомых, одиноко пробирается сквозь пеструю сутолоку чужого города! У него нет денег, чтобы насладиться радостями цивилизации. Об этих радостях так проникновенно возвещают расклеенные на столбах афиши, что даже самый тупоголовый малый неминуемо должен утратить спокойствие и почувствовать прилив любопытства, а он, столь легко возбудимый, вынужден довольствоваться тем, что читает их названия, узнает о том, что они существуют. Он видит празднично освещенные подъезды театров, но ему нельзя слиться с людским потоком, устремляющимся в них, он стоит, ослепленный ярчайшим светом, который огни мюзик-холлов и варьете отбрасывают на тротуар, где у дверей торчит сказочный великан мавр в треуголке, держа в руках жезл, с лицом, обесцвеченным, как и пурпурная его ливрея, непомерной яркостью света, и, скаля зубы, зазывает гостей на каком-то непонятном наречии; а бедному юноше нельзя откликнуться на эти зазывания! Но чувства его возбуждены, ум напряжен; он смотрит, наслаждается, воспринимает, и если шум и толчея по началу оглушают, страшат и сбивают с толку уроженца сонного городишка, то у него все же хватает юмора и самообладания, чтобы постепенно освоиться с этой суматохой и даже обратить ее на пользу себе и своей жажде познания.

А какая великолепная выдумка – витрины! Как хорошо, что лавки, базары, художественные салоны – эти склады роскоши – не скопидомничают, не таят сокровищ в своих недрах, а широко, щедро, прельстительно выставляют их напоказ за широкими стеклами. В зимние вечера эти выставки сияют, точно солнечный день; гирлянды маленьких газовых горелок, пристроенных внизу окна, не дают стеклам покрыться изморозью. Я стоял возле них, защищенный от холода только шерстяным шарфом, обмотанным вокруг шеи (пальто, доставшееся мне в наследство от моего бедного отца, давно уже было заложено в ломбарде за весьма скромную сумму), и пожирал глазами все эти прекрасные, изящные, дорогостоящие вещи, не обращая внимания на холод и сырость, пронизывавшие меня до мозга костей.

В витринах мебельщиков устроены целые комнаты: кабинеты строгие и комфортабельные; спальни, демонстрирующие утонченность интимных привычек; очаровательные столовые, где на столе, покрытом камчатной скатертью, окруженном удобными стульями, стоят цветы, мерцает серебро, тончайший фарфор, ломкие бокалы; аристократические гостиные в строгом стиле, с канделябрами, каминами и креслами, обитыми гобеленом. Я не мог досыта наглядеться на то, как ножки уютных кресел, такие

изящные и благородные, тонут в багряном свечении персидских ковров. Чуть подале мое внимание привлекли витрины элегантного портняжного заведения. Здесь я увидел весь гардероб богача или вельможи – от бархатного шлафрока или подбитой атласом домашней куртки до торжественно-черного фрака, от воротничка изысканнейшей формы, точно сделанного из алебаstra, до ласковых гамаш и ослепительно блестящих лакированных туфель, от рубашек в полоску или крапинку до драгоценной шубы. Здесь же перед моим взором предстали и дорожные вещи богатых путешественников, эти вместилища роскоши из эластичной телячьей шкуры или ценнейшей крокодиловой кожи, с виду состоящей из сплошных заплат. У этих витрин я познакомился с принадлежностями красивой, изысканной жизни: флаконами, щетками, несессерами, футлярами для провизии и складными спиртовками в блестящем никеле. Среди всех этих предметов были соблазнительно разложены пестрые жилеты, великолепные галстуки, тончайшее белье, шляпы на атласной подкладке, замшевые перчатки и шелковые носки. Созерцая всю эту роскошь, юноша мог усвоить обиход элегантного джентльмена вплоть до последней удобно выгнутой пуговицы. А затем, стоило мне только, осторожно лавируя между звенящими трамваями и экипажами, перейти улицу, как я уже оказывался у витрины магазина художественных изделий. Тут была выставлена продукция изящных ремесел, вещи, предназначенные тешить просвещенный, опытный глаз: картины выдающихся мастеров, всевозможные зверюшки из фарфора, красивая керамика, бронзовые статуэтки; руки мои так и тянулись обласкать их стройные, благородные тела. А что значит блеск несколькими шагами дальше, такой блеск, что у прохожего ноги прирастают к земле? Это витрина известного ювелира и золотых дел мастера, и ничто, ничто, кроме хрупкого стекла, не отделяет продрогшего мальчика от всех сокровищ сказочной страны. Здесь у меня, больше чем где бы то ни было, безудержный восторг соединился с неутолимой жаждой познания. Бледно мерцающие на кружевах нити жемчуга с крупной, как вишня, жемчужиной посередине и равномерно уменьшающимися по мере приближения к бриллиантовому замку, – нити, которые стоят целое состояние; бриллиантовые украшения, холодно сверкающие на темном бархате, переливающиеся всеми цветами радуги и достойные украшать шею, грудь и голову королей; гладкие золотые портсигары и рукоятки для тростей, соблазнительно разложенные на стеклянных подставках; между ними небрежно рассыпанные драгоценные камни, поражающие глаз величавой игрою красок: кроваво-алые рубины, смарагды – ярко-зеленые, как хрусталь, сапфиры, излучающие звездный свет из своей прозрачно-синей глубины; аметисты, о которых говорят, будто их изумительная лиловость – следствие органической примеси; опалы, меняющие цвет в зависимости от точки, с которой ты смотришь на них; несколько топазов и еще какие-то неведомые камни всех оттенков солнечного спектра. Это зрелище не только услаждало мои чувства, я изучал камни, всем существом своим углублялся в них, сравнивал их и мысленно взвешивал; в те дни я впервые осознал свою любовь к драгоценным камням, этим совершенным по составу, но, собственно, ничего не стоящим кристаллам, простейшие элементы которых соединяются в бесценное целое лишь благодаря игривой прихоти природы; и тогда же я заложил основу серьезных знаний, впоследствии приобретенных мной в этой волшебной-прекрасной области.

Не знаю, говорить ли мне еще о цветочных магазинах, из дверей которых, стоило им приоткрыться, лились влажно-теплые благоухания рая, а в окнах стояли корзины, украшенные огромными атласными бантами, те, что в знак внимания посылаются женщинам. Или о писчебумажных лавках; заглядывая в их окна, я узнал, какую бумагу должен выбирать джентльмен для своей корреспонденции, и еще – что на ней должны быть выгравированы его инициалы, корона и герб. Или о витринах парфюмеров и парикмахеров, где в больших граненых флаконах были выставлены французские духи и ароматические эссенции, а в роскошно обитых футлярах лежали всевозможные аксессуары для полировки ногтей и массажа лица. Дар созерцания, а им я обладал в ту пору, составлял для меня все – это дар, воспитующий уже потому, что он обращен на

вещественное, на все заманчиво-поучительное, что только есть в мире. Но насколько же глубже бывают затронуты чувства, когда ты пожираешь глазами не вещи, а людей – возможность, щедро предоставленная мне большим городом, вернее, его фешенебельными кварталами, в которых я преимущественно вел свои наблюдения! Как совсем по-другому, нежели безжизненные вещи, занимают люди мысль и внимание юноши!

О, эти сцены светской жизни! Никогда не являлись они взору более восприимчивому! Кто знает, почему одна из картин, наполнявших мое сердце тоской и вожделением, картина, ничем не примечательная и вполне заурядная, так врезалась мне в память, что я и сейчас еще трепещу от восторга, вспоминая о ней? Нет, я не в силах противиться искушению воссоздать ее на этих страницах, хотя отлично знаю, что рассказчик – а им я сейчас являюсь – не должен отвлекать читателя происшествиями, из которых, вульгарно выражаясь, «ничего не проистекает», ибо они не способствуют развитию того, что принято называть «действием». Но, может быть, хоть при описании собственной жизни дозволено руководствоваться велениями сердца больше, чем законами искусства?

Еще раз повторяю: ничего особенного в этой картине не было, но она была очаровательна. Место действия находилось у меня над головой – балкон бельэтажа большой гостиницы «Франкфуртское подворье». Однажды зимним вечером на него вышли – да, да, прошу прощения, так просто все и обстояло – двое молодых людей не старше меня, по-видимому брат и сестра, может быть даже двойняшки. Головы у них были не покрыты, на себя они тоже ничего не накинули, из озорства. Оба темноволосые, явно уроженцы заморских стран, то ли южноамериканцы испано-португальского происхождения, то ли аргентинцы или бразильцы, а может быть – я ведь просто гадаю, – может быть и евреи – предположение, нисколько не умаляющее моего восторга, так как воспитанные в роскоши дети этого племени бывают очень и очень привлекательны. Оба были до того хороши, что словами не скажешь, и юноша по красоте не уступал девушке. Они уже были одеты для вечера; на манишке молодого человека я заметил бриллиантовые запонки, у девушки в темных, красиво причесанных волосах сверкал бриллиантовый аграф, другой точно такой же был приколот на груди, там, где красноватый бархат платья переходил в прозрачное кружево; из таких же кружев были у нее и рукава.

Я дрожал за их туалет, ибо несколько мокрых снежинок, покружив в воздухе, уже легли на темные кудри брата и сестры. Да и вся-то их ребяческая шалость длилась не больше двух минут и была затеяна, верно, только для того, чтобы, со смехом перегнувшись через перила, посмотреть, что творится на улице. Затем они сделали вид, будто у них зуб на зуб не попадает от холода, стряхнули снежинки со своего платья и скрылись в комнату, где тотчас же зажегся свет. Исчезла чудесная фантазмагория, исчезла, чтобы уже никогда не возникнуть вновь. Но я еще долго стоял и смотрел вверх фонарного столба на балкон, мысленно пытаюсь проникнуть в жизнь этих существ. И не только в эту ночь, но еще много ночей кряду, когда я, усталый от ходьбы и созерцания, засыпал на своей кухонной скамье, снились мне эти двое.

То были любовные сны, исполненные восторга и жажды слияния. Иначе я сказать не могу, хотя взволновало меня не отдельное, а двуединое явление – мельком увиденная пара, сестра и брат. Иными словами – существо моего пола и пола противоположного, то есть прекрасного. Но красота возникла здесь из двуединства, из очаровательного двоякого повторения, и я отнюдь не уверен, что образ юноши на балконе – если не говорить о жемчужинах в его манишке – хоть сколько-нибудь взбудоражил бы мои чувства, как сомневаюсь и в том, чтобы девушка без ее мужского повторения могла заставить мой дух предаться столь сладостным мечтаниям. Любовные сны – сны, которые я люблю, пожалуй, именно за первоизданную нераздельность и

неопределенность, за двусмысленность, а стало быть, полносмыслие, охватывающее человеческую природу в дурьяде обоих полов.

«Мечтатель и разиня! – уже слышу я голос читателя. – Где же твои приключения? Уж не собрался ли ты на протяжении всей книги занимать нас чувствительными lamentациями и тревожностями твоей сладострастной расслабленности. Что ж, так ты и продолжал прижиматься лбом и носом к огромным стеклам и сквозь щелку в кремовых занавесах заглядывать внутрь элегантных ресторанов или стоял, одурманенный пряными запахами, проникавшими из кухонь, и смотрел, как кельнеры обслуживают избранных франкфуртцев, сидящих за маленькими столиками, на которых стоят канделябры со свечами, затененными изящными экранчиками, и диковинные цветы в хрустальных вазах?»

Да, все это я проделывал и только удивляюсь, как метко удалось читателю описать зрительные наслаждения, похищенные мною у красивой жизни; кажется, будто он и сам прижимался носом к вышеупомянутым стеклам. Что же касается «расслабленности», то он скоро поймет, сколь неуместно здесь это определение и, как джентльмен, поспешит от него отказаться, предварительно извинившись передо мной. Но пора уже довести до его сведения, что, не ограничиваясь созерцанием, я искал и нашел способ прийти в известное соприкосновение с миром, к которому влекла меня моя природа, а именно: по окончании спектаклей я терся у театральных подъездов и, будучи малым ловким и услужливым, подзывал заждавшиеся экипажи для избранной публики, когда она, смеясь и болтая, разгоряченная сладостным зрелищем, устремлялась к выходу. Я бросался чуть не под ноги лошадям, чтобы заставить их остановиться у крытого подъезда, где дожидались мои «клиенты», или пробегал изрядный кусок по улице, разыскивая чью-то карету, усаживался на козлы рядом с кучером и, подкатив к театру, снова соскакивал, как лакей, стремглав летел открывать дверцу и при этом отвешивал владельцам экипажа столь учтивый поклон, что они чувствовали себя озадаченными. Для того чтобы доставить к подъезду эти ландо и кареты, я искательно просил счастливых, которым они принадлежали, назвать мне свое имя и не знал большего удовольствия, как звонким голосом выкрикнуть его в воздух и обязательно с прибавлением титула, к примеру: «Карету господина тайного советника Штрейзанда! Господина генерального консула Акерблома! Господина полковника Штраленбейма или Адельслебена!»

Некоторые носители особенно мудреных имен колебались, прежде чем назвать их, не надеясь на мою способность выговорить таковые. Одна супружеская чета, например, которую сопровождала взрослая, но, видимо, незамужняя дочь, носила фамилию Крен де Монт-ан-Флер; эти люди были прямо-таки растроганы корректной элегантностью, с которой я, точно петух на заре, прогорланил их поэтически цветистое, сплошь состоящее из хруста и шелеста имя. Заслышав его в отдалении, старик кучер немедленно подал своим господам старомодную, но чисто вымытую карету, запряженную парой откормленных буланых.

Вожделенные монеты, порой даже серебряные, скользили мне в руку за эти услуги, оказанные сильным мира сего. Но моему сердцу дороже были менее весомые и более обнадеживающие награды, иногда выпадавшие мне на долю, ненароком подмеченные знаки благоволения со стороны большого света: приятно удивленный взгляд, остановившийся на моей особе, любопытная улыбка. Я так заботливо отмечал про себя все эти скромные успехи, что еще и теперь мог бы поделиться воспоминаниями если не о любом из них, то уж, безусловно, о каждом мало-мальски значительном.

Как странно обстоит дело, если вдуматься поглубже, с человеческим глазом, этой жемчужиной органического строения, когда он останавливается, собираясь сосредоточить свой влажный блеск на другом человеческом существе. Изумительный

этот студень, что состоит из такой же обыкновенной материи, как и все творение, подобно драгоценным камням, наглядно показывает нам: материя – ничто, все – удачное и замысловатое ее сочетание. Покуда плесень, скопившаяся в нашей орбите и предназначенная к тому, чтобы со временем, разлагаясь в могиле, вновь смешаться с жидкой грязью, одухотворена хоть искоркой жизни, ей дано строить и перекидывать воздушный мост через любую пропасть отчуждения, могущую возникнуть между людьми!

О явлениях тонких и трудно уловимых говорить надо тоже без всякого нажима, а, следовательно, отступления допустимы здесь лишь при соблюдении сугубой осторожности. Счастье можно испытать только на двух полюсах человеческих взаимоотношений – где еще или уже не возникают слова: во встрече глаз и в объятии; только там царят безусловность, свобода, тайна и глубокая откровенность. Все отношения в промежутке между этими полюсами – не теплы и не холодны, условны, ограничены, скованы принятой формой светской условности. Здесь властвует слово, это слабое, половинчатое средство, первое порождение цивилизованной умеренности, настолько чуждое страстной и молчаливой сфере природы, что можно было бы сказать: любое слово само по себе – фраза, риторика. И это говорю я, задавшийся целью написать свою автобиографию и уж, конечно, прилагающий все старания, чтобы дать ей наилучшее беллетристическое выражение.

5

Но мне кажется, читатель уже начинает опасаться, что за всеми этими отступлениями я легкомысленно позабыл о нависшей надо мной угрозе военной службы, а потому спешу заверить его, что дело обстояло совсем не так и что я, напротив, почти все время с тоской размышлял об этом роковом для меня вопросе. Правда, по мере того как я мысленно распутывал завязавшийся узел, моя тоска уступала место тому радостному стеснению сердца, которое мы чувствуем, готовясь направить все свои способности на решение большой, даже грандиозной задачи, но... тут я должен попридержать перо, ибо поддаться искушению и забежать вперед было бы весьма нерасчетливо. Поскольку я все больше и больше укрепляюсь в намерении опубликовать свое сочинение, конечно, если мне будет суждено его закончить, то я не вправе пренебрегать теми положениями и правилами, которыми руководствуются романисты, стремясь возбудить любопытство и волнение читателя; не устояв перед соблазном и наперед выболтав все самое интересное, я бы прежде времени расстрелял свой порох и, конечно, грубо нарушил бы упомянутые правила.

Прежде всего замечу, что я с большим тщанием, можно даже сказать – строго научно, приступил к делу, остерегаясь недооценивать трудности, которые могли мне встретиться. Действовать наобум в серьезных случаях – не моя метода; напротив, я всегда старался невероятно дерзкую, по обывательскому мнению, отвагу сочетать с холодной рассудительностью и продуманнейшей осторожностью, дабы однажды начатое не кончилось для меня поражением, позором и осмеянием, и это стало залогом моих успехов. В данном случае я не только разузнал все подробности относительно предстоявшего мне прохождения медицинского осмотра, но приобрел самые точные сведения о требованиях, предъявляемых к состоянию здоровья военнообязанного, почерпнув их отчасти из разговора с нашим пансионером-механиком, в свое время отбывавшим военную службу, отчасти же из многотомного «Всеобщего справочника», который этот сокрушавшийся о своей недостаточной образованности человек водрузил на полке у себя в комнате. Наметив в общих чертах план действий, я скопил полторы марки из чаевых, полученных у театральные подьездов, и купил выставленный в окне

книгопродавца медицинский труд, в чтение которого тут же и погрузился не только с великой горячностью, но и с большой пользой для себя.

Талант нуждается в знаниях, как корабль в песчаном балласте, но не менее достоверно и то, что мы по-настоящему усваиваем, более того, что мы имеем право усваивать лишь те знания, которые талант жаждет обрести в особых частных случаях, когда они нужны ему позарез, чтобы при их помощи сотворить непреложную действительность, весомую реальность. Что касается упомянутой книги, то я ею буквально зачитывался, а ночью при свече, поставленной у зеркальца в нашей кухне, спешил подкрепить почерпнутые мною знания практическими упражнениями, которые всякий, если бы кому случилось их подсмотреть, счел бы крайним дурачеством; но, занимаясь этими упражнениями, я преследовал очень ясную и разумную цель! Однако ни слова более! Скажу только, что вскоре читателю будет возмещено сторицей это необходимое здесь умолчание.

Уже в конце января я, согласно предписанию, явился в часть, имея при себе чин чином выправленное метрическое свидетельство и свидетельство о поведении, взятое из полицейского участка, сдержанно-уклончивая форма которого (в справке значилось, что полиции ничего предосудительного обо мне не известно) меня по-ребячески огорчала и беспокоила. В марте, когда весна уже дала знать о себе сладостным дуновением ветерка и птичьим гомоном, я получил предписание явиться в призывной округ для медицинского освидетельствования и, взяв билет четвертого класса, немедленно отбыл в Висбаден в настроении, впрочем, довольно бодром. Я знал, что участь моя в тот день еще не решится, так как почти не было человека, который не направлялся после предварительного осмотра в так называемую главную призывную комиссию, выносящую окончательное решение о годности или негодности рекрутов к военной службе. Ожидания мои оправдались. Процедура освидетельствования оказалась быстрой, ничем не примечательной и не оставила по себе никаких воспоминаний. Врач измерил мой рост, ширину плеч, выслушал меня, задал несколько беглых вопросов и воздержался от каких бы то ни было заключений. Отпущенный до особого распоряжения и чувствуя себя как собака на длинной сворке, то есть относительно свободным, я прогулялся по великолепным паркам, которыми изобилует богатый источник Висбаден, постоял, восхищаясь и тренируя свой вкус, у витрин роскошных курортных торговых рядов и вечером вернулся во Франкфурт.

Но прошло еще два месяца (была уже вторая половина мая, и в наших краях преждевременно установилась летняя жара), и настал день, когда моя отсрочка истекла, длинная сворка – выше я прибегаю к этому образному выражению – укоротилась, и мне предстояло безотлагательно явиться в комиссию. Как билось у меня сердце, когда я снова сидел среди простонародья в вагоне четвертого класса висбаденского поезда и на крыльях пара несся навстречу решению своей участи. Мои спутники, разморенные жарой, клевали носом, но мне надо было оставаться в полном обладании сил; я сидел выпрямившись, инстинктивно избегая прислоняться к спинке, и старался вообразить себе обстоятельства, при которых мне придется испытать свои силы и которые, как это всегда бывает, конечно, сложатся совсем по-иному, чем мне сейчас представляется. И хотя меня попеременно обуревали боязнь и веселость, но исход задуманного не внушал мне тревоги. Я твердо решил идти на любую крайность и, если понадобится, пустить в ход все свои душевные и физические силы (без такой готовности, по моему твердому убеждению, вообще глупо идти на серьезный риск), а потому не сомневался в моем конечном успехе. Страшила меня только неизвестность: я не знал, сколько сил мне придется собрать и принести в жертву для достижения цели. Такая свойственная мне нежная заботливость о собственной персоне легко могла бы обернуться расслабленностью или трусостью, если бы не уравновешивалась другими, более мужественными чертами моего характера.

Как сейчас вижу низкое, но большое сводчатое помещение, куда направил меня суровый перст военного ведомства, переполненное множеством молодых людей мужского пола. Комиссии отвели первый этаж обветшавшей и запущенной казармы, унылую комнату, всеми четырьмя окнами выходящую на глинистую пригородную лужайку, закиданную всевозможным мусором, щебнем, жестянками и отбросами. За некрашеным кухонным столом сидел какой-то усатый служивый, унтер-офицер или фельдфебель, и выкликал имена тех, кому надлежало через узкую дверь идти в закут для раздевания, отгороженный от соседней комнаты, где происходил медицинский осмотр. Повадки у этого служивого были грубые, рассчитанные на запугивание новичков. Он громко зевал, выбрасывал вперед руки и ноги или потешался над образовательным цензом тех, кого ему надлежало отправлять в «судилище». «Доктор философии», – выкрикивал он с насмешливым видом, словно говоря: «Мы эту философию из тебя выколоти́м, дружище!» Все это исполнило мое сердце страхом и отвращением.

Осмотр был на полном ходу, но подвигался медленно. И так как рекрутов вызывали по алфавиту, то те, чьи фамилии начинались на последние буквы, волей-неволей были обречены на долгое ожидание. Напряженная тишина царила в помещении, где собрались молодые люди самых различных сословий. Были здесь деревенские олухи и задиристые, юнцы – представители городского пролетариата; господчики из торговых учеников, простодушные ремесленники, даже какой-то тип, причастный к театральному миру, чья упитанная, синяя физиономия возбуждала сдержанное веселье: лупоглазые парни неопределенной профессии, без воротников, в продранных лакированных башмаках; маменькины сынки, только что со школьной скамьи, и бледные господа, уже в летах, с остроконечными бородками и благовоспитанными манерами ученых, которые, чувствуя всю нелепость своего положения, беспокойно расхаживали по залу. Трое или четверо призывников, чьи имена должны были вот-вот выкликнуть, уже стояли у дверей босиком, раздетые до рубахи, перекинув через плечо свое платье, со шляпой и башмаками в руках. Другие, расположившись вдоль стен на узких скамейках или бочком присевши на подоконники, уже завязали знакомство и вполголоса перебрасывались словами о своем здоровье и превратностях рекрутского набора. Временами – никто не знал, каким образом, – из комнаты, где заседала врачебная комиссия, проникали слухи, что годными признано уже много юношей, а это значило, что для еще не освидетельствованных повышались шансы на благополучный исход; впрочем, эти сообщения никто не мог проверить. В толпе перемигивались, грубовато подшучивали над теми, что стояли под всеми взглядами почти голые, так как их имена уже были названы, или направлялись к двери, сопровождаемые все более фривольным смехом, покуда злобный окрик фельдфебеля не водворял положенную тишину.

Я, по обыкновению, держался особняком, не принимая участия в праздной болтовне и соленых шутках, а когда ко мне обращались, отвечал холодно и уклончиво. Стоя у открытого окна (в переполненном зале сделался очень тяжелый воздух), я, чтобы скоротать время, смотрел то на замусоренную лужайку, то на пеструю толпу в помещении. Мне очень хотелось заглянуть в соседнюю комнату, где правила суд медицинская комиссия, чтобы получить хоть самое беглое представление о грозном штаб-лекаре, но это было невозможно, и я усиленно внушал себе, что дело не в личности этого господина и что моя судьба вовсе не в его руках, а в моих собственных. Скука тяжело давила на все умы и сердца вокруг, но я не страдал от нее. Во-первых, я от природы терпелив, могу долго обходиться без всякого занятия и люблю досуг, который одурманивающая деятельность не заволакивает, не вспугивает, не стирает из памяти. Кроме того, мне было отнюдь не к спеху приниматься за выполнение смелого и трудного урока, меня ожидавшего, и я даже радовался возможности на свободе освоиться и свыкнуться с ним.

Было уже около полудня, когда мой слух уловил имена, начинавшиеся на букву «К». Но

судьба, как видно, хотела сегодня благодушно подшутить надо мной: Каммахерам, Келлерманам, Килианам, Кналлям и Кроллям, казалось, конца не будет, так что, когда наконец было произнесено мое имя и я начал разоблачаться, мои нервы были очень натянуты. Впрочем, обстоятельство это не поколебало моей решимости, а, напротив, только укрепило ее.

В день призыва я надел одну из тех крахмальных рубашек, которыми крестный снабдил меня для новой жизни и которые я из бережливости обычно не носил, но я заранее решил, что здесь хорошее белье произведет выгодное впечатление. Итак, я стоял у дверей кабинета в сознании, что мне не стыдно показаться людям между двух парней в застиранных клетчатых рубашках из бумажной материи. Насколько я мог заметить, по моему адресу не было отпущено ни одного насмешливого словца, и даже сержант за столом смотрел на меня с тем уважением, в котором человек подчиненного положения никогда не отказывает недоступному для него изяществу и щегольству. Я видел, что он сравнивает с моим обликом данные, занесенные в его список, – это занятие настолько увлекло его, что он прозевал момент, когда надо было выкрикнуть мое имя, так что я даже был вынужден спросить, не пора ли мне идти, что он тут же и подтвердил. Итак, я переступил босыми ногами порог и, оказавшись один за перегородкой, положил свою одежду рядом с одеждой моего предшественника на скамью, сунул под нее свои башмаки, снял наконец крахмальную рубашку и, аккуратно расправив, присовокупил ее к остальному гардеробу. Затем я прислушался и стал ждать дальнейших приказаний.

Напряженке мое дошло до предела, сердце билось неровно и кровь, наверно, отхлынула от лица. Но к этому состоянию примешалось и другое чувство, радостного порядка, для описания которого не так-то легко подыскать слова. Не помню уже, в виде ли эпиграфа к газетной статье, или обрывка какой-то мысли, вычитанной в тюрьме, мне однажды попала на глаза сентенция, утверждавшая, что нагота – тот образ, который нам сообщила мать-природа – всех нас уравнивает в правах и что среди голых не может быть ни табеля о рангах, ни несправедливого предпочтения. Эта мысль, очень меня рассердившая, несомненно, должна польстить черни, но в ней нет и крупинки правды, ибо подлинная табель о рангах устанавливается как раз первобытной природой, и наготу можно назвать справедливой лишь постольку, поскольку она-то и подтверждает установленную самой природой несправедливую аристократическую иерархию людского племени. Я понял это, когда мой крестный Шиммельпристер впервые чудесно перенес на полотно мой образ, сообщив ему идеально обобщающее значение, и укреплялся в этой мысли всякий раз, когда видел человека освободившимся, ну хотя бы в общественных банях, от всех случайных условностей и выступающим в том виде, в каком он родился. Вот почему я ощущал живую радость, даже гордость оттого, что мне надлежало предстать перед высокой комиссией не в случайном нищенском платье, а а моим истинном, первозданном облике.

Узкой своей стороной закут примыкал к залу заседаний, и хотя дощатая стена и скрывала от моих глаз это судилище, но ухом я улавливал все, что там происходило. Я слышал, как штаб-лекарь отдавал команду рекруту повернуться направо, налево, стать так или этак, слышал отрывистые вопросы, которые он ему задавал, ответы этого малого и его неуклюжее бормотанье о воспалении легких, явно не произведшего должного впечатления, так как оно было сухо прервано заявлением о его безусловной годности. Этот вердикт был еще повторен каким-то другим голосом, засим последовала команда: «Можете быть свободным». И рекрут вошел ко мне: сухопарый юнец с бурой полосой вокруг шеи; у него были нескладные плечи, все в желтых пятнах, шершавые колени и большие красные ступни. Я боялся, как бы он в тесноте не коснулся меня, но в это самое мгновение какой-то гнусавый, хотя и резкий голос назвал мое имя, и унтер-офицер, появившийся в дверях, кивнул мне головой. Я вышел из-за дощатой стены, повернул налево и со скромным достоинством направился к тому месту, где меня ожидали врач и

члены комиссии.

В такие минуты человек бывает слеп, и потому все, что я здесь увидел, лишь смутно запечатлелось в моем взбудораженном и в то же время ошеломленном мозгу; справа от меня, срезая угол, стоял длинный стол, за которым, нагнувшись над бумагами или откинувшись на спинки стульев, сидели какие-то господа в военном и штатском. На левом фланге я заметил врача, но разглядеть его мне не удалось, тем более, что за его спиной находилось окно. Под всеми этими устремившимися на меня взглядами, голый, выставленный напоказ, я, точно в хмельном сне, чувствовал себя отрешенным ото всех людей и житейских условностей, безвозрастным, свободным и чистым; мне даже казалось, будто я парю в пространстве – чувство, о котором я вспоминаю не только без содрогания, а, напротив, с большим удовольствием. Как бы ни дрожали у меня руки и ноги, как бы учащенно ни билось сердце, дух мой теперь бодрствовал, более того, наслаждался покоем, и все, что я говорил и делал, было естественно и, к собственному моему удивлению, давалось мне легко, безо всяких усилий. Следствием долгой тренировки и добросовестного углубления в будущее неминуемо является то, что в решительный час человек пребывает в сомнамбулическом промежуточном состоянии между поступком и событием, действием и пассивностью, и это состояние уже не требует от нас внимательности, тем паче, что действительность, как правило, предъявляет нам куда меньшие требования, чем те, к которым мы готовились, так что мы оказываемся в положении воина, отправившегося в битву до зубов вооруженным, тогда как на деле ему для победы достаточно иметь при себе всего лишь один какой-нибудь вид оружия. Тот, кто ставит на одного себя, всегда готовится к наитруднейшему, чтобы тем свободнее управиться с легким, и бывает рад, если ему для полного торжества достаточно пустить в ход самые простые средства, ибо грубые и яростные внушают ему отвращение и он прибегает к ним лишь в случае крайней нужды.

– Ну, это одногодичник, – проговорил за столом чей-то низкий, благожелательный голос, но тут же, к немалой моей досаде, я услышал, как другой, гнусавый и резкий, – однажды уже слышанный мной, – исправил его, заметив, что я обыкновенный рекрут.

– Подойдите ближе, – сказал штаб-лекарь. Голос у него был слабый и блеющий. Я охотно ему повиновался и, подойдя вплотную, с решимостью, может быть глуповатой, но не антипатичной, проговорил:

– Я по всем статьям годен к военной службе.

– Не вам это устанавливать, – досадливо возразил лекарь, при этом он вытянул шею и покачал головой. – Отвечайте на вопросы и воздержитесь от замечаний.

– Слушаюсь, господин главный врач, – тихо сказал я, хотя отлично знал, что он всего-навсего штаб-лекарь, и испуганно взглянул на него. Теперь я рассмотрел его лучше. Он был очень худ, и мундир сидел на нем мешковато. Рукава с отворотами до самого локтя были ему слишком длинны, так что из них высывались только костлявые пальцы. Узкая и жидкая борода, того же темно-бурого цвета, что и подстриженные ежиком волосы на голове, очень удлиняла его лицо; вдобавок он еще почти все время держал рот полуоткрытым, отчего щеки казались ввалившимися, а нижняя челюсть – отвисшей. На красной переносице штаб-лекаря сидело пенсне в серебряной оправе, до того погнутое, что одно стекло налезало на веко, а другое слишком далеко отстояло от глаза.

Такова была внешность моего партнера. Услышав мои слова, он осклабился и искоса посмотрел на сидящих за столом.

– Поднимите руки! Скажите, кем вы являетесь в гражданской жизни! – приказал он и тут

же, как портной, обмерил мне грудь и спину зеленым сантиметром, испещренным белыми цифрами.

– В мои намерения входит служба при гостинице, – отвечал я.

– При гостинице? Так, так, входит в ваши намерения. И когда же вы полагаете приступить к ней?

– Я и мои родные полагаем, что я вступлю в должность по отбытии военной службы.

– Гм! О ваших родных я не спрашивал. Впрочем, кто они?

– Профессор Шиммельпристер – мой крестный отец, а мать – вдова фабриканта шампанских вин.

– Так, так, шампанских вин. А чем вы занимаетесь в настоящее время? Как у вас обстоит с нервной системой? Почему у вас дергается плечо?

И правда, покуда я стоял перед ним, мне вдруг почти безотчетно подумалось, что отнюдь не назойливое, но частое подергивание плечом будет здесь весьма уместно. Я вдумчиво ответил:

– Право же, я никогда не думал о своей нервной системе.

– В таком случае перестаньте дергаться!

– Есть, господин главный врач, – сконфуженно отвечал я, но тут же снова вздрогнул, на что он, впрочем, не обратил внимания.

– Я не главный врач, – проблеял он и при этом так сильно качнул склоненной головой, что пенсне едва не свалилось у него с переносицы, он поправил его всей пятерней правой руки, впрочем, совершенно напрасно, так как поднять голову он не догадался.

– Прошу прощения, – застенчиво прошептал я.

– Отвечайте на мой вопрос.

Я растерянно и непонимающе огляделся по сторонам и просительно взглянул на членов комиссии, в глазах которых, по моему мнению, читалось участие и любопытство.

– Я спрашивал, чем вы занимаетесь в настоящее время?

– Помогаю матери, – поспешил я ответить с радостной готовностью, – в ведении хозяйства большого пансиона для приезжающих во Франкфурте-на-Майне.

– Весьма похвально, – иронически заметил он и тотчас же приказал: – Кашляните! – так как уже успел приставить черный стетоскоп к моей груди.

Мне пришлось еще много раз кашлять, покуда он прикладывал этот аппарат к моему телу. Отложив стетоскоп, он вооружился маленьким молоточком, взятым со стоящего рядом столика, и принялся меня выстукивать.

– Болели вы когда-нибудь тяжелыми болезнями? – между делом осведомился он.

Я отвечал:

– Никак нет, господин полковой врач! Тяжелыми никогда не болел. Насколько мне известно, если не говорить о маленьких отклонениях от нормы, я совершенно здоров и пригоден к службе в любом роде войск.

– Да замолчите вы! – сказал он, внезапно прерывая выслушивание, и, не разгибая спины, злобно посмотрел на меня снизу вверх. – Предоставьте уж мне судить о вашей годности или негодности и не болтайте лишнего! Вы все время говорите то, о чем вас не спрашивают! – повторил он, прекращая обследование, выпрямился и отступил от меня на несколько шагов. – У вас какое-то недержание речи, я сразу это заметил. Что с вами такое? Где вы учились?

– Я кончил шесть классов реального училища, – тихонько отвечал я, явно огорченный тем, что не угодил ему.

– А почему не семь?

Я потупился и бросил на него исподлобья красноречивый взгляд, который мог бы пронять кого угодно. «Зачем ты мучаешь меня? – как бы спрашивал я этим взглядом. – Зачем заставляешь меня открыться? Разве ты не видишь, не слышишь, не чувствуешь, что перед тобой стоит юноша совсем особого душевного склада, под личиной благовоспитанности и приветливости скрывающий тяжкие раны, нанесенные ему беспощадной жизнью? Как же ты нечуток, если заставляешь меня обнажать мой позор перед лицом всех этих почтенных мужей!» – Таков был мой взгляд. И да поверит мне взыскательный читатель, он не лгал, хотя я сознательно и целеустремленно заставил его отобразить тоску и смятение. Ложь и притворство всегда легко обнаружатся, если ты воссоздаешь ощущение, тебе чуждое и незнакомое, во всех случаях сведутся к убогому кривлянию, к жалкому фарсу. Но неужели мы не вправе по мере надобности обращать себе во благо дорого доставшийся нам жизненный опыт? Мой печальный укоризненный, быстрый взгляд говорил о раннем знакомстве с уродливой жестокостью жизни. Затем я испустил тяжелый вздох.

– Отвечайте же, – повторил врач, несколько более мягким тоном.

Внутренняя борьба продолжалась во мне, когда я нерешительно заговорил:

– Я отстал и не смог закончить школу, так как часто пропускал занятия; периодические недомогания вынуждали меня оставаться в постели. Вдобавок учителя считали своим долгом ставить мне на вид недостаток внимательности и прилежания, что лишало меня последних сил и бодрости духа – ведь моей вины тут не было, как не было и небрежения своими обязанностями. На мою беду, я часто не слышал, что говорилось в классе, вернее – слышал, но не воспринимал. Мне, например, случалось не выполнять домашних заданий просто потому, что я ничего о них не знал; и не то чтобы голова моя была занята какими-нибудь посторонними, неподобающими мыслями, отнюдь нет, но получалось так, словно я не был в школе и не слышал ни объяснений по существу предмета, ни указаний учителя относительно того, что надо сделать дома. Это, конечно, вызывало раздражение педагогического персонала, с меня взыскивали очень строго, я же...

Тут слова у меня иссякли, я смешался, замолчал и как-то странно передернул плечами.

– Стоп! – сказал врач. – Вы что, туги на ухо, что ли? Отойдите-ка подальше! Повторяйте мои слова! – И он стал, нелепо артикулируя губами – тощая его бороденка при этом ходила ходуном – шептать различные числа, которые я точно и аккуратно повторял за

ним; мой слух, как, впрочем, и остальные четыре чувства, искони отличался незаурядной остротой, и я не находил нужным это скрывать. Я повторял сложные числа, которые он, казалось, только чуть слышно выдыхал, и этот мой чудесный дар так его заинтересовал, что он положительно вошел в азарт: он отсылал меня в противоположный угол и на расстоянии шести или семи метров не столько произносил, сколько старался утаить четырехзначные цифры и время от времени, когда я почти наугад улавливал и повторял то, что он шептал почти не разжимая губ, многозначительно поглядывал на членов комиссии.

– Ну что ж, – сказал он наконец с наигранным безразличием, – слышите вы отлично. Подойдите сюда и поточнее объясните нам, в чем, собственно, выразилось недомогание, заставлявшее вас пропускать занятия в школе?

Я с готовностью приблизился.

– Наш домашний врач, санитарный советник Дюзинг, называл это своего рода мигренью.

– Так, так, у вас, значит, был домашний врач? Вы изволили сказать – санитарный советник. И он это называл мигренью! Хорошо, а как же она начиналась, эта ваша мигрень? Опишите нам весь приступ! Вы чувствовали головную боль...

– Да, головную боль тоже, – подтвердил я, почтительно и с удивлением взглянув на него, – и шум в ушах, но главным образом мучительную тоску, страх, вернее» полнейший упадок сил, который вскоре переходил в страшные рвотные судороги, так что меня чуть ли не выбрасывало из кровати...

– Рвотные судороги? – переспросил он. – А других судорог не бывало?

– Нет, других не бывало, – уверенно отвечал я.

– Ну, а шум в ушах?

– Шум в ушах очень мучил меня.

– А когда с вами случались эти припадки? После какого-нибудь сильного волнения? Или без всякого видимого повода?

– Если не ошибаюсь, – робея и озираясь по сторонам, отвечал я, – то это случалось обычно после того, как у меня бывали неприятности в классе, связанные с тем явлением, о котором я...

– С тем отсутствующим состоянием, когда вы не слышали или слышали, но не воспринимали того, что говорилось в классе?

– Да, господин старший врач.

– Гм, ну а теперь хорошенько подумайте и честно скажите нам, не замечали ли вы особых симптомов, которые бы постоянно предшествовали этому отсутствующему состоянию, как бы предупреждая вас о приближении приступа. Не стесняйтесь! Преодолейте свою вполне понятную робость и скажите откровенно, случалось ли вам замечать нечто подобное?

Я взглянул на него и довольно долгое время смотрел ему прямо в глаза, медленно, в тяжелом раздумье покачивая головой.

– Да, у меня частенько бывало как-то странно на душе, бывало и, к сожалению, бывает, – тихо и сосредоточенно проговорил я наконец. – Временами мне кажется, будто я стою возле раскаленной печки или у огня – таким жаром вдруг полыхнет на меня; сначала я чувствую его в йогах, затем он подымается выше. С этим ощущением связан еще какой-то зуд во всем теле, очень странный, так как одновременно у меня идут круги перед глазами, разноцветные, иногда даже красивые, но меня это все-таки пугает. А тело зудит так, если мне будет позволено еще раз коснуться этого явления, словно по нему расползлись муравьи.

– Гм. И после этого вы не слышите многого из того, что говорится вокруг?

– Так точно, господин начальник госпиталя. Я многого сам в себе не могу понять; даже в домашнем быту у меня случаются какие-то глупые неприятности: иногда, например, я потом сам это замечаю, у меня за столом вдруг выпадает ложка из рук и я обливаю скатерть супом, мать потом бранит меня – взрослый человек, а при гостях – кстати сказать, у нас преимущественно бывали артисты и ученые – не умеет прилично держать себя.

– Так, значит, ложка выпадает из рук! И вы не сразу это замечаете. А скажите, пожалуйста, советовались вы с вашим домашним врачом, этим самым санитарным советником или как там еще вы его титузуете, относительно таких не вполне нормальных явлений?

– Нет, – понурившись, отвечал я.

– А почему, собственно? – настаивал он.

– Я стыдился, – сказал я запинаясь, – и никому ничего не говорил, мне казалось, что лучше сохранить это в тайне. Кроме того, в душе я надеялся, что со временем моя болезнь пройдет. В жизни я не думал, что найду в себе силы признаться кому-нибудь, как странно я себя чувствую по временам.

– Гм, – пробурчал он, и его бороденка насмешливо задергалась. – Вы, видно, считали, что это всегда будут объяснять просто мигренью. Вы, кажется, сказали, – продолжал он, – что ваш отец был владельцем водочного завода?

– Да, то есть владельцем завода шипучих вин, – учтиво отвечал я, одновременно соглашаясь с ним и исправляя его.

– Да, да! Завод шипучих вин. И ваш батюшка, надо думать, отлично разбирался в винах?

– Ну, разумеется, господин штаб-лекарь! – радостно подтвердил я; члены комиссии заметно оживились. – Он был настоящим знатоком.

– И, наверно, себе он тоже не любил отказывать в стаканчике доброго вина и был, как говорится, достойным бражником перед ликом господним?

– Мой отец, – отвечал я уклончиво и уже отнюдь не так бойко, – был воплощенной жизнерадостностью. Это не подлежит сомнению.

– Так, так, воплощенной жизнерадостностью. А отчего он умер?

Я не отвечал. Взглянул на него, потупился и только немного погодя дрогнувшим голосом

сказал:

– Я просил бы господина штаб-лекаря, если возможно, не настаивать на этом вопросе...

– Вы здесь не вправе ничего утаивать, – строго проблеял он в ответ. – Если я спрашиваю – значит, эти сведения для нас существенны. Напоминаю вам, что в ваших интересах сообщить, отчего умер ваш отец.

– Он был похоронен по церковному обряду, – отвечал я; грудь у меня стеснило от волнения, я не мог ничего рассказать по порядку. – Я могу представить доказательства, бумаги, свидетельствующие о церковном погребении, а также о том, что за гробом шли многие офицеры и профессор Шиммельпристер. Его преподобие настоятель нашего собора отец Шато упомянул в своем надгробном слове, что револьвер выстрелил случайно, когда отец взял его, чтобы получше рассмотреть, а если у него дрогнула рука, если он в тот момент вообще не совсем владел собой, то это потому, что нас посетила великая беда... – Я сказал «посетила великая беда» и употребил еще несколько высокопарных и патетических выражений. – Разорение костлявой рукой постучалось в наши двери! – воскликнул я вне себя и для пущей наглядности постучал в воздухе согнутым пальцем, – ибо мой отец попался в сети злодеев; по милости этих кровопийц и душегубов все наше имущество было распродано, вывезено... даже... эолова... эолова арфа... – бессмысленно пробормотал я, чувствуя, что меняюсь в лице, так как сейчас должно было произойти то самое. – Эолова ар...

И в это мгновение случилось следующее: мое лицо исказилось – впрочем, этим словом мало что сказано. Оно исказилось так страшно и небывало, как может исказить лицо смертного только дьявольское наваждение, а не человеческая страсть. Оно буквально разъехалось на все четыре стороны – вверх, вниз, вправо и влево – и тут же все сжалось, как от удара; омерзительная кривая ухмылка прорезала сначала левую, потом правую щеку, соответственно один глаз зажмурился с такой силой, словно у него слепило веки, а другой раскрылся до того непомерно широко, что я, к ужасу своему, ясно ощутил – вот-вот у меня выскочит глазное яблоко. Но будь что будет, мне в эту минуту было не до нежной заботы о своих глазах. Хоть эта противоестественная мимика и должна была возбудить у всех наблюдавших ее ту степень удивления, которую уже принято обозначать словом «ужас», но она являлась еще только прелюдией к тому ведьмовскому шабашу, к той адской битве гримас и судорог, что в ближайшие секунды разыгралась на моем юном лице. Подробно описать все видоизменения черт, все отвратительные позы, которые принимали мой рот, нос, мои брови и щеки, короче говоря – все мои лицевые мускулы – и все это в непрестанной молниеносной смене, так что ни одна из этих мерзких гримас не повторилась дважды, – право же было бы непосильным предприятием. Замечу только, что душевные движения, которые хоть как-то отвечали бы таким физиологическим феноменам, – столь идиотическая резвость, столь крайнее удивленье, сумасшедшее сладострастье, нечеловеческая мука и буйный зубовой скрежет, – были бы уже порождением не здешнего мира, а inferнального царства, где стократ разрастаются земные наши страсти.

Тело мое тоже не оставалось покойным, хотя я стоял, и стоял все на том же месте. Голова вертелась так, что, казалось, лицо и затылок, меняются местами, словно некто, завладевший моим телом, намеревался свернуть мне шею; плечи и руки как бы вывинчивались из суставов, бедра прогибались, колени ввернулись внутрь и стукались друг о друга, живот ввалился, а выпятившиеся бедра готовы были прорвать кожу; пальцы на ногах свела судорога, а в пальцах на руках не оставалось ни единого сустава, который не согнулся бы наподобие фантастического когтя; и вот в таком состоянии, точно под адской пыткой, я пробыл не меньше-двух третей минуты.

Я был без сознания в продолжение этого, при столь тяжких условиях, казалось, нескончаемо долгого времени, во всяком случае я ничего не помню из того, что делалось вокруг; грубые окрики доносились до меня из какой-то безмерной дали, я был не в состоянии их расслышать. Очнувшись уже на стуле – его торопливо подвинул под меня обер-штаб-лекарь, я сильно закашлялся, давясь затхлой и тепловатой водой, которую сей ученый муж силился влить мне в глотку. Многие из членов комиссии повскакали с мест и стояли, нагнувшись над зеленым столом, с растерянными, возмущенными и брезгливыми лицами. Все по-разному выражали свои чувства по поводу только что увиденного. Один из них, например, зажал руками оба уха, и лицо его – видимо, это было следствием психической заразы – исказила нелепая гримаса; другой, прижав к губам два пальца правой руки, быстро-быстро моргал глазами.

Что касается меня, то я уже со спокойным, но испуганным лицом огляделся вокруг не раньше, чем закончил эту отталкивающую сцену; в смятении я быстро вскочил со стула и стал навывтяжку – позиция, разумеется, никак не сочетавшаяся с моим душевным состоянием.

Обер-штаб-лекарь отошел от меня, все еще не выпуская из рук стакана с водой.

– Ну что, очухались? – спросил он досадливо, хотя и не без ноток сострадания в голосе.

– Так точно, господин военный лекарь, – с готовностью отвечал я.

– Помните вы что-нибудь из того, что сейчас произошло?

– Покорнейше прошу прощения, – гласил мой ответ. – Минуту-другую я был несколько рассеян.

За столом комиссии кто-то коротко и не без горечи рассмеялся. Кто-то шепотом повторил слово «рассеян».

– По-видимому, вы были чем-то отвлечены, – сухо сказал врач. – Вы что, шли сюда в очень возбужденном состоянии? С волнением ждали решения о своей годности к военной службе?

– Не смею отрицать, – отвечал я, – что я был бы очень огорчен, если бы меня признали негодным, не знаю, как бы я стал смотреть в глаза матери в случае такого решения. В свое время у нее в доме бывало много людей, принадлежащих к офицерскому сословию; она является горячей почитательницей военной касты, и вопрос о моей службе принимает особенно близко к сердцу, ибо ждет от таковой значительной пользы для моего образования и, кроме того, надеется, что военная служба укрепит мое временами все же шаткое здоровье.

Он, видимо, не обратил ни малейшего внимания на мои слова и не удостоил меня ответом.

– Признан негодным, – изрек он, ставя стакан с водой на столик, где лежали его орудия производства: сантиметр, стетоскоп и молоточек. – Казарма – не лечебница, – бросил он мне через плечо и повернулся к столу комиссии.

– Призывник, – тоненько заблеял он, – страдает так называемыми эквивалентными припадками эпилепсии, что уже само по себе исключает вопрос о его пригодности к военной службе. Согласно моему убеждению, мы имеем здесь дело с тяжелой наследственностью: отец его много пил и, обанкротившись, покончил жизнь

самоубийством. Из наивного рассказа пациента мы можем заключить, что у него имеют место явления так называемой ауры. Далее, здесь налицо тяжелые душевные состояния, которые, как мы слышали, временами приковывают пациента к постели; уважаемому коллеге санитарному советнику, – деревянная усмешка опять появилась на его тонких губах, – угодно было объяснить все это мигренями, научно же подобное явление квалифицируется как депрессия, наступающая после приступа эпилепсии. Весьма характерно для существа болезни и нежелание говорить о ней, отмеченное самим пациентом, – несмотря на свой явно общительный характер, он, по собственному признанию, предпочитал умалчивать об этих явлениях. Примечательно, что в сознании большинства эпилептиков и поныне живет нечто от старинных мистически-религиозных представлений о сути этого нервного заболевания. Призывник явился сюда во взволнованном, напряженном состоянии. Экзальтированность его речи сразу бросилась мне в глаза. О нервической конституции свидетельствовала также нерегулярная, хотя органически и безупречная, деятельность сердца и привычное, видимо непроизвольное, подергивание плечами. Но наиболее характерным симптомом я в данном случае считаю поразительную остроту слуха, обнаруженную мной в процессе дальнейшего осмотра. Не исключено, что такое сверхнормальное обострение чувств стоит в связи с тем довольно тяжелым приступом болезни, который мы сейчас наблюдали, приступом, возможно, подготовлявшимся уже в течение нескольких часов и развязанным, надо полагать, неприятным для пациента выспрашиванием. Рекомендую вам, – сказал он, обернувшись ко мне под конец своего ясного и научного заключения, тон у него снова был скучливый и высокомерный, – порекомендовать себя заботам опытного и знающего врача. Вы признаны негодным к военной службе.

– Признан негодным, – повторил уже знакомый мне гнусавый голос.

Я стоял как в воду опущенный и не мог тронуться с места.

– Вы свободны и можете идти домой, – участливо и даже благожелательно проговорил бас, обладатель которого еще в самом начале выказал себя тонко чувствующим человеком, приняв меня за одногодичника.

Я поднялся на цыпочки, умоляюще вскинул брови и попросил:

– Нельзя ли все же сделать еще одну попытку? Разве не может быть, что солдатская жизнь укрепит мое здоровье?

Некоторые из членов комиссии, смеясь, пожали плечами, но обер-штаб-лекарь остался неумолимо суровым.

– Я вам повторяю, что казарма – не лечебница. Вы свободны! – проблеял он.

– Свободны! – повторил гнусавый голос и выкрикнул новое имя: – Латте, – так как теперь очередь дошла до буквы «Л», и на арену выступил какой-то босяк с волосатой грудью.

Я поклонился и ушел за перегородку; покуда я одевался, мне составлял компанию наблюдавший за порядком унтер-офицер.

Счастливым, но весьма серьезно настроенным и усталым – ведь я только что воспроизвел и выстрадал нечто, лежащее за пределами человеческого понимания, – раздумывая над словами обер-штаб-лекаря относительно старой точки зрения на таинственную болезнь, носителем которой он меня считал, я едва слушал добродушную болтовню этого разукрашенного дешевыми галунами унтера с напوماженной шевелюрой

и закрученными усиками и лишь позднее уяснил себе его простые слова.

– Жаль мне вас, – говорил он, – ей-богу, жаль, Круль, или как вы там прозываетесь! Парень вы что надо и могли бы далеко пойти на военной службе. Я сразу вижу, из кого будет толк. Жаль, очень жаль, вы для нас человек самый подходящий, они от хорошего солдата отказались. Может, вы бы даже фельдфебелем стали, если б они вас послушались.

Как я уже сказал, эта благожелательная речь не скоро дошла до моего сознания, и, покуда торопливые колеса несли меня домой, я думал втихомолку, что этот человек, пожалуй, был прав; да, когда я воображал, как отлично, изящно и естественно сидел бы на мне военный мундир, как солидно выглядел бы я все то время, что мне пришлось бы его носить, я уже почти сожалел, зачем закрыл себе доступ к такой пристойной форме бытия, к миру, где, наверное, имеют вкус к прирожденным заслугам, к неписанной субординации.

По зрелом размышлении я понял, что, приобщившись к этому миру, совершил бы грубую ошибку. Я не рожден под знаком Марса в настоящем, точном смысле этих слов. Ибо если главными приметам моей необычной жизни и были воинственная суровость, самообладание, опасности, то все же первой ее предпосылкой и основным условием неизменно была свобода, а это условие несовместимо с ярмом какой бы то ни было грубо доподлинной действительности. И хотя я впоследствии и вел жизнь солдата, но было бы все же глупой нелепостью обречь себя на солдатское житье. Если разумно определять такое высокое достояние, как чувство свободы, то можно сказать, что свобода есть возможность жить по-солдатски, не неся бремени военной службы, иначе – быть солдатом не в прямом, а в переносном смысле этого слова.

6

После этой победы, победы истинно Давидовой[7 - ...победы истинно Давидовой... – Речь идет о славной победе отрока Давида (позднее, с 1033 года до н.э. царя Израиля) над филистимлянским богатырем Голиафом; автор сравнивает с нею победу симулянта Круля над военной машиной империи Гогенцоллернов.], иначе я не могу ее назвать, и так как время, назначенное для моего вступления в должность в парижском отеле, еще не пришло, я вернулся к жизни на франкфуртских мостовых, бегло охарактеризованной мною выше, жизни, полной волнующего одиночества в водовороте света. Носясь без руля и ветрил по волнам городской суеты, я мог бы, конечно, будь у меня на то охота, завязать приятельские отношения или хотя бы знакомство со множеством подобных мне праздношатающихся молодых людей. Но я не только к этому не стремился, а скорее даже избегал такого товарищества и уж, во всяком случае, старался, чтобы простое знакомство не переходило в более близкие и доверительные отношения, ибо внутренний голос рано возвестил мне, что приятельство и теплая дружба – не мой удел и что мне предназначено в трудном одиночестве, не полагаясь ни на кого, кроме самого себя, неуклонно идти своим особым путем; уступая желанию быть совсем точным, скажу даже, что мне казалось, будто более тесное общение, непринужденная болтовня с собутыльниками и вообще всякий вид «амикошонства», как сказал бы мой бедный отец, заставят меня размякнуть, выдать какую-то тайну моей натуры, так сказать, разжижат мои жизненные соки и роковым для меня образом ослабят, сведут на нет удивительную эластичность моего существа.

Посему, сидя за липкими мраморными столиками ночных рестораций, которые мне случалось посещать, я противопоставлял любым попыткам сближения, любой

навязчивости ту вежливость, которая присуща моему характеру и вкусу в значительно большей мере, нежели грубость, и которая, кстати, является куда более надежной крепостной стеной. Грубость ставит вас на одну доску с кем угодно; дистанцию создает только учтивость. Учтивость я призывал на помощь и тогда, когда более или менее завуалированно и дипломатично мне делались нежелательные предложения со стороны мужчин не совсем обычного склада. Полагаю, что это не слишком удивит читателя, знакомого с многогранным миром чувств, ибо и вправду ничего тут удивительного не было при той смазливой рожице, которой наградила меня природа, да и вообще при моей по всем статьям привлекательной наружности, бросавшейся в глаза, несмотря на жалкую, штопаную одежду, шарф вокруг шеи и рваные башмаки. Это мое нищенское обличье, можно сказать, даже поощряло такого рода «искателей», разумеется, принадлежавших к высшим классам общества, и придавало им смелости, в то время как на женщин из тех же кругов оно производило отталкивающее впечатление. Конечно, мне случалось с радостью подмечать и улавливать знаки непроизвольного участия к моей, самой природой предпочтенной особе и со стороны прекрасного пола. Не раз и не два я наблюдал, как при моем появлении своенравная рассеянная улыбка на бледном холемом лице вдруг становилась смущенной и принимала даже слегка растерянный, страдальческий оттенок. Твои черные глаза, о моя бесценная в парчовой ротонде, расширились и почти испуганно смотрели на меня. Их взгляд проникал сквозь мои лохмотья, так что я нагим телом ощущал пытливые его прикосновения, потом снова вопросительно обращался к моей оболочке, глубоко впитывал в себя мой взгляд, – твоя головка при этом слегка запрокидывалась, как будто ты пьешь вино, – безмолвно отвечал мне в сладостной, тревожно-настойчивой попытке понять, утопал в моих глазах, а затем, затем тебе, конечно, приходилось «равнодушно» отворачиваться, садясь в изящный домик на колесах; и когда ты наполовину уже исчезала под его шелковыми сводами и лакей с отеческим благоволением вручал мне серебряную монету, твоя прелестная фигура, окутанная пестротканым золотом, осиянная светом дуговых фонарей у подъезда оперного театра еще как бы в нерешительности медлила секунду-другую в узкой раме каретной дверцы.

Конечно же, были и у меня тайные встречи; и воспоминание об одной из них еще сейчас вызывает во мне чувство растроганности. Но, в общем, на что нужен женщинам в золотых ротондах такой юноша, каким я был тогда, иными словами, юнец совсем еще зеленый, уже этим одним заслуживающий разве что пожатия плеч, да еще вовсе обесцененный в их глазах нищенской одеждой, полным отсутствием всего, что требуется кавалеру? Женщина замечает только джентльмена, а я не был таковым. Другое дело – охотники до окольных путей, мечтатели, те, что ищут не женщину и не мужчину, а нечто среднее, какую-то диковину. И этой диковиной был я. Потому мне и требовалась сугубо отстраняющая учтивость, чтобы уклоняться от назойливых восторгов такого рода, хотя временами безутешные мольбы все же принуждали меня к мягким, примирительным увещаниям.

Я не считаю возможным с позиций высокой морали ополчаться на домогательства, в моем особом случае мне не вовсе не понятные, и скорее готов заодно с римским поэтом воскликнуть: ничто человеческое мне не чуждо. По поводу же моего собственного обучения науке любви мне хотелось бы рассказать следующее: среди многообразных людских пород, которые представились моему взору в большом городе, одна, совсем особая и в почтенном обществе неизменно дающая щедрую пищу для фантастических измышлений, не могла не привлечь к себе внимания еще незрелого юноши. Я говорю о той части женского населения города, которая под названием «публичные женщины», «девы радости» или попросту «эти создания», а в более выпретенном тоне – «жрицы Венеры», «нимфы» и «фрины» проживает в домах терпимости либо в ночное время снует по определенным улицам и предлагает себя, с разрешения властей или в силу попустительства таковых, сластолюбивой и платежеспособной части мужского

населения. Мне всегда казалось, что если смотреть на это явление так, как, по-моему, вообще следовало бы смотреть на вещи, а именно свежим, не омраченным привычкой взглядом, то мы увидели бы в нем красочный пережиток более ярких эпох, вклинившийся в наш благоприличный, век, пережиток, который меня лично радовал и веселил уже самим фактом своего существования. По бедности я не мог посещать особо обозначенные дома. Но на улицах и в ночных барах мне представлялась неограниченная возможность наблюдать за этими приманчивыми созданиями. Кстати надо сказать, что интерес мой не был односторонним, и если кто и дарил меня пристальным вниманием, то в первую очередь эти ночные птички, так что в скором времени, несмотря на мою обычную сдержанность, у меня со многими из них завязались дружеские отношения.

«Птицы смерти» или «трупные курочки» – так зовет народ мелких сов, которые, по старинному поверью, в стремительном ночном полете стучаются об окно смертельно больного и криком: «Идем со мною!» – зовут на свободу оробелую душу. Не странно ли, что именно к этой формуле прибегают и сомнительные ночные сестры – те, что бродят под фонарями и дерзко призывают мужчин к тайным утехам плоти? Некоторые из них дородны, как султанши, и затянуты в черный атлас, с которым призрачно контрастирует мучнистая белизна пухлого лица; другие, напротив, худы нездоровой худобой. Все они вызывающе накрашены с учетом полутьмы ночной улицы. Малиново-красные губы пылают у одних на лице, белом как мел, у других – меж густо нарумяненных щек. Их тонкие брови четко изогнуты, подведенные глаза удлинены черными штрихами и неестественно блестят из-за впрыснутого в них состава. Фальшивые бриллианты переливаются у них в ушах, на огромных шляпах покачиваются перья, в руках у всех неизменный мешочек, сумочка-ридикюль, в котором хранятся кое-какие туалетные принадлежности – губная помада, пудра и противозачаточные средства. Проходя по панели, они чуть касаются рукой твоей руки; их глаза, в которых отражается свет фонарей, устремлены на тебя из темного закоулка; их губы кривит призывная, непристойная улыбка; торопливым шепотом бросая прохожему зов «трупной курочки», они таинственным кивком головы манят его в соблазнительно неведомую даль с таким видом, словно храбреца, последовавшего этому зову и кивку, ожидают там никогда не испытанные, безграничные наслаждения.

Как часто доводилось мне издали наблюдать эти сценки, не предназначенные для стороннего глаза; я видел, как хорошо одетые мужчины либо неуклонно продолжали свой путь, либо пускались в переговоры и, придя наконец к соглашению, быстрым шагом следовали за распутной своей предводительницей. Ко мне девы радости с этой целью не подступались, ибо клиент в столь убогом наряде не сулил им практических выгод. Правда, вскоре я уже мог порадоваться их внепрофессиональной благосклонности к моей особе; и хотя сам я, памятуя о своем экономическом бессилии, никогда не осмеливался к ним приблизиться, но зато они, смерив меня любопытно-одобрительным взглядом, нередко первые обращались ко мне с идущими от сердца словами: дружески расспрашивали, кто я и что я (в ответ я уверял, что нахожусь во Франкфурте так, для времяпрепровождения). И надо сказать, что, болтая в подъезде или в подворотне с целой стайкой «трупных курочек», я выслушивал немало признаний на самом вульгарном и низменном диалекте. Между прочим, было бы лучше, если бы эти создания вообще не говорили. Молча улыбаясь, кивая головой и стреляя глазами, они производят впечатление, но, едва раскрыв рот, уже рискуют утратить свой ореол. Ведь слово – враг всякой таинственности и грозный обличитель пошлости.

Впрочем, в моей короткости с ними заключалась известная прелесть, прелесть опасности. И вот почему. Тот, кто зарабатывает свой хлеб, профессионально служа похоти, сам отнюдь не возвышается над этой врожденной человеческой слабостью, ибо нельзя пестовать любострастие, пробуждать и удовлетворять его, не посвящая себя ему целиком, не питая к нему особой склонности, более того, не являясь подлинным его

детищем. Так вот и получается, что эти девицы, помимо многочисленных любовников, которых они обслуживают, по большей части еще обзаводятся другом сердца, возлюбленным, и этот возлюбленный, выходец из той же низменной среды, строит свою жизнь на их мечте о счастье не менее деловито, чем они – на мечте всех других людей. Эти, как правило, наглые и на все способные субъекты дарят своих любовниц радостью внеслужебных ласк, охраняют и в известной мере регулируют их труд, оказывают им своего рода рыцарственное покровительство, но зато становятся над ними полновластными хозяевами и властителями, отбирают у своей подруги львиную долю заработка и, если он кажется им недостаточным, обходятся с ней весьма сурово, она же покорно это терпит. Власти предержажшие относятся к этим людям весьма неодобрительно и постоянно их преследуют. Вот почему подобные шашни таили в себе двойную опасность. Во-первых, полиция нравов могла задержать меня, приняв за одного из этих молодчиков, а во-вторых, я рисковал вызвать ревность этих тиранов и свести знакомство с их ножами, которыми они, кстати сказать, орудуют весьма умело. Итак, осторожность соблюдалась с той и другой стороны, и если многие из ночных фей недвусмысленно давали мне понять, что не прочь отдохнуть со мной от своих докучливых обязанностей, то двойная бдительность препятствовала этому до тех пор, покуда не выяснялось, что устранена хотя бы половина опасности.

Однажды вечером, после того как я допоздна с особым упорством и удовольствием предавался изучению городской жизни, мне захотелось отдохнуть от своих странствий за стаканом пунша во второразрядном кафе. На улице дул резкий ветер и хлестал дождь вперемешку со снегом, а до моего дома путь был не близкий; но и этот приют в ночную пору имел весьма негостеприимный вид: часть столов и стульев уже была нагромождена друг на друга, поломойки старательно оттирали грязный пол мокрыми тряпками, официанты от сонливости едва волочили ноги, и если я все-таки продолжал сидеть за столиком, то лишь потому, что в тот вечер мне было труднее, чем когда-либо, погрузившись в глубокий сон, отказаться от созерцания многообразных ликов жизни.

Зал был почти пуст. У одной стены, склонившись на столик и прижавшись щекой к кожаному мешочку с деньгами, спал какой-то человек, похожий на торговца скотом. Напротив его два очкастых старика, видимо страдавших бессонницей, в полном молчании играли в домино. Но через два или три столика от меня за рюмкой зеленого ликера сидела одинокая барышня, явно из «тех», но нигде еще мне не встречавшаяся; мы обменялись с ней взаимно благожелательным взглядом.

Она походила на иностранку. Из-под красного вязаного берета, сдвинутого набок, прямыми прядями свисали черные, довольно коротко стриженные волосы, частично прикрывая щеки, которые из-за резко выступающих скул казались ввалившимися. У нее был вздернутый нос, большой, ярко накрашенный рот и косо посаженные, словно невидящие, глаза какого-то странно необычного цвета, с чуть загнутыми кверху внешними уголками. Красный берет она носила к канареечно-желтому жакету, мягко обрисовывавшему ее малоразвитые формы; я даже заметил, что у нее длинные, как у жеребенка, ноги, а это всегда мне нравилось. Кончики ее пальцев тоже загибались кверху – мне это бросилось в глаза, когда она поднесла к губам рюмку зеленого ликера, и я подумал, что рука у нее очень горячая, может быть потому, что на ней так отчетливо проступали жилки. Вдобавок у незнакомки была привычка выпячивать и снова стягивать нижнюю губу, едва прикоснувшись ею к верхней.

Итак, мы с нею несколько раз переглянулись, хотя по ее раскосым блестящим глазам трудно было определить, куда она, собственно, смотрит, и наконец я не без смущения заметил, что она удостоила меня кивка, того кивка в любодейную неизвестность, которым ее товарки сопровождают зов «трупной курочки». Я молча вывернул наружу свой пустой карман, но она ответила мне движением, ясно говорящим, что бедность не

должна меня смущать, затем повторила свой знак и, положив на мраморную доску столика плату за зеленый ликер, мягкими шагами пошла к двери.

Я тотчас же двинулся за нею. Грязный, затоптанный снег чернел на тротуарах, шел косой дождь, и большие бесформенные хлопья снега, которые падали вместе с ним, ложились, словно мокрые мягкотелые животные, на плечи, лица и рукава прохожих. Поэтому я обрадовался, когда незнакомка кивком подозвала тащившуюся мимо извозчицью карету. Она вполголоса сказала вознице название какой-то мне совсем неизвестной улицы и вскочила в экипаж; я последовал за нею и тоже опустил на обтрепанное сиденье.

Только теперь, когда наша колымага загромыкала в ночной тишине, мы вступили в разговор, который я не решаюсь здесь передать, ибо не подобает благопристойному перу опускаться до грубой фривольности. Он, этот разговор, начался безо всякого вступления, без учтивых вокруг да около; с самых первых слов его отличали полнейшая свобода и разнузданнейшая безответственность, возможная разве что во сне, когда наше «я» вступает в общение с тенями – со своими же собственными порождениями. Это было нечто, казалось, совершенно невысказанное в действительной жизни, где плоть и кровь одного существуют раздельно от плоти и крови другого. Но здесь имела место именно такая разнузданность, и, признаюсь, я был до глубины души взволнован пьянящей странностью происходящего. Каждый из нас не был один, но нас было меньше, чем двое, ибо двое, как правило, сразу вступают в несвободное, условное общение; здесь же об этом не могло быть и речи. У моей подруги была манера закидывать свою ногу за мою с таким видом, словно она просто сидит нога на ногу; все, что она говорила и делала, было до удивительности вольно, смело, беспутно, как мысли человека, оставшегося наедине с собой, и я с радостной готовностью следовал ее примеру.

Короче говоря, наша беседа свелась к обоюдным признаниям в том, что мы понравились друг другу, к исследованию, обсуждению, расчленению внезапно возникшего чувства и уговору на все лады это чувство лелеять, развивать, извлекать из него пользу. Моя подруга не скупилась на восхваления, отдаленно напомнившие мне похвалы мудрого клирика, некогда слышанные мною в родном городе, только что ее слова одновременно носили и более общий и более решительный характер. Ведь человек сведущий, заверяла она, с первого взгляда поймет, что я призван к служению любви и что это призвание равно пойдет во благо мне самому и человечеству, если я целиком ему отдамся и на этой основе буду строить свою жизнь. Но она хочет быть моей наставницей и основательно пройти со мной курс обучения, ибо ей ясно, что мои способности еще нуждаются в искусном руководстве... Вот что я понял из ее слов, приблизительно, конечно, так как в соответствии со своим чужеземным обликом она и говорила неправильно, на ломаном языке, собственно, вовсе не владела немецкой речью, отчего слова и обороты, ею употребляемые, частенько граничили с бессмыслицей и еще усиливали впечатление, что все это происходит во сне. Но что я хотел бы особо подчеркнуть и отметить, так это полное отсутствие легкомысленной резвости в ее манерах; при всех обстоятельствах – а обстоятельства временами складывались весьма своеобразно – она сохраняла строгую, почти сумрачную серьезность во время этой поездки по ночным улицам и на протяжении всего нашего знакомства.

Когда карета, отгромыхав свое, наконец остановилась, моя подруга заплатила извозчику. Затем мы стали подниматься по холодной темной лестнице, пропахшей копотью, пока не дошли до дверей ее комнаты, выходивших прямо на площадку. Внезапно стало очень тепло: запах сильно натопленной железной печки мешался с густым цветочным ароматом косметики, лампа распространяла темно-красный притушенный свет. Комната была убрана с сомнительной роскошью: на покрытых плюшевыми скатертями столиках в пестрых вазах искусственные букеты из пальмовых веток, бумажных цветов и павлиньих

перьев; повсюду были разбросаны пушистые шкуры, и надо всем царила кровать с балдахинном из красной шерстяной материи с золотой каймой. Поразило меня и обилие зеркал: зеркала я обнаружил даже там, где никому бы не пришло на ум искать их – одно было вделано в изголовье кровати, другое висело рядом на стене. Но так как и она и я испытывали желание до конца познать друг друга, то мы немедленно приступили к делу, и я пробыл у нее до наступления утра.

Роза (так звалась моя партнерша) была родом из Венгрии и происхождения самого неопределенного: ее мать прыгала в бродячем цирке через обруч, затянутый шелковистой бумагой, а отец остался неизвестным. Она рано почувствовала ненасытную склонность к прелюбодейству и совсем еще в юные годы, впрочем отнюдь не насильно, была увезена в Будапешт, где в течение нескольких лет считалась лучшим украшением дома свиданий. Но потом один венский купец, вообразивший, что жить без нее не может, путем разных хитростей и даже прибегнув к помощи Союза борьбы с торговлей живым товаром, освободил ее из этого заточения и водворил у себя. Человек уже в летах и предрасположенный к апоплексии, он чрезмерно наслаждался обладанием своей возлюбленной и неожиданно испустил дух в ее объятиях, так что Роза вдруг оказалась свободной. Она жила попеременно то в одном, то в другом городе, кормясь своим ремеслом, и совсем недавно обосновалась во Франкфурте. Неудовлетворенная чисто коммерческой «любовью», она вступила в прочную связь с одним человеком. По профессии мясник, но благодаря своей необычной жизнеспособности и брутальной мужественности самой природой предназначенный для совсем иных занятий – бандитизма, вымогательства и обмана, он сделался повелителем Розы и большую часть своих доходов извлекал из ее выгодного ремесла. Вскоре он был арестован за какое-то мокрое дело и на долгий срок оставил ее, а так как Роза отнюдь не хотела распрощаться с личным счастьем, то тихий и непросвещенный юноша показался ей подходящим другом сердца и выбор ее пал на меня.

Эту коротенькую историю она рассказала мне в минуты отдохновения, и я отплатил ей столь же сжатым повествованием о моей прошлой жизни. Вообще же мы и тогда и впредь разговаривали очень мало, ограничиваясь необходимейшими замечаниями, назначением следующей встречи или отрывистыми горячащими возгласами, сохранявшимися в лексиконе Розы с детства, проведенного на цирковой арене. Разговор наш становился многословнее лишь для взаимных похвал и комплиментов, ибо то, что нам сулила первая встреча, полностью подтвердилось, и моя наставница, в свою очередь, не раз уверяла, что мои любовные таланты и добродетели превзошли самые смелые ее ожидания.

Сейчас, мой строгий читатель, я снова в положении, в каком уже находился, когда рассказывал о том, как я в ранние годы запустил руку в сладости жизни; в том месте я сделал оговорку, что нельзя смешивать поступок с его наименованием, нельзя нечто живое, кому-то одному присущее, припечатывать обобщающим словом. Ведь если я скажу, что в течение многих месяцев, до самого моего отъезда из Франкфурта, находился в тесной связи с Розой, часто оставался у нее, наблюдал украдкой на улице за теми, кого она брала в плен своими раскосыми мерцающими глазами и мимолетной ужимкой губ, а иногда, надежно укрытый, даже присутствовал при том, как она принимала у себя платную клиентуру (повода к ревности она мне при этом не давала), и не без удовольствия пользовался известной долей ее барыша, то, конечно, читатель почувствует искушение не только назвать гнусным именем мое тогдашнее существование, но и поставить его в один ряд с жизнью тех темных личностей, о которых я говорил выше. Впрочем, пусть тот, кто полагает, будто поступок ставит знак равенства между людьми, остается при своем примитивном заблуждении. Я лично, в соответствии с народной мудростью, считаю, что если двое поступают одинаково, то поступки у них все же разные; более того, я иду дальше и решаюсь утверждать, что ярлык вроде «пьяница»,

«игрок» или даже «развратник» не только не исчерпывает до конца каждый отдельный случай, но часто и вовсе не определяет его. Таково мое мнение; другие пусть судят иначе...

Но если я и описал эту интермедию со всеми подробностями, конечно не прегрешающими против правил хорошего тона, то лишь потому, что она сыграла решительнейшую роль в моем развитии. Не то чтобы она особенно расширила мои горизонты или поспособствовала большей утонченности моих манер – для этого Роза, дикий цветок Востока, была, право же, неподходящей особой. И тем не менее слово «утонченность» здесь вполне уместно, я воздержался бы от него, лишь сыскав более подходящее. Ибо не знаю, как точнее назвать ту пользу, которую я извлек из общения с суровой наставницей и возлюбленной, взыскательность которой не уступала моим талантам. Я имею здесь в виду, конечно, утонченность не столько в любви, сколько через любовь. Мне хотелось бы подчеркнуть такое противопоставление, ибо оно указывает на различие и одновременно на амальгаму средств и цели, причем первое имеет значение узкое и специальное, второе же – куда более общее. Где-то на этих листках я уже упоминал, что ввиду необычайных требований, которые жизнь предъявляла ко мне, я не имел права предаваться сладострастию, ослабляющему нервную систему. Тем не менее в течение этого полугодия, отмеченного именем не слишком благовоспитанной, но отважной Розы, я ничем иным не занимался, кроме такого «ослабления нервной системы», с той только оговоркой, что применение этого термина, заимствованного из медицинского словаря, нередко бывает сомнительным. Ибо ослабление нервной системы как раз и сообщает нам ту окрыленную нервозность, которая при должных предпосылках позволяет выставлять себя напоказ и утеху мира, что никак не дается человеку с притупленными нервами.

Я горжусь тем, что мне здесь удалось ненароком изобрести термин «окрыленная нервозность», которую я научно противопоставляю уничижительному смыслу термина «ослабление нервной системы».

Знаю только одно – мне не удалось бы так свободно и красиво прожить некоторые периоды моей жизни, не пройди я через трудную школу Розы.

7

Когда в канун Михайлова дня[8 - ...в канун Михайлова дня... – Накануне 29 сентября (по католическому церковному календарю).] осень начала срывать листву с деревьев, которыми были обсажены улицы, для меня настала пора вступить в должность, обеспеченную мне интернациональными связями крестного Шиммельпристера. И вот в одно прекрасное утро я распростился с матерью, чей скромный пансион находился теперь в сравнительно цветущем состоянии (была даже нанята кухарка), и торопливые колеса понесли юношу, все достояние которого было уложено в небольшой чемоданчик, навстречу новой, величественной цели – навстречу столице Франции.

Они спешили, стучали, останавливали свой бег, эти колеса под вагоном третьего класса с несколькими отделениями и желтыми деревянными скамьями, на которых до отчаяния неинтересные попутчики из простонародья целый день предавались своим занятиям – храпели, чавкали, играли в карты и чесали языки. В какой-то мере теплые чувства возбуждали во мне разве что ребятишки в возрасте от двух до четырех лет, хотя они нередко хныкали или даже ревели в голос. Я угощал их дешевыми помадками, которые мать дала мне на дорогу в числе прочих припасов, ибо всегда охотно делился тем, что у меня было, и впоследствии нередко делал добро людям, отдавая немалую толику тех

сокровищ, что текли ко мне из рук богачей. Дети то и дело подбегали, упирались мне в колени своими липкими ручонками и что-то лепетали, а я, к вящему их удивлению и удовольствию, отвечал им тем же. За эту возню с детьми взрослые, несмотря на всю мою сдержанность по отношению к ним, не раз награждали меня благосклонными взглядами, хотя я нимало этого не добивался. В тот день я лишний раз убедился, что чем восприимчивее человек к красоте и прелести своих собратьев, тем в большую хандру ввергает его вид жалких уродцев. Я отлично знаю, что эти люди неповинны в своем безобразии, что у них есть свои маленькие радости и тяжелые заботы, что они на краткие мгновения предаются животной любви и влачат трудное существование. С точки зрения морали каждый из них, несомненно, достоин сочувствия. Но стремление к красоте – алчное и в то же время легко уязвимое – принуждает меня от них отворачиваться. Они переносимы лишь в возрасте тех детишек, которых я угощал сладостями и смешил подражанием их детскому лепету, платя таким образом дань необходимой общительности.

Впрочем, для успокоения читателя хочу оговориться, что я последний раз в жизни ехал третьим классом в качестве попутчика этих горемык. Та сила (которую мы зовем судьбой и которая по существу мы сами), действуя в согласии с неизвестными нам, но непогрешимыми законами, в кратчайший срок изыскала пути и средства, для того чтобы это никогда больше не повторилось.

Мой билет, разумеется, был в полном порядке, и я, как ни странно, этому радовался; для меня это значило, что и сам я в полном порядке. Бравые кондуктора в грубошерстных шинелях, в течение дня несколько раз наведывавшиеся в наш деревянный закут, чтобы продырявить билет своими щипчиками, с неизменным должностным удовлетворением мне его возвращали, – молча, конечно, и без всякого выражения на лице, иными словами, с выражением мертвенного, доходящего до аффектации безразличия, которое вновь и вновь заставляло меня задумываться о той исключаяющей даже любопытство отчужденности, с какой человек, и прежде всего чиновник, почитает нужным относиться к своим собратьям. Этот честный малый зарабатывал себе на жизнь тем, что прокалывал мой билет; где-то его ждал дом, на пальце у него красовалось обручальное кольцо, а значит, он имел жену и детей. Но я обязан был притворяться, что мне и в голову не приходит думать о нем как о человеке, и любой мой вопрос, доказывающий, что я не смотрю на него лишь как на административную марионетку, был бы в высшей степени неуместен. С другой стороны, и я жил своей жизнью, о которой он мог бы задуматься или спросить. Но он на это не имел права или же не удостоивал меня такого вопроса. Исправность билета – вот все, что интересовало его к моей тоже марионеточной особе пассажира, а что со мной станет, когда билет больше не будет мне нужен и его у меня отберут, это уже находилось за пределами его мертвенного взора.

В таком поведении есть что-то странно противоестественное, пожалуй даже искусственное, хотя, с другой стороны, нельзя не признать, что и самое малое отступление от такового создало бы неловкость. И правда, вечером один из железнодорожных служащих с фонарем у пояса, возвращая мне билет, пристально на меня посмотрел и улыбнулся – улыбка, видимо, относилась к моему очень еще юному возрасту.

– В Париж? – осведомился он, хотя конечная цель моего путешествия была черным по белому обозначена на билете.

– Да, господин инспектор, – отвечал я, дружелюбно ему кивнув. – Вот в какую даль меня понесло.

– Что же вы там собираетесь делать? – любопытствовал он.

- Я, видите ли, имею хорошие рекомендации и думаю поступить на службу в гостиницу.
- Это дело! – сказал он. – Дай вам бог счастья.
- И вам желаю того же, господин обер-контролер, – отвечал я. – И, прошу вас, передайте это пожелание вашей супруге и детям!
- Что ж! Благодарствуйте! Вот так так! – Путаясь в словах, он сконфуженно рассмеялся и поспешил дальше, но каким-то неуверенным шагом, даже споткнувшись, хотя пол был ровный, – до такой степени выбила его из колеи простая человечность.

На пограничной станции, где все мы с нашими вещами вышли из поезда для таможенного досмотра, я тоже чувствовал себя удивительно легко и весело; на сердце у меня было спокойно, так как мой чемоданчик не содержал ничего незаконного с точки зрения таможенного чиновника; даже долгое ожидание (само собой разумеется, что чиновники отдавали предпочтение знатым путешественникам перед пассажирами третьего класса, чтобы позднее с тем большим рвением перерыть и выворотить из чемоданов все добро последних) не повлияло на мое радостное состояние духа. С человеком, перед которым мне наконец-то было ведено выложить свои пожитки и который по началу встряхивал каждую рубашку и каждый носок – не выпадет ли оттуда какая-нибудь контрабанда, я немедленно затеял заранее обдуманый разговор, что, конечно, расположило его в мою пользу и удержало от дальнейшего перетряхивания. Французы любят и уважают речь – и по праву! Ведь что же, как не речь, отличает человека от животного; кто-то справедливо сказал, что человек тем дальше от животного, чем лучше он говорит – и главное, по-французски. Ибо французы свой язык почитают за общечеловеческий. Так, по моему представлению, и жизнерадостный народец древних эллинов почитал свой идиом за единственно человеческий способ выражения мыслей, а все остальные языки – за варварское твяканье и кваканье; этому мнению непроизвольно подчинился и весь остальной мир, признав греческий, как мы нынче признаем французский, за утонченнейший язык на свете.

– Bonsoir, monsieur le commissaire! – приветствовал я таможенного сборщика, причем третий слог слова «commissaire» я проговорил в нос и нараспев. – Je suis tout a fait a votre disposition avec tout ce que je possede. Voyez en moi un jeune homme tres honnete, profondement devoue a la loi et qui n'a absolument rien a declarer. Je vous assure que vous n'avez jamais examine une piece de bagage plus innocente.[9 - Добрый вечер, господин комиссар. К вашим услугам я и все мое имущество. Перед вами честнейший молодой человек, глубоко уважающий закон; я ничего от вас не утаил. Уверяю вас, что вам никогда еще не приходилось досматривать более невинный багаж. (франц.)]

– Tiens! – воскликнул он, вглядываясь в меня. – Vous semblez etre un drole de petit bonhomme. Mais voos parlez assez bien. Etes vous Francais?[10 - Эге! Да вы, видно, забавный мальчуган. Но говорите вы хорошо. Вы что, француз? (франц.)]

– Oui et non, – отвечал я. – A peu pres. A moitie – a demi, vous savez. En tout cas, moi, je suis un admirateur passionne de la France et un adversaire irreconciliable de l'annexion de l'Alsace-Lorraine![11 - И да и нет. Почти. Наполовину, я бы сказал. Во всяком случае, я страстный почитатель Франции и непримиримый противник отторжения Эльзас-Лотарингии (франц.) – Эльзас и Лотарингия, две восточные провинции Франции, были отторгнуты Германией в 1872 году, согласно Франкфуртскому мирному договору.]

Лицо его приняло выражение, которое я бы назвал сурово-растроганным.

– Monsieur, – торжественно проговорил он, – je ne vous gene plus longtemps. Fermez votre malle et continuez votre voyage a la capitale du monde avec les bons voeux d'un patriote francais![12 - Мсье, я вас дольше не задерживаю. Можете закрывать чемодан и продолжать свой путь в столицу мира; вас напутствуют добрые пожелания французского патриота (франц.)]

И покуда я, рассыпаясь в благодарностях, собирал свое белье, он уже успел поставить мелом знак на крышке моего открытого саквояжа. Но так уж было суждено, что при торопливой укладке этот саквояж в известной мере утратил свою невинность, которой я похвалялся, ибо теперь в нем стало одной вещичкой больше, чем было по прибытии на пограничную станцию. Дело в том, что рядом со мной, у обитого жестью стола, за которым орудовали таможенники, какая-то дама средних лет в норковой шубке и в бархатной шляпе-клеш, отделанной перьями цапли, склонившись над своим раскрытым сундуком довольно солидных размеров, не без ожесточения препиралась с одним из чиновников, явно расхоронившимся с ней во мнении относительно куска кружев, который он держал в руке. Среди груды прекрасных вещей, откуда чиновник извлек спорные кружева, ближе всего к моим вещам лежал сафьяновый ящичек почти кубической формы, очень походивший на шкатулку для драгоценностей; и вот эта-то шкатулка и скользнула ко мне в чемодан как раз в ту секунду, когда мой новоиспеченный приятель ставил меловой знак на его крышке. Скорее свершенье, чем деянье, – это случилось как-то само собой и между прочим, в результате хорошего настроения, в которое я пришел после дружественного собеседования с местными властями. Во время дальнейшего пути я почти не вспоминал об этом случайном приобретении и разве что на какую-то секунду задался вопросом – хватилась ли дама этого ящичка, укладывая обратно в сундук свои пожитки, или не хватилась. В скором времени мне суждено было точно узнать об этом.

Итак, замедляя ход, поезд после двенадцатичасового пути, если считать и все остановки, подкатил к дебаркадеру Северного вокзала. И покуда носильщики занимались богатыми, обремененными многочисленным багажом пассажирами, многие из которых обменивались поцелуями со встречающими их друзьями и родными, а кондуктора, не считая это для себя зазорным, в двери и окна подавали носильщикам ручные чемоданы и портпледы, – одинокий юноша среди суетливой толкотни своих неказистых спутников по третьему классу с чемоданчиком в руках, никем не замечаемый, вышел из шумного и довольно неприглядного вокзала. На грязной улице (в тот день моросил мелкий дождь) кучера фиакров, заметив, что я несу чемодан, призывно взмахивали своими кнутами и кричали мне: «Ну как, поехали, mon petit?»[13 - малыш (франц.)] или «mon vieu»[14 - старина (франц.)], или еще что-нибудь в этом роде. Но чем бы я заплатил за поездку? Денег у меня почти совсем не было, а если сафьяновая шкатулка и могла поправить мои обстоятельства, то ведь здесь мне было не добраться до ее содержимого. Вдобавок подъезжать в фиакре к месту будущей моей службы мне не пристало. Я решил проделать весь путь пешком, сколь бы он ни был долог, и не раз вежливо обращался к прохожим, спрашивая, как пройти на Вандомскую площадь (я нарочно не упоминал ни названия отеля, ни улицы Сент-Оноре), но они даже не замедляли шагов, чтобы расслышать мой вопрос. И все же я был не похож на нищего, так как моя сердобольная мать не пожалела нескольких талеров, чтобы хоть как-то приодеть меня в дорогу. Под аккуратно заплатанные башмаки была поставлена новая подошва, на мне была теплая куртка с нагрудными карманами и аккуратная спортивная шапочка на живописно выбивающихся из-под нее белокурых волосах. Но молокососа, который не может нанять носильщика, сам волочит по улицам свой багаж и не имеет денег на фиакр, питомцы нашего цивилизованного века не удостаивают ни словом, ни взглядом; они опасаются вступить с ним в какие бы то ни было отношения, предполагая в нем весьма подозрительное свойство, то есть бедность, а тем самым и еще кое-что похуже, почему общество и почитает за благо попросту не замечать такого неудачника. Говорят, что «бедность не порок», но это только слова. Человека имущего от нее бросает в дрожь, он ее

воспринимает то ли как срам, то ли как неопределенный укор, в общем же как нечто отвратительное, и всегда помнит, что лучше с ней не связываться во избежание неприятных осложнений.

Я не раз с болью подмечал такое отношение к бедности; то же самое происходило и в день моего приезда. Наконец я остановил одну старушку, которая – не знаю зачем и почему – толкала перед собой детскую колясочку, набитую какой-то посудой, и она, единственная из всех, не только указала нужное мне направление, но и подробно описала место, где я выйду к omnibusной линии, ведущей на знаменитую площадь. Те несколько су, которые стоил этот вид передвижения, были мне по карману, и я обрадовался полученным сведениям. Чем дольше, объясняя мне дорогу, вглядывалась в меня добрая старуха, тем шире расплывался в улыбке ее беззубый рот; наконец она потрепала меня по щеке своей жесткой рукой и сказала:

– Dieu vous benisse, mon enfant[15 - Господь да благословит вас, дитя мое (франц.)].

И эта ласка была мне дороже, чем ласки более красивых рук, которые впоследствии выпадали мне на долю.

Париж отнюдь не производит восхитительного впечатления на приезжего, вступающего на его стогны с этого вокзала, но роскошь и великолепие возрастают по мере приближения к величавым площадям, являющимся сердцем этого города; держа на коленях свой чемоданчик, я не то что робко (робость я мужественно подавлял в себе), но изумленно и благоговейно взирал с узкого местечка, которое мне удалось отвоевать в omnibusе, на пылающий блеск его улиц и площадей, на сутолоку экипажей, толкотню прохожих, на сияние его прельстительных витрин, на манящие кафе и рестораны, на театры, ослепляющие глаза белым светом дугowych фонарей, покуда кондуктор выкрикивал названия, которые так часто и с такой нежностью произносил мой бедный отец, вроде: Площадь Биржи, улица Четвертого сентября, бульвар Капуцинов, площадь Оперы – и так далее.

Уличный шум, пронзаемый криками продавцов газет, был оглушителен, свет ярк до умопомрачения. Под навесами кафе за маленькими столиками сидели люди в пальто и шляпах, с тростью, зажатой между колен, и, точно в театре, смотрели на толпы пешеходов и проносящиеся экипажи, а между их ног ползали какие-то темные фигуры, подбирая окурки сигар. Нисколько этим не смущаясь, они попросту не замечали бедных ползунов или же считали их нормальным и узаконенным порождением цивилизации, за радостной суетой которой они с таким удовольствием наблюдали из своего укрытия.

Всякому образованному человеку известно, что гордая улица Мира связывает площадь Оперы с Вандомской площадью; там, у обелиска, увенчанного статуей великого императора, я вышел из omnibusа, чтобы пешком добраться до истинной моей цели – улицы Сент-Оноре, идущей параллельно улице Риволи. Отыскать эту цель было нетрудно: еще издали бросились мне в глаза довольно крупные и ярко светящиеся буквы на вывеске отеля «Сент-Джемс энд Олбани».

У подъезда была суета. Господа, собираясь сесть в наемную карету с привязанными к ее задку сундуками, раздавали чаевые суетящимся вокруг них слугам, в то время как другие лакеи втаскивали в вестибюль багаж только что прибывших постояльцев. Я добровольно иду на то, чтобы вызвать улыбку читателей, признаваясь в известной робости, которую я испытывал при мысли, что у кого-то хватает смелости непринужденно войти в этот элегантный, дорогой отель. Но разве право и долг не объединились, чтобы придать мне мужества? Разве мне не назначено сюда явиться и разве я не определен здесь к месту? И разве мой крестный Шиммельпристер не на «ты» с главой этого заведения? Тем не

менее я из скромности воспользовался не вертящимися дверями, через которые проходили новоприбывшие, а боковым входом, куда носильщики вносили багаж. Но эти последние – не знаю уж, за кого они меня приняли, но, во всяком случае, не за своего брата – отослали меня обратно, и мне не осталось ничего другого, как, держа в руках чемоданчик, войти в великолепные двери, повернуть которые мне, к великому моему смущению, помог стоявший при них мальчик в красной курточке. «Dieu vous benisse, mon enfant», – поблагодарил я его словами той доброй старушки, отчего он разразился столь же неудержимым смехом, как те ребяташки, которых я забавлял в поезде.

Я очутился в великолепном зале с порфировыми колоннами и хорами, наполненном людьми; одни расхаживали по нему из конца в конец, другие, одетые по-дорожному, в том числе и дамы с дрожащими собачонками на коленях, сидели в глубоких креслах, расставленных на коврах у подножия колонн. Какой-то ливрейный юнец в порыве служебного усердия попытался взять у меня из рук чемоданчик, но я отклонил его услуги и немедленно двинулся направо, к стойке, за которой сидел портье, томный господин с холодным взглядом, в обшитом галуном сюртуке, явно привыкший взимать солидную дань с постояльцев. Он давал справки на трех или четырех языках обступившей его публике и в то же время с любезной улыбкой вручал ключи от комнат тем, кто их требовал. Я долго ждал, прежде чем мне удалось улучшить минуту и осведомиться у него, когда и где я могу сподобиться чести предстать перед господином главноуправляющим Штюцли.

– Вы хотите говорить с господином Штюцли? – переспросил он с оскорбительным удивлением. – Но кто вы такой?

– Новый служащий отеля, – отвечал я, – наилучшим образом рекомендованный господину главноуправляющему.

– Etonnant![16 - Удивительно! (франц.)] – заметил сей высокомерный субъект и с насмешкой, глубоко меня задевшей, добавил: – Не сомневаюсь, что мсье Штюцли уже давно сгорает от нетерпения, ожидая вашего визита. Не сочтите за труд пройти несколько шагов дальше, в приемную.

– Бесконечно вам признателен, monsieur le concierge[17 - мсье консьерж (франц.)], – отвечал я. – Пусть щедрые чаевые и впредь со всех сторон стекаются к вам, дабы вы в ближайшее время получили возможность удалиться в частную жизнь.

– Идиот! – донеслось мне вслед. Но меня это нимало не огорчило и не задело. Не выпуская из рук чемоданчика, я пошел дальше, в приемную, и правда расположенную всего в нескольких шагах от стойки консьержа на той же стороне зала. Ее осаждали еще энергичнее. Многочисленные приезжие желали лично говорить с двумя восседавшими там мужами в изысканных смокингах, осведомлялись о заранее заказанных апартаментах, узнавали номера предоставленных им комнат и тут же заполняли «листки для приезжающих». Мне пришлось набраться терпения, прежде чем я подошел к столу; но в конце концов я все же очутился лицом к лицу с одним из двух директоров – еще довольно молодым человеком в пенсне, с закрученными кверху усиками на землисто-бледном лице, не знающем свежего воздуха.

– Вам угодно номер? – осведомился он, так как из скромности я не заговорил первым.

– О нет, нет, господин директор, – улыбаясь, отвечал я. – Я здешний служащий, если мне дозволено будет уже сейчас так называть себя. Мое имя Круль, Феликс Круль. Я явился сюда, чтобы, согласно договоренности между господином Штюцли и моим крестным, профессором Шиммельпристером, выполнять любую работу, которая будет на меня

возложена.

– Отойдите в сторону, – быстрым шепотом приказал он. – Вон туда, подальше!

При этих словах его землистое лицо порозовело и он тревожно огляделся вокруг; казалось, появление перед публикой нового служащего без ливреи, в обычном своем человеческом обличье, привело его в сильнейшее замешательство. И правда, глаза нескольких человек с любопытством обратились на меня. Некоторые даже перестали заполнять свои листки, чтобы лучше в меня взглянуть.

– Certainement, monsieur le directeur![18 - Конечно, господин директор! (франц.)] – вполголоса отвечал я и встал на почтительном расстоянии даже от тех, что пришли много позднее меня. Таких, впрочем, было немного, через две-три минуты приемная и вовсе опустела, на короткий срок вероятно.

– Ну, где вы там, – обратился ко мне господин с землисто-серым лицом.

– L'employe volontaire[19 - новый служащий (франц.)] Феликс Круль, – отвечал я, не двигаясь с места; я хотел, чтобы он попросил меня подойти.

– Подойдите же сюда, – раздраженно проговорил он. – Или вы полагаете, что я буду перекрикиваться с вами на таком расстоянии?

– Я отошел подальше согласно вашему приказанию, господин директор, – ответил я, приблизившись, – и дожидался нового распоряжения.

– Я должен был вам это приказать, – возразил он. – Что вам здесь нужно? И как вам вообще взбрело на ум явиться сюда через парадный ход и, здорово живешь, смешаться с нашими клиентами?

– Тысячу раз прошу прощения за этот промах, – с виноватым видом отвечал я. – Я не нашел другой дороги, кроме как через вестибюль. Но да будет мне дозволено заметить, что меня не отпугнул бы самый трудный, темный и окольный путь, лишь бы предстать перед вами, господин директор.

– Это еще что за манера выражаться! – рассердился он, и нежный румянец снова проступил на его бледном лице.

Мне его способность краснеть почему-то понравилась.

– Не пойму, дурак вы или не в меру интеллигентны, – добавил он.

– Надеюсь, – возразил я, – в кратчайший срок доказать своему начальству, что моя интеллигентность не выходит за пределы положенного.

– Сомневаюсь, чтобы вам была предоставлена эта возможность. В настоящее время, насколько мне известно, у нас вакантных мест не имеется.

– Тем не менее я позволю себе заметить, – напомнил я, – что относительно меня существует твердая договоренность между господином Штюрцли и его другом юности, а моим крестным отцом. Я не осмелился беспокоить господина Штюрцли, ибо хорошо понимаю, что он не сгорает от нетерпения увидеть меня, и не тешу себя надеждой в скором времени или вообще когда-либо увидеть господина Штюрцли. Но дело не в этом. Все мои помыслы и попечения, monsieur le directeur, были направлены на то, чтобы

представиться вам и от вас, и только от вас, получить указания, где, когда и какого рода службой я смогу принести посильную пользу отелю «Сент-Джемс энд Олбани».

– Mon Dieu, mon Dieu![20 - Господи ты боже мой! (франц.)] – донеслось до меня. Тем не менее он подошел к стенному шкафу, достал оттуда объемистую книгу и, чуть посплюнявив указательный и средний пальцы, стал досадливо листать в ней. Видимо, найдя то, что ему было нужно, он обернулся ко мне.

– Так или иначе, но сейчас живо убирайтесь туда, где вам надлежит находиться! Вы будете приняты в штат, в этом пункте вы правы...

– Но это наиболее существенный пункт, – заметил я.

– Mais oui, mais oui![21 - Ну да, ну да! (франц.)] Боб, – окликнул он одного из мальчиков-посыльных, которые сложа руки сидели на скамейке в глубине комнаты, ожидая поручений. – Покажите вот этому дортуар номер четыре в верхнем этаже. Поедете на багажном лифте! Завтра утром вы получите соответствующее распоряжение, – бросил он мне напоследок. – Марш!

Веснушчатый паренек, видимо англичанин, пошел впереди меня.

– Хорошо, если бы вы немножко понесли мой чемодан, – обратился я к нему по дороге. – У меня, честное слово, уже руки онемели.

– А что вы мне за это дадите? – полюбопытствовал он.

– У меня ничего нет.

– Ладно, тогда я и так снесу. Не радуйтесь, что вас назначили в четвертый дортуар! Скверное помещение! Нам тут всем неважно живется. И пища плохая, и жалованье грошовое. Но о забастовке нечего и думать. Слишком много охотников поступить на наши места. Надо бы послать к черту всех этих эксплуататоров вместе с их заведением. Я, надо вам сказать, анархист, voilà se que je suis[22 - вот что я такое (франц.)].

В нем было что-то очень милое и ребячливое.

Мы вместе поднялись на лифте в верхний этаж, где он, предоставив мне уже самому нести чемодан, показал на какую-то дверь в слабо освещенном коридоре с ничем не покрытым полом и пожелал bonne chance[23 - удачи (франц.)].

Надпись на двери и вправду гласила: дортуар номер четыре. Из осторожности я постучался, но ответа не последовало; спальня, хотя шел уже одиннадцатый час, оказалась совершенно пустой и темной. Вид этого помещения, когда я повернул выключатель и на потолке зажглась лампа без абажура, не слишком меня порадовал. Восемь коек с серыми байковыми одеялами и плоскими подушками в давно не стиранных наволочках были укреплены попарно, одна над другой, между ними во всю высоту стен были устроены открытые шкафы, на полках которых стояли чемоданы и баулы здешних обитателей. Никакой другой мебели в этой комнате с единственным окном, видимо выходящим во двор, замкнутый стенами, не было, да для нее и не нашлось бы места: ширина комнаты настолько уступала длине, что посередине оставался лишь узкий проход. Значит, даже одежду на ночь приходилось класть либо в ногах кровати, либо на свой чемоданчик в стенном шкафу.

«Ну-ну, – подумал я, – и зачем, спрашивается, я положил столько трудов, чтобы избежать

казармы! Там обстановка, наверно, не более спартанская». Правда, я уже давно не почивал на розах – с того самого времени, как прахом рассыпался мой веселый отчий дом, и, кроме того, я знал, что человек и обстоятельства, даже если они поначалу очень суровы, в конце концов все же сливаются в более или менее стройный аккорд и что есть даже такие счастливые натуры, что умеют придавать обстоятельствам известную гибкость, основанную не на одном только умении приспособляться. Одна и та же обстановка не для всех одинакова: общие условия под воздействием личности весьма значительно видоизменяются.

Да простится это отступление уму, направленному на осмысление миропорядка, уму, всегда склонному останавливаться не на уродливых и суровых, а, напротив, на приятных и тонких явлениях жизни. Один из стенных шкафов был пуст, из чего я заключил, что и одна из восьми кроватей должна быть вакантной, только я не знал, какая именно, и очень об этом сожалел, так как изрядно устал с дороги и мой молодой организм жаждал сна. Но, делать нечего, надо было дожидаться прихода товарищей по комнате. Я попытался скоротать время, обследуя примыкавшую к дортуару умывальную, дверь туда стояла открытой. В этой комнатке было пять скверных умывальных столиков со всеми принадлежностями, как то: таз, ведро и кувшин, – пол был застлан линолеумом. Зеркал и в помине не было. Вместо них на двери и стенах, так же, впрочем, как и в спальном помещении, там, где только находился свободный кусочек стены; кнопками были прикреплены вырезанные из журналов портреты всевозможных красавиц. Не слишком утешенный своим обследованием, я вернулся в спальню и, чтобы хоть чем-нибудь заняться, решил достать из чемодана ночную рубашку, но наткнулся на шкатулочку, которая при таможенном досмотре так легко в него скользнула, и, обрадованный, тут же занялся ею.

Возможно, что любопытство и желание поскорее узнать, что же составляет содержимое этой шкатулки, все время жило у меня в подсознании и ночная рубашка была только предлогом для того, чтобы поскорее с ним ознакомиться, – вопрос этот я оставляю открытым. Усевшись на одну из нижних коек и поставив шкатулку на колени, я, страстно надеясь, что никто мне не помешает, принялся ее обследовать. На шкатулке, правда, имелся замочек, но не запертый: она была закрыта только на крючок. Нельзя сказать, что я обнаружил там сказочные сокровища, но вещи, в ней хранившиеся, оказались премилыми, иные даже восхитительными. С самого верха, во вставном открытом ящичке, как бы разделявшем внутренность шкатулки на два этажа, лежало ожерелье из нескольких рядов крупных топазов в чеканной оправе, равного которому по красоте я не видел ни в одной витрине, да и не удивительно – оно было старинной, очень старинной работы. Ожерелье это показалось мне олицетворением роскоши; чарующее мерцанье золотисто-прозрачных, точно мед, камней привело меня в такой восторг, что я долго не отрывал от него глаз и даже с некоторой неохотой поднял вставной ящичек, чтобы заглянуть в нижнее отделение. Оно оказалось глубже верхнего, и все там лежавшее не заполняло его так, как заполняло ящичек топазовое ожерелье. Но и внизу были прелестные вещицы, которые мне и сейчас помнятся вплоть до малейших деталей. Блистающей кучкой лежала там длинная цепочка из мелких бриллиантов в платиновой оправе; далее, прекрасный черепаховый гребень с серебряной инкрустацией, осыпанный множеством бриллиантиков; брошь – две скрещенные золотые палочки с платиновыми переплетами, увенчанные крупным, как горошина, сапфиром, окруженным десятью бриллиантами; вторая брошь из матового золота в виде изящной корзиночки с виноградом; платиновый браслет, имеющий форму дуги, с пружинной застежкой, ценность которого значительно увеличивалась благодаря вделанной в него великолепной белой жемчужине в резном венчике из бриллиантов. Кроме того, там лежали два или три прехорошеньких кольца – одно с серой жемчужиной посреди двух больших и двух маленьких бриллиантов, другое с темным треугольным рубином в бриллиантовой рамке.

Я поочередно клал на ладонь каждую из этих милых безделок и любовался благородной игрой камней в скудном свете голы лампочки под потолком. Но как описать мое смятение, когда, углубленный в это занятие, я вдруг услышал сверху голос, сухо заметивший:

– А вещички-то у тебя недурные!

Если человек, воображавший себя в полном одиночестве, вдруг обнаруживает, что это не так, он неизбежно испытывает чувство стыда, а в этих особых обстоятельствах я и подавно смешался, даже вздрогнул, но тут же овладел собой, без излишней поспешности закрыл шкатулку, снова вложил ее в чемодан и лишь тогда поднялся, чтобы, слегка отступив, взглянуть наверх, откуда исходил неведомый голос. И правда, над койкой, на которой я сидел, лежал какой-то человек и, опершись на локоть, смотрел вниз. Значит, я слишком бегло оглядел комнату, если не заметил его присутствия. Скорее всего он в ту минуту лежал, натянув одеяло на голову. Это был молодой человек, которому очень и очень не мешало бы побриться, так как, не считая бачков, вся его физиономия беспорядочно заросла черными волосами; я успел заметить, что у него славянский разрез глаз. Лицо этого молодого человека было красно от жара, и хотя я отлично понял, что он болен, но досада и замешательство побудили меня задать ему нелепый вопрос:

– Что вы делаете там наверху?

– Я? – удивился он. – Скорее мне надо было бы спросить, чем это ты занимаешься там внизу.

– Будьте любезны меня не тыкать, – огрызнулся я. – Насколько мне известно, мы с вами не родственники и в доверительных отношениях не состоим.

Он засмеялся и вполне резонно заметил:

– Ну, положим, того, что я видел, достаточно, чтобы считать наши отношения довольно-таки доверительными. Вряд ли твоя мамаша сунула тебе на дорогу эти штучки. А ну, покажи-ка свои руки, интересно посмотреть, какой они длины, или ты умеешь делать их длинными по мере надобности?

– Не говорите глупостей, – отвечал я. – Я не обязан отчитываться перед вами в своем имущественном положении только потому, что вы не сочли нужным предупредить меня о своем присутствии и стали за мной подглядывать. Это, сударь, очень дурной тон...

– Ты еще будешь разговаривать! – возмутился он. – Брось ты эти церемонии, у меня, знаешь ли, тоже губа не дура. А в общем могу тебе сказать, что я только сейчас глаза продрал. У меня инфлюэнца, и я валяюсь здесь уже второй день, голова прямо разламывается. Я проснулся и, ни слова не говоря, решил поглядеть, чем это он там забавляется, милый мальчик? Ты ведь очень недурен собой, надо тебе отдать справедливость. Будь у меня такая рожица, я бы далеко пошел!

– Моя рожица не основание для того, чтобы тыкать меня. Я с вами больше слова не скажу, если вы будете продолжать в том же духе.

– Ах, бог ты мой, уж не прикажете ли мне называть вас «ваше высочество»? А ведь мы с тобой, видно, коллеги. Ты что, новичок?

– Да, меня направили сюда из дирекции, с тем чтобы я занял свободную кровать. Завтра

я приступлю к исполнению своих обязанностей в этой гостинице.

– В качестве кого?

– Это еще не решено.

– Странно! Я работаю на кухне, вернее – в буфете, по холодным закускам. Кровать, на которую ты уселся, занята. А вот верхняя койка, через одну от тебя, та свободна. Ты откуда родом?

– Я сегодня приехал из Франкфурта.

– А я – хорват, – объявил он, – из Загреба. Там я тоже работал на кухне, в ресторане. Да вот уж три года живу в Париже. Ты как? В Париже разбираешься?

– Что это значит – «разбираешься»?

– Полно притворяться. Я спрашиваю, знаешь ли ты, где сбыть эти штуки по сходной цене?

– Найду.

– Сам не найдешь. А долго таскаться с такой находкой тебе несподручно. Если я тебе укажу надежного человека, возьмешь меня в долю, исполу?

– Странные вещи вы говорите. Исполу! И только за то, что вы мне укажете адрес!

– Который тебе, желторотому, нужен, как хлеб насущный. Поразмысли-ка хорошенько. Я тебе скажу, что одна только бриллиантовая цепочка...

Но тут нас прервали. Дверь распахнулась, и в комнату вошли несколько человек, закончивших свой рабочий день: молоденький лифтер в серой ливрее с красными галунами, два мальчика-рассыльных в синих курточках со стоячими воротниками, двумя рядами пуговиц и золотыми лампасами на брюках, рослый парень в синей полосатой блузе, с только что снятым передником в руках, видимо судомойщик или что-то в этом роде. Почти тотчас же вслед за ними явился парнишка, похожий на Боба, и еще какой-то малый, судя по белому кителю с черными брюками, ученик или помощник кельнера. Они то и дело говорили: «Merde!»[24 - Черт побери! (франц.)], а немцы, оказавшиеся среди них: «Фу, дьявол!» и «Черт бы все это побрал!» – восклицание, видимо, относившееся к только что законченной работе, затем, взглянув вверх, на больного, заметили: «Ну что, Станко, дело дрянь, а?» – начали громко зевать и все разом принялись раздеваться. Мной они нимало не заинтересовались, кто-то, впрочем, пошутил, сделав вид, что меня здесь ожидали: «Ah, t'e voila! Comme nous etions impatients que la boutique deviendrait complete!»[25 - Ага, вот и ты! Нам уже не терпелось, чтобы здесь был полный набор! (франц.)] Один из них подтвердил, что верхняя койка, на которую мне указал Станко, действительно свободна. Я залез на нее, поставив свой чемодан на соответствующую полку, разделся и, едва только моя голова коснулась подушки, погрузился в глубокий и сладостный сон.

было только шесть часов, – и те из моих соседей, что первыми выскочили из постелей, зажгли лампочку. Не отозвался на этот звон и треск только Станко, продолжавший лежать неподвижно. Сон очень освежил и ободрил меня, так что противная толкотня в узких проходах между койками всех этих парней – растрепанных, громко зевающих, потягивающихся и стаскивающих через голову ночные рубашки, не подействовала на меня угнетающе. Даже спор из-за мытья – пять умывальников на семь человек – не омрачил моего веселого настроения, хотя воды не хватало и то один, то другой нагишом выскакивали в коридор, чтобы наполнить кувшин под водопроводным краном. Не говорю о том, что мне досталось совершенно мокрое полотенце, непригодное для вытирания. Зато я получил разрешение взять для бритья немного горячей воды из той, что лифтер и ученик кельнера сообща разогрели на спиртовке. Привычными движениями вода бритвой по щекам, верхней губе и подбородку, я гляделся в осколок зеркала, который они умудрились пристроить на подоконнике.

– He, beaute[26 - эге, красавчик (франц.)], – изрек Станко, когда я, со свежесмытым лицом и приглаженными волосами, возвратился в спальню, чтобы, как все другие, застелить свою койку. – Как тебя звать-то? Ганс или Фриц?

– Феликс, с вашего позволения, – отвечал я.

– Тоже недурно. Так вот, не будете ли вы так добры, Феликс, после завтрака принести мне из столовой чашку кофе с молоком? А не то я до обеда, когда есть надежда поесть протертого супу, буду сидеть вовсе без еды.

– С удовольствием, – отозвался я. – Я принесу кофе, а потом еще раз зайду, узнать, не надо ли вам чего-нибудь.

Такую заботливость я проявил по двум причинам. Во-первых, потому, что мой чемодан не запирался, а Станко не внушал мне доверия. Во-вторых, мне хотелось вернуться к вчерашнему разговору и на более или менее подходящих условиях получить от него адрес, который он посулил мне.

В просторной столовой для служащих, в самом конце коридора, било тепло, уютно и пахло кофе, который буфетчик и его супруга, очень дородная и добродушная женщина, разливали из двух блестящих кипятильников. Сахар уже лежал в чашках, буфетчица подливала в них молока и на каждое блюдце клала по сдобной булочке. Здесь толклось множество отельной прислуги из разных дортуаров, в том числе несколько кельнеров в синих фраках с голубыми пуговицами. Почти все ели и пили стоя, хотя в зале имелось несколько столиков. Памятуя о своем обещании, я попросил у добродушной буфетчицы кофе «pour le pauvre malade de numero quatre»[27 - для бедного больного из четвертого номера (франц.)]. Она немедленно подала мне полную чашку, с улыбкой, которая обычно появлялась на лицах тех, к кому я обращался.

– Pas encore equiré?[28 - Еще не экипировались? (франц.)] – осведомилась она.

В немногих словах я объяснил ей свое положение. Затем поспешил отнести кофе Станко и повторил ему, что в скором времени зайду еще раз. Он насмешливо хихикнул мне вслед, так как отлично понял причины моей заботливости.

Вернувшись в столовую, я, в свою очередь, выпил кофе, которое пришлось мне очень по вкусу, – я давно уже не имел во рту ничего горячего, – и закусил сдобной булочкой. Было уже семь часов, и столовая быстро опустела. Поэтому я пристроился за одним из покрытых клеенкой столиков, подле пожилого кельнера, который неторопливо достал из кармана пачку сигарет и закурил. Мне достаточно было улыбнуться и чуть-чуть

подмигнуть ему, чтобы тоже получить сигарету. Мало того, после нескольких слов, которыми мы обменялись, я и ему рассказал о своем все еще неопределенном положении, а он, уходя, презентовал мне добрый десяток сигарет, оставшихся в пачке.

Затянуться после кофе черным пряным табаком было очень приятно, но я не мог долго сидеть здесь и наслаждаться, так как мне надо было спешить к своему подопечному. Он встретил меня с явно наигранной брюзгливостью.

– Ты опять тут? Что тебе надо? Я в твоём обществе не нуждаюсь. Мне не до болтовни, голова у меня так и не прошла, и горло тоже болит.

– Так вам, значит, не лучше? – отвечал я. – Очень жаль. А я как раз собирался спросить, не почувствовали ли вы себя бодрее после кофе, которое я вам принес из товарищеских побуждений.

– Я-то знаю, почему ты мне принес кофе, да только не хочу мешаться в твои дурацкие дела. От такого олуха только и жди беды.

– Это вы первый заговорили о делах, – заметил я. – Не знаю, почему бы мне независимо от каких бы то ни было дел не составить вам компанию, раз вы тут лежите в полном одиночестве. В ближайшие часы никто мной интересоваться не станет, и времени у меня хоть отбавляй... Это, однако, не значит, что я, со своей стороны, откажусь от вашей помощи.

Я сел на кровать под его койкой, но с нее мне было его не видно. «Так ни до чего не договоришься», – решил я и поневоле опять встал.

– Хорошо хоть ты признался, что я тебе нужен, а не ты мне.

– Если я вас правильно понял, – отвечал я, – вы намекаете на предложение, которое вы мне вчера сделали. Очень любезно с вашей стороны снова вспомнить о нем. Но, с другой стороны, это указывает и на вашу заинтересованность.

– Ну, моя-то заинтересованность невелика. А ты, шут гороховый, без меня ни за грош спустишь свою рухлядь. Как к тебе вообще попали эти штуки?

– Совершенно случайно. Просто выдалась такая счастливая минута.

– Ясное дело. А может быть, ты и впрямь родился в сорочке? Что-то в тебе такое есть. Покажи-ка мне еще разок свои игрушки. Надо прикинуть, какую цену за них спросить.

Я хоть и был рад, что он так явно смягчился, но ответил:

– Мне бы не хотелось этого, Станко. Кто-нибудь может войти, и мы еще наживем себе неприятностей.

– Да, не стоит, – согласился он. – Я их вчера довольно-таки подробно рассмотрел. Ты только не очень воображай насчет топазового ожерелья. Оно...

Хорошо, что я был готов к неожиданным вторжениям. Поломойка с ведром, тряпками и веником вошла и направилась наводить порядок в умывальной. Все время, пока она там орудовала, я молча сидел на нижней койке. И только когда она удалилась, стуча деревянными башмаками, я спросил, что, собственно, он хотел сказать.

- Я? – Он снова начал притворяться. – Ты хотел что-то от меня услышать, а я ничего говорить не собирался. Разве предупредить тебя, чтобы ты не слишком надеялся на топазовое ожерелье, которым ты вчера битый час любовался. Такая штукавина дорого стоит, если ее покупать у Фалине или Тиффани, а при продаже шиш за нее выручишь.
- А что в данном случае значит шиш?
- Сотня-другая франков.
- Это неплохо.
- Ты, дурья башка, верно, на все говоришь «неплохо!». В том-то и беда! Если б я мог с тобой пойти и взять все дело в свои руки!
- Ну, что вы, Станко, это было бы безответственно с моей стороны! У вас температура, и вам ни в коем случае нельзя вставать с постели.
- Ладно. Конечно, дворянской вотчины даже мне из такой брошки да гребня не выколотить. И из аграфы тоже, несмотря на сапфир. Самое верное дело – цепочка, за нее всякий выложит тысяч десять франков. За кольца тоже можно взять хорошие денежки, во всяком случае за рубиновое и еще за то, с серой жемчужиной. Словом, на глазок, тысяч восемнадцать все эти штучки стоят.
- Я тоже так считал, приблизительно, конечно.
- Скажите пожалуйста! Значит, и ты что-то кумекаешь в этом деле?
- Более или менее. Во Франкфурте моим любимым занятием было рассматривать витрины ювелирных магазинов. Но вы же не хотите сказать, что мне будет причитаться восемнадцать тысяч?
- Нет, золотце, этого я сказать не хочу. Но если ты сумеешь хоть немножко постоять за себя и не будешь все время твердить свое «неплохо», то половина тебе безусловно достанется.
- Следовательно, девять тысяч франков.
- Десять. Столько, сколько, по правде говоря, стоит одна эта бриллиантовая цепочка. Если ты не вовсе баба, то за меньшее не уступай.
- А куда вы мне посоветуете обратиться?
- Ага! Теперь красавчик ждет от меня подарочка. Уж не воображаешь ли ты, что я тебе отдам то, что знаю, за твои прекрасные глаза?
- Кто об этом говорит, Станко! Конечно, я готов выказать вам свою признательность. Но ваше вчерашнее требование насчет половины, право же, кажется мне чрезмерным.
- Чрезмерным? Да половинная доля в таком деле самая что ни на есть справедливая дележка, так даже и в писании сказано. Ты, верно, забыл, что без меня ты как рыба без воды, а вдобавок я еще могу выдать тебя дирекции. И ты жалеешь несколько несчастных тысяч франков?
- К этому вопросу, собственно говоря, все и сводится. Я бы считал справедливым

уделить вам треть из тех десяти тысяч, которые, по вашему мнению, я смогу выручить. Вам следовало бы хвалить меня за то, что я умею постоять за себя: теперь вы можете поверить, что я буду стоек и с кровопийцей-торговцем.

– Поди сюда, – сказал он и, когда я подошел, тихо, но отчетливо проговорил: – Quatre-vingt-douze[29 - номер девяносто два (франц.)], улица Небесной Лестницы.

– Quatre-vingt-douze улица...

– ...Небесной Лестницы. Ты что, оглох?

– Какое странное название!

– Она уже сотни лет так называется. Может, оно даже к добру, это название! Очень почтенная старая улочка, далековато только, где-то за Монмартрским кладбищем. Ты сначала добираться до Сакре-Кер, тут уж не заблудишься, затем иди через сад между церковью и кладбищем и дальше на улицу Дамремон в направлении бульвара Нея. Не доходя до угла, там где Дамремон упирается в Шампоне, налево будет улочка Разумных Дев, а от нее уже пойдет твоя Лестница. В общем, не заблудишься.

– Как зовут этого человека?

– Неважно. Он называет себя часовщиком и среди прочих дел занимается и этим. Иди, да смотри не будь овцой! Я сказал тебе адрес, просто чтобы от тебя отвязаться и полежать спокойно. Что же касается моей доли, так запомни, я в любую минуту могу тебя выдать.

И он повернулся ко мне спиной.

– Я вам очень обязан, Станко, – сказал я. – И можете быть уверены, у вас не будет оснований жаловаться на меня в дирекцию.

С этими словами я ушел, повторяя про себя адрес. Я вернулся в совсем уже пустую столовую; так как деваться мне было некуда, приходилось ждать, пока там, внизу, вспомнят обо мне. Битых два часа я просидел за одним из покрытых клеенкой столиков, не позволяя себе даже испытывать нетерпение, курил свои сигареты и думал. Стенные часы в столовой показывали уже десять, когда я услышал в коридоре чей-то голос, выкликнувший мое имя. Не успел я подойти к двери, как посланный за мной мальчишка уже распахнул ее.

– Феликса Круля – к главноуправляющему.

– Это я, друг мой. Разрешите мне пойти с вами. У меня сейчас достанет храбрости предстать даже перед президентом республики.

– С чем вас и поздравляю, – довольно дерзко ответил он на мое любезное обращение и смерил меня холодным взглядом. – Можете идти за мной, если вам угодно.

Мы спустились на четвертый этаж, где были гораздо более широкие коридоры, устланные красивыми красными дорожками; он вызвал лифт, которого нам пришлось немного подождать.

– Как это так вышло, что носорог желает самолично с тобой разговаривать? – спросил он меня.

– Вы имеете в виду господина Штюrcли? Знакомство. Личные связи. Но почему вы его называете носорогом?

– C'est son sobriquet[30 - это его прозвище (франц.)]. Прошу прощения, не я его выдумал.

– Не за что! Напротив, я благодарен за любую информацию, – отвечал я.

Лифт, освещенный электричеством и красиво отделанный деревянной панелью, был даже снабжен красной бархатной скамейкой. Его обслуживал юнец в песочного цвета ливрее с красными галунами. Он остановил машину сначала слишком высоко, потом слишком низко, так что нам пришлось прыгать в нее как бы с высокой ступеньки.

– Tu n'apprendras jamais, Eustache, – заметил ему мой проводник, – de manier cette gondole[31 - ты, Есташ, никогда не научишься управлять этой гондолой (франц.)].

– Pour toi je m'echaufferai![32 - Для тебя, что ли, буду стараться! (франц.)] – грубо ответил тот.

Мне это не понравилось, и я не удержался, чтобы не сказать:

– Людям подначальным не следовало бы обдавать друг друга презрением. Это вряд ли может укрепить их позицию в глазах власть имущих.

– Tiens, – воскликнул одернутый мною лифтер, – un philosophe![33 - Тоже еще философ нашелся! (франц.)]

Мы уже спустились вниз. Проходя по вестибюлю, мимо приемной и дальше, я обратил внимание на то, что мой провожатый искоса на меня поглядывает. Мне всегда было приятно, если я производил впечатление не только своей приятной внешностью, но и своими духовными качествами.

Кабинет главноуправляющего находился позади приемной; двери напротив него вели, как я успел заметить, в читальню и бильярдную. Мальчишка несмело постучался; в ответ на послышавшееся изнутри хрюканье он открыл дверь и, прижимая шапку к бедру, с поклоном впустил меня.

Господин Штюrcли, человек тучности необычайной, с седой остроконечной бородкой, казалось, не нашедшей себе прочного пристанища на его огромном двойном подбородке, сидел за письменным столом, перелистывая какие-то бумаги, и по началу не обратил на меня ни малейшего внимания. Внешность г-на Штюrcли сразу объяснила мне насмешливую кличку, которой наградил его персонал гостиницы, ибо его спина образовывала могучую выпуклость, затылок, казалось, был до отказа нашпигован салом, а кончик носа украшала торчащая наподобие рога бородавка, что окончательно убедило меня в меткости этого прозвания. При всем том руки, которыми он выравнивал бумаги, заталкивая их в стопку то с узкой, то с широкой стороны, были удивительно изящны и малы по сравнению со всей громадой его фигуры, впрочем, отнюдь не неуклюжей, но, как это подчас замечается даже у самых отчаянных толстяков, не лишенной известной элегантности в осанке.

– Итак, вы, – сказал он по-немецки с легким швейцарским акцентом; все еще занимаясь приведением в порядок бумаг, – тот самый рекомендованный мне молодой человек, Круль, если не ошибаюсь, G'est sa, который выразил желание у нас работать?

– Так точно, господин главноуправляющий, – отвечал я, почтительно приближаясь, что дало мне возможность – не в первый и не в последний раз – наблюдать своеобразный феномен. После того как господин Штюрцли взглянул на меня, на лице его появилось брезгливое выражение, бесспорно относившееся к тогдашней моей юношеской красоте. Мужчины, которых волнуют только женщины, – а господин Штюрцли со своей предприимчивой бородкой и элегантной тучностью, несомненно, принадлежал к таковым, – ощущают своего рода обиду, когда чувственно привлекательное предстает перед ними в мужском обличье, и это, надо думать, объясняется тем, что границу между чувственностью общего характера и чувственностью в более узком ее значении провести очень нелегко, природа же такого человека всеми силами противится воздействию этого второго значения и связанных с ним ассоциаций, отчего на его лице и появляются подобные рефлекторные гримасы. Разумеется, здесь речь идет о весьма поверхностном рефлексе, и человек справедливый, испытавший на себе такое смещение чувственных представлений, поставит это в вину скорее себе, чем тому, кто явился невольной причиной его краткого замешательства, и не будет с него за это взыскивать.

Так, конечно, поступил и господин Штюрцли, тем паче, что из уважения к его рефлексу я тотчас же скромно потупился. Он отнесся ко мне благосклонно и спросил:

– Что поделявает мой старый приятель Шиммельпристер, ваш дядюшка?

– Прошу прощения, господин главноуправляющий, – отвечал я, – господин Шиммельпристер мне не дядюшка, а крестный, что, пожалуй, еще больше. Благодарю вас, насколько мне известно, крестный пребывает в полном здравии. Как художник он пользуется большой известностью во всей Рейнской области и даже за ее пределами.

– Да, да... В самом деле? Имеет успех? Тем лучше, тем лучше... В свое время мы были большие приятели.

– Не стоит говорить, – продолжал я, – как я благодарен профессору Шиммельпристеру за то, что он замолвил за меня словечко перед господином главноуправляющим.

– Да, да! Так он ко всему еще и профессор? Как это так вышло? Mais passons[34 - ну, неважно (франц.)]. Он мне писал о вас, и я не хотел огорчить его отказом, мы ведь с ним немало вместе проказничали. Но должен вам сказать, друг мой, что дело обстоит не так-то просто. На какую должность вас пристроить? Вы, насколько я понимаю, не имеете ни малейшего понятия о работе в отеле и ничему еще не обучены...

– Я думаю, что с моей стороны не будет самонадеянностью, – возразил я, – заверить господина главноуправляющего, что прирожденные способности быстро возместят мне отсутствие специальной подготовки и приведут к должному успеху.

– Разве что у хорошеньких женщин, – отозвался он.

Сказал он это, как мне показалось, по следующим трем причинам. Во-первых, всякий француз, а господин Штюрцли давно уже стал таковым, обожает выражение «хорошенькая женщина», оно доставляет удовольствие и ему самому, и всем окружающим. «Une jolie femme»[35 - хорошенькая женщина (франц.)] – самое ходовое слово во Франции, на которое живо откликаются все сердца. Приблизительно такой же эффект производит в Мюнхене упоминание о пиве. Достаточно сказать «пиво», чтобы вызвать всеобщее оживление. Это во-первых. Во-вторых, шутливо упомянув о хорошеньких женщинах и о моем предполагаемом успехе у них, Штюрцли стремился побороть свое смятение, в известном смысле отвязаться от меня и, так сказать, сдать меня на руки прекрасному полу. Это я отлично понял. Но в-третьих, и, пожалуй, вразрез с

этим стремлением, он хотел заставить меня улыбнуться, что, конечно, привело бы к повторному приступу брезгливости. Однако в своем неразумии он именно этого и домогался. Я не мог отказать ему в улыбке, хотя знал, что из этого выйдет, и поспешил сопроводить ее словами:

– Не сомневаюсь, что в этой области, как, впрочем, и во всякой другой, я сильно отстаю от вас, господин главноуправляющий.

Мне не стоило затруднять себя столь учтивым оборотом, так как господин Штюрцли пропустил его мимо ушей; он видел только мою улыбку, и лицо его опять искривила гримаса неудовольствия. Но раз уж он свое получил, мне оставалось только вновь целомудренно потупить.

– Все это хорошо, молодой человек, – сказал он, – но вы ведь ни в какой мере не подготовлены к предстоящей вам карьере. Вы свалились к нам в Париж, как снег на голову. По-французски-то вы хоть говорите?

Это лило воду на мою мельницу. В душе я возликовал, разговор явно оборачивался в мою пользу. Здесь будет вполне уместно сказать несколько слов о моей способности к языкам, способности почти невероятной и таинственной. Мне не надо было изучать иностранные языки, ибо, космополит по самой своей природе, я носил в себе возможности всех народов, и стоило только чужеземной речи коснуться моего слуха, как я уже мог бойко воспроизвести ее, причем всегда говорил с такой подчеркнута национальной манерой, что это граничило уже с комедианством. Этот дар подражания, который не только не заставлял усомниться в моих языковых познаниях, но, напротив, придавал им величайшее правдоподобие, объяснялся тем, что я вдохновенно, экстатически вживался в дух чужого языка, вернее даже будет сказать, что этот дух вселялся в меня, а в состоянии транса, в свою очередь подстрекавшем меня на еще более дерзкое пародирование, слова, к моему собственному удивлению, один бог знает откуда слетались ко мне. Впрочем, что касается французского языка, то здесь беглость моей речи была несколько менее мистического происхождения.

– Ah, voyons, monsieur le directeur general, – аффективно затараторил я, – vous me demandez serieusement, si je parle francais? Mille fois pardon, mais cela m'amuse! De fait, c'est plus ou moins ma langue maternelle – ou plutot paternelle, parce que mon pauvre pere – qu'il repose en paix! – nourrissait dans son tendre coeur un amour presque passionne pour Paris et profitait de toute occasion pour s'arreter dans cette ville magnifique dont les recoins les plus intimes lui etaient familiers. Je vous assure: il connaissait des ruelles aussi perdues comme, disons, la Rue de l'Echelle au Ciel, bref, il se sentait chez soi a Paris comme nulle part au monde. La consequence? Voila la consequence. Ma propre education fut de bonne part francaise, et l'idl de la conversation, je l'ai toujours concue comme l'idee de la conversation francaise. Causer, c'etait pour moi causer en francais et la langue franeaise – ah, monsieur, cette langue de l'elegance, de la civilisation, de l'esprit, elle est la langue de la conversation, la conversation elle-meme... Pendant toute mon enfance heureuse j'ai cause avec une charmante demoiselle de Vevey – Vevey en Suisse – qui prenait soin du petit gars de bonne famille, et c'est elle qui m'a enseigne des vers francais, vers exquis que je me repete des que j'en ai le temps et qui litteralement fondent sur ma langue – Hirondelles de ma patrie, De mes amours ne me parlez-vous pas?

[36 - Ах, господин главноуправляющий, неужели вы всерьез спрашиваете меня, говорю ли я по-французски? Тысячу раз прошу извинения, но меня это рассмешило. Ведь это, собственно, почти мой родной язык – язык моей матери, вернее, отца, потому что мой бедный отец – царство ему небесное! – питал в своем нежном сердце необыкновенную любовь, можно сказать страсть, к Парижу и пользовался любым случаем, чтобы

подольше пожить в этом дивном городе, где ему были знакомы все закоулки. Уверяю вас, он знал даже такие захолустные улочки, как, например, улицу Небесной Лестницы, и по-настоящему дома чувствовал себя только в Париже. Что из этого следует? То, что я получил, в основном, французское воспитание. Разговор я воспринимал лишь как французский разговор. Болтать для меня значило болтать по-французски, – ах, мсье, ведь этот язык сама элегантность, сама цивилизация, остроумие, вот уж подлинно разговорный язык, да что там, это язык, созданный для беседы... В продолжение всего моего счастливого детства я болтал по-французски с очаровательной демуазель из Веве – из швейцарского Веве, – которая пеклась о моих манерах и подобающем воспитании. Это она научила меня французскому стихотворению, чудесному стихотворению, которое я так часто твержу про себя, и оно буквально сформировало мой язык: Ласточки моей родины, Не расскажете ли вы мне о моей любви? (франц.)]

– Да замолчите вы, – оборвал он мой речевой каскад. – И чтоб я больше не слышал стихов! Не терплю поэзии, от нее у меня желудок сводит. У нас в большом зале во время файф-о-клока иногда выступают французские поэты, те, у кого есть что надеть. Дамам это нравится, но я стараюсь забиться куда-нибудь подальше. Стихи меня в холодный пот вгоняют.

– Je suis desole, monsieur le directeur general. Je suis violemment tente de maudir la poesie[37 - Я в отчаянии, господин главноуправляющий, и на все лады кляню поэзию (франц.).]

– Хватит. Do you speak English?[38 - Вы говорите по-английски? (англ.)]

Говорил ли я по-английски? Нет, конечно, но мог притворяться минуты три, что говорю: на этот срок хватало того, что уловил мой слух в Лангеншвальбах и Франкфурте от тональности английской речи и тех крох словарного запаса, которые я подобрал там и сям. Сейчас важно было из ничего сделать нечто ослепительное, хотя бы на мгновение. Поэтому я прожурчал одними кончиками губ, не ослабившись и не артикулируя ртом, как невежды представляют себе речь детей Альбиона, а надменно задрал нос:

– I certainly do, Sir. Of course, Sir, quite naturally I do. Why shouldn't I? I love to, Sir. It's a very nice and comfortable language, very much so indeed. Sir, very. In my opinion, English is the language of the future, Sir. I'll bet you what you like, Sir, that in fifty years from now it will be at least the second language of every human being...[39 - Разумеется, сэр. Конечно же, говорю. Почему бы мне не говорить по-английски? Я очень люблю этот язык. Право же, он прелестен. По-моему, английский язык – это язык будущего. Я готов побиться об заклад, что через пятьдесят лет всякий человек, кроме своего родного языка, будет говорить еще и по-английски... (англ.)]

– Зачем вы крутите носом, в воздухе? Это лишнее. И ваши теории мне тоже не нужны. Я интересуюсь только, насколько вы владеете языками. Parla italiano?[40 - Говорите вы по-итальянски? (итал.)]

В ту же секунду я превратился в итальянца: никакой изысканности и журчания – огонь и страсть накатили на меня. Пламенным цветом распустилось во мне все, что я слышал из уст крестного Шиммельпристера, нередко и подолгу гостившего в этой солнечной стране. И я, то поводя рукой с плотно сжатыми пальцами перед самым своим носом, то вдруг широко их растопыривая, певуче затараторил:

– Ma Signore, che cosa mi domanda? Son veramente innamorato di questa bellissima lingua, la pid bella del mondo. Ho bisogno soltanto d'aprire la mia bocca e involontariamente diventa il fonte di tutta l'armonia di quest'idioma celeste. Si, caro Signore, per me non c'e dubbio che gli angeli nel cielo parlano italiano. Impossibile d'immaginare che queste beate creature si servano

d'una lingua meno musicale...[41 - Ну еще бы, синьор! Я буквально влюблен в этот прекраснейший язык, самый красивый в мире. Достаточно лишь открыть рот, и он независимо от моей воли становится источником гармонии небесных звуков. Да, дорогой синьор, я не сомневаюсь, что ангелы на небе говорят по-итальянски. Нельзя представить себе, что эти божественные существа пользуются языком менее музыкальным... (итал.)]

– Стоп! – крикнул он. – Вы уже опять впали в поэзию, хотя знаете, что мне от нее становится дурно. Неужели вы не можете помолчать? Человеку, служащему в хорошем отеле, это просто не подобает. Впрочем, выговор у вас неплохой и кое-какие лингвистические познания имеются. Даже большие, чем я ожидал. Что ж, попробуем вас, Кноль...

– Круль, господин главноуправляющий.

– Ne me corrigez pas![42 - Не поправляйте меня! (франц.)] По мне, можете называться Кналем. А ваше крестное имя?

– Феликс, господин главноуправляющий.

– Это меня не устраивает. Феликс – звучит необычно и слишком претенциозно. Вы будете зваться Арман...

– Перемена имени доставит мне величайшее удовольствие...

– Последнее не существенно. Арманом звали лифтера, который по случайному стечению обстоятельств сегодня от нас уходит. Завтра можете вступить в его должность. Попробуем вас в качестве лифтера.

– Смею вас заверить, господин главноуправляющий, что я сумею зарекомендовать себя на этой работе и свои обязанности буду выполнять лучше, чем Есташ.

– А чем плох Есташ?

– Подает машину или слишком низко, или слишком высоко, приходится делать головоломные прыжки. Но это, конечно, когда он возит, так сказать, «своего брата». С клиентами гостиницы, насколько я понял, Есташ более обходителен. Такая неровность в выполнении служебных обязанностей, по-моему, отнюдь не похвальна.

– При чем тут ваши похвалы? Вы что, социалист?

– Ни в какой мере, господин главноуправляющий. Общество, такое, как оно есть, представляется мне восхитительным, и я горю желанием снискать его благосклонность. Я только полагаю, что свое дело надо выполнять добросовестно, даже если оно тебе не по душе.

– Социалистов мы в своем предприятии не потерпим.

– Sa va sans dire, monsieur le...[43 - само собой разумеется, мсье... (франц.)]

– Можете идти, Круль! Подыщите себе на складе в подвальном этаже ливрею по росту! Ливрея выдается администрацией, но обувь у служащих своя... а я должен заметить, что ваши башмаки...

– Это случайный промах, господин главноуправляющий. Не позднее завтрашнего утра он будет полностью исправлен. Я понимаю, какие обязательства накладывает на человека служба в таком почтенном предприятии, и смею заверить, что мой внешний вид будет безупречен. Ливрея, если мне будет позволено это заметить, меня очень и очень радует. Крестный Шиммельпристер любил наряжать меня во всевозможные костюмы и всегда хвалил меня за то, что в каждом я чувствовал себя так, словно век носил его, хотя, собственно, прирожденное дарование вряд ли заслуживает похвалы. Но форму лифтера мне еще надевать не случалось.

– Не беда, – отвечал он, – если в этой ливрее вы будете производить впечатление на хорошеньких женщин. До свидания, сегодня вы здесь не понадобится. Погуляйте вечерком по Парижу. А завтра с утра пусть Есташ или кто-нибудь другой поедет с вами несколько раз вверх и вниз, приглядитесь к обращению с механизмом. Это штука несложная, и вы быстро ее освоите.

– Я буду бережно обращаться с лифтом, – последовал мой ответ, – и не успокоюсь, покуда он не будет останавливаться точно на уровне площадки. *Du rest'e, monsieur le directeur general*, – добавил я, и мои глаза увлажнились, – *les paroles me manquent pour exprimer...*[44 - Смею заверить, господин главноуправляющий, мне недостает слов, чтобы выразить... (франц.)]

– *C'est bien, c'est bien*[45 - хорошо, хорошо (франц.)], я занят, – пробормотал он и отвернулся; брезгливая гримаса опять промелькнула на его лице. Но меня это не огорчило. Я бегом бросился вниз по лестнице – мне ведь необходимо было еще утром побывать у вышеупомянутого часовщика, – без труда разыскал дверь с надписью «склад» и постучался. Маленький старичок в очках читал газету в помещении, походившем на лавку старьевщика или театральную костюмерную, столько там было развешано ливрей всех цветов и оттенков. Я сказал ему в чем дело, и оно тут же было улажено.

– *Et comme ca*, – заметил старик, – *tu voudrais t'appreter, mon petit, pour promener les jolies femmes en haut et en bas*[46 - ты, мой милый, будешь возить вверх и вниз хорошеньких женщин (франц.)].

У этой нации только одно на уме. Я подмигнул ему и заверил, что такова моя единственная мечта и задача.

Он окинул меня беглым взглядом, снял с вешалки одну из ливрей – штаны и куртку песочного цвета с красной оторочкой – и повесил все это мне на руку.

– Не лучше ли было бы примерить? – спросил я.

– Ни к чему, ни к чему. Раз я даю, значит, точно по мерке. *Dans cet emballage la marchandise attirera l'attention des jolies femmes*[47 - в этой упаковке товар привлечет внимание хорошеньких женщин (франц.)].

Старику, право же, пора было думать о чем-нибудь другом. Но он произносил это безотчетно, и я так же безотчетно опять подмигнул ему и, назвав его «*mon oncle*»[48 - дядюшка (франц.)], побожился, что ему одному буду обязан своей карьерой.

Из подвала я в лифте поднялся на пятый этаж. Я торопился, так как на душе у меня было беспокойно – не подберется ли Станко, пока я отсутствую, к моему чемоданчику? По дороге нас останавливали звонки. Господам, при входе которых я скромно жался к стенке, требовался лифт. Уже в вестибюле вошла дама (ей нужно было на второй этаж), в

бельэтаже – чета, говорившая между собой по-английски, чтобы подняться на третий. Дама, вошедшая первой, возбудила мое внимание; да, слово «возбудила» здесь очень и очень уместно, ибо я смотрел на нее с бьющимся, даже сладостно бьющимся сердцем. Эту даму я знал. Хотя сегодня на ней была не шляпа-клевш с перьями цапли, а другое, широкополое, отделанное атласом произведение дорогой модистки, на которое был наброшен белый вуаль, завязанный под подбородком бантом, с длинными, ниспадающими на пальто концами, и хотя пальто тоже было другое – более легкое и светлое, с большими, обвязанными по краям пуговицами, я ни на минуту не усомнился, что это моя соседка по таможенному досмотру, дама, с которой меня роднило обладание шкатулкой. Прежде всего я узнал ее по манере широко раскрывать глаза, удивившей меня во время ее объяснения с таможенным чиновником, но, очевидно, вошедшей в привычку, так как она и сегодня это проделывала уже без всякого повода. Да и вообще ее сами по себе некрасивые черты явно имели склонность нервозно искажаться. Больше я ничего не заметил в облике этой сорокалетней брюнетки, что заставило бы меня пожалеть о тех деликатного свойства узах, которые связали нас с ней. Маленькие темные усики на верхней губе были ей к лицу, а золотисто-коричневые глаза всегда нравились мне у женщин. Если б только она то и дело не тарасила их! Мне казалось, что я сумел бы мягко отговорить ее от этой назойливой привычки.

Итак, мы остановились в одном отеле, – если только к моему случаю можно было применить слово «остановиться». Чистая случайность помешала мне встретиться с ней в приемной у стола легко краснеющего господина. Близость ее в тесном пространстве лифта будоражила мои чувства. Не зная обо мне, никогда меня не увидев, да и сейчас меня не замечая, она носила в себе мой безликий образ с того самого мгновения, когда вчера вечером или сегодня утром, при распаковке чемодана, обнаружила пропажу шкатулки. Я невольно приписывал этим розыскам самый враждебный для меня смысл. Что ее мысли и расспросы обо мне должны были принять форму направленных против меня шагов, что она, быть может, как раз и возвращается оттуда, где эти шаги уже были предприняты, – такая догадка почему-то лишь бегло промелькнула в моем уме, не утвердилась в нем в качестве правдоподобного предположения и не смогла побороть очарования ситуации, когда ищущая и вопрошающая не подозревает, что тот, о ком она спрашивает, от нее так близок. Как я сожалел, благосклонный читатель, сожалел за нее и за себя, что эта близость будет столь краткосрочна – только до второго этажа! Выходя, дама, в мыслях которой я царил, сказала рыжеволосому лифтеру:

– Merci, Armand.

Такая обходительность не могла не броситься мне в глаза, ведь она совсем недавно прибыла и уже знает имя этого субъекта. Но, может быть, он давно ей известен, может быть, она частая гостья отеля «Сент-Джемс». Но еще больше меня поразило самое это имя и то, что как раз Арман везет нас. Словом, краткое пребывание в лифте было очень насыщенным.

– Кто эта дама? – спросил я из-за спины рыжего, когда мы поехали дальше.

Но этот остолоп не удостоил меня ответа. Тем не менее, выходя на четвертом этаже, я еще раз обратился к нему с вопросом:

– Скажите, вы тот самый Арман, что сегодня вечером уходит с должности?

– Не твое собачье дело, – нахально отрезал он.

– В какой-то мере все-таки мое, – отвечал я. – Теперь я – Арман. Я наследую вашу должность, но, разумеется, не вашу хамскую неотесанность.

– Imbecile![49 - Дурак! (франц.)] – отплатил он мне, захлопывая дверцу лифта у меня перед носом.

Станко спал, когда я снова вошел в дортуар номер четыре. С величайшей торопливостью я проделал следующее: взял из шкафа свой чемодан, снес его в умывальную, вынул шкатулку, которую честный Станко, слава богу, оставил нетронутой, сняв пиджак и жилет, надел на шею прелестное топазовое ожерелье, не без труда застегнув его на затылке. Затем я снова оделся и рассовал по карманам остальные, менее громоздкие драгоценности, в том числе и бриллиантовую цепочку. Покончив с этим, я поставил на место чемоданчик, повесил свою ливрею в шкаф около двери в коридор, надел куртку, шапку и побежал вниз по лестнице – наверно, из нежелания опять встретиться с Арманом, – чтобы тотчас же пуститься на розыски улицы Небесной Лестницы.

Хотя мои карманы были набиты драгоценностями, у меня не нашлось даже нескольких су на омнибус. Волей-неволей я потащился пешком, что было очень нелегко, так как приходилось все время спрашивать дорогу, да и ноги мои вскоре отяжелели из-за того, что улицы поднимались в гору. Мне понадобилось не менее сорока пяти минут, чтобы добраться до Монмартрского кладбища – пункта, о котором я и расспрашивал прохожих. Зато оттуда, поскольку сведения Станко оказались вполне достоверными, я быстро дошел до улицы Дамремон и переулка Разумных Дев, а повернув в него, уже через несколько шагов оказался у цели.

Такой гигантский город, как Париж, состоит из множества кварталов и приходо́в, по которым лишь в редких случаях можно догадаться о величии целого. За роскошным фасадом, ослепляющим иностранцев, метрополия укрывает мещанские провинциальные улицы, самодовольно живущие своей собственной жизнью. Из обитателей улицы Небесной Лестницы многие, вероятно, годами не видели сияния авеню Оперы и всесветной сутолоки Итальянского бульвара. Меня окружало идиллическое захолустье. На узкой мостовой играли дети. Вдоль мирных тротуаров рядком стояли незатейливые дома, в нижнем этаже некоторых из них помещались такие же незатейливые лавки колониальных товаров, мясная, булочная, чуть подальше – мастерская седельника. Где-то тут должна была быть и лавка часовщика. Номер девяносто два я нашел без труда. «Пьер Жан-Пьер, часовых дел мастер» – прочитал я на двери подле окна, в котором были выставлены всевозможные хронометры, карманные часы, мужские и дамские, жестяные будильники и дешевые каминные часы.

Я нажал ручку и вошел под звон колокольчика, приведенного в действие открывшейся дверью. Хозяин лавки, вставив в глаз лупу в деревянной оправе, сидел за стойкой, верх которой представлял собою стеклянный ящик, где тоже были разложены всевозможные часы и цепочки, углубленный в созерцание механизма карманных часов, надо думать, немало досадивших своему владельцу. Многоголосое тик-так наполняло помещенье.

– Здравствуйте, хозяин, – проговорил я. – Я, видите ли, хотел приобрести карманные часы с хорошенькой цепочкой.

– Кто же вам мешает это сделать, мой мальчик? – отвечал он, вынимая линзу из глаза. – Золотые вам, вероятно, не потребуются?

– Не обязательно, – отвечал я. – Блеск и мишура для меня значения не имеют. Мне важно качество часов и точность хода.

– Правильный взгляд на вещи. Так показать вам серебряные? – сказал он, раздвигая внутреннюю стенку стеклянного ящика, вынул оттуда несколько образцов своего товара

и положил их передо мной.

Это был сухонький старичок с желто-серыми волосами и бакенбардами, из тех, что начинают расти прямо под глазами и уныло свисают с той части лица, где бакенбардам положено закругляться. Такие унылые физиономии, к сожалению, встречаются довольно часто.

Держа в руках серебряные часы, которые он особенно горячо рекомендовал мне, я спросил, сколько они стоят. Он назвал цену – двадцать пять франков.

– Кстати, почтеннейший, – сказал я, – мне бы не хотелось покупать эти часы, которые мне, безусловно, по вкусу, за наличный расчет. Я предпочел бы вернуться к более старинной форме торговли – меновой. Взгляните-ка на это кольцо! – И я вытащил перстень с серой жемчужиной, который заранее переложил в потайной карманчик, нашитый на внутреннюю сторону правого кармана куртки.

– Мне хотелось бы, – пояснил я, – продать вам эту прелестную вещичку и получить от вас разницу между ее стоимостью и ценой часов, иными словами, оплатить часы из той суммы, которую я выручу за кольцо, или, еще по-другому, просить вас вычесть стоимость часов, на мой взгляд совершенно правильную, из тех, ну скажем, двух тысяч франков, которые вы мне, без сомнения, дадите за мою вещь. Что вы скажете относительно такой комбинации?

Прищурившись, он впился глазами в кольцо у меня на ладони и затем так же пронзительно посмотрел мне в лицо, его уродливые щеки при этом слегка дрогнули.

– Кто вы такой и откуда у вас это кольцо? – спросил он сдавленным голосом. – За кого вы меня считаете и как вы смеете предлагать мне подобную сделку? Убирайтесь сейчас же вон – я человек честный.

Я грустно опустил голову и после краткого молчания мягко сказал:

– Господин Жан-Пьер, вы находитесь в заблуждении. И это заблуждение вызвано недоверием, которое мне следовало предвидеть; но вас от него все же должно было бы предохранить ваше знание людей. Вы смотрите на меня – ну и что? Похож я на... на того, за кого вы меня принимаете? Что у вас поначалу промелькнула такая мысль, вполне естественно, и мне обижаться не приходится. Но теперь, когда вы ко мне присмотрелись, я, правда же, буду удивлен, если вы не перемените своего мнения.

Он продолжал, то быстро вскидывая, то снова опуская голову, попеременно рассматривать мое кольцо и меня.

– Откуда вы знаете мою фирму? – поинтересовался он наконец.

– От одного товарища по работе и по комнате, – отвечал я. – В настоящее время он не совсем здоров. Если угодно, я передам ему ваш поклон и пожелание скорейшего выздоровления. Звать его Станко.

Он все еще колебался и с трясущимися щеками смотрел то на меня, то на кольцо. Но я уже отлично видел, что желание завладеть драгоценностью берет у него верх над осторожностью. Оглянувшись на дверь, он взял кольцо у меня из рук и торопливо вернулся на свое место за стойкой, чтобы рассмотреть его в лупу.

– Здесь имеется один дефект, – объявил он, исследовав жемчужину.

- Это для меня новость, – отвечал я.
- Охотно верю. Такой дефект может обнаружить только специалист.
- Ну, столь незаметный дефект вряд ли может играть роль при оценке вещи. А разрешите спросить, как обстоит дело с бриллиантами?
- Ерунда, осколки, розочки, словом, дрянь, просто так, для декорации. Сто франков, – объявил он и бросил кольцо на стойку, впрочем ближе ко мне, чем к себе.
- Я, вероятно, ослышался?
- Если вы туги на ухо, молодой человек, то забирайте этот мусор – и скатертью дорожка!
- Но в таком случае я не куплю часов.
- Je m'en fiche[50 - мне наплевать (франц.)], – отвечал он. – Всего наилучшего.

– Послушайте, господин Жан-Пьер, – снова начал я. – Вы уж простите меня за невежливость, но я должен сказать вам, что вы свои дела ведете спустя рукава. Из-за чрезмерного скряжничества прерываете переговоры, которые мы еще только начали, и совершенно упускаете из виду, что кольцо, как бы оно ни было ценно, возможно, не составляет и сотой доли того, что я собираюсь вам предложить. И это, замечу вам, не фантазия, а факт, почему я и советовал бы вам в общении со мной этим фактом руководствоваться.

Он пристально посмотрел на меня, и его противные щеки затряслись еще сильнее. Бросив опять взгляд на дверь, он кивнул головой и процедил сквозь зубы:

– Поди сюда!

Затем он взял кольцо, пропустил меня за стойку, открыл дверь в душное помещение без окон и зажег там ярко все осветившую газовую лампу над круглым столом, покрытым плюшевой, а поверх нее еще и вязаной скатертью. В комнате стояли safe, или несгораемый шкаф, и маленький секретер, так что она представляла собой нечто среднее между гостиной мелкого буржуа и конторой.

– А ну выкладывай, что там у тебя есть! – приказал часовщик.

– Разрешите мне сначала раздеться, – возразил я, снимая куртку. – Так-то оно лучше. – И я начал, раз за разом, вытаскивать из карманов черепаховый гребень, аграф с сапфиром, брошку в виде корзиночки с фруктами, браслет с жемчужиной, рубиновое кольцо и в качестве козырного туза – бриллиантовое кольцо, аккуратно раскладывая все эти вещи на вязаной скатерти. Под конец, скинув с разрешения хозяина пиджак, я снял с шеи топазовое ожерелье и приложил его к остальным сокровищам.

– Ну, что скажете? – горделиво спросил я.

Я заметил, что у него блеснули глаза, и он невольно причмокнул губами, но поспешил сделать вид, что ждал большего, и сухо осведомился:

– Это все?

– Все? – переспросил я. – Ей-богу, почтеннейший, вы напрасно стараетесь изобразить, будто вам каждый день приносят такие коллекции.

– А тебе, видно, приспичило разделаться с этой коллекцией?

– Не переоценивайте пылкость моего желания, – нашелся я. – Но если вы меня спросите, готов ли я отдать ее за разумную цену, то я отвечу утвердительно.

– Молодец, – отвечал он, – тебе благоразумия, видно, не занимать стать.

С этими словами он придвинул к столу одно из ковровых кресел, уселся и стал рассматривать каждую вещь в отдельности. Не дожидаясь приглашения, я тоже сел на стул, положил ногу на ногу и принялся наблюдать за ним. У него явственно дрожали руки, когда он брался за очередной предмет, обследовал его и затем не столько клал, сколько швырял обратно на стол. То была, несомненно, дрожь алчности, хотя он недоуменно пожимал плечами, в особенности когда – а это он сделал два раза, – повесив на руку бриллиантовую цепочку и дохнув на камни, начинал медленно пропускать ее между пальцами. Тем нелепее прозвучало его заявление, после того как он символически обвел рукой все лежащее на столе:

– Пятьсот франков.

– Позвольте спросить, за что именно?

– За все.

– Вы шутите.

– Нам, молодой человек, сейчас обоим не до шуток. За пятьсот можешь оставить мне свой улов. Говори, да или нет.

– Нет, – отвечал я, вставая. – И не подумаю. С вашего разрешения я забираю свои сувениры, так как вижу, что меня здесь хотят надуть самым недостойным образом.

– Что и говорить, достоинство тебе к лицу, – съязвил он. – И характер у тебя сильный, не по возрасту. А так как это заслуживает поощрения, то я дам тебе шестьсот франков.

– Выказывая такую щедрость, вы, несомненно, продолжаете шутить. Я, милостивый государь, выгляжу моложе своих лет, но, обращаясь со мной, как с ребенком, вы ничего не добьетесь. Мне известна реальная стоимость этих вещей, и хотя я не настолько наивен, чтобы предположить, что смогу выручить за них настоящую цену, но и предложений просто безнравственных тоже не потерплю. В конце концов конкуренция существует также и на этом поприще, и я найду к кому обратиться.

– У тебя язык хорошо подвешен, вдобавок к прочим твоим талантам. Но как тебе не приходит в голову, что конкуренты, которыми ты мне угрожаешь, в сговоре и держатся одних и тех же принципов.

– Весь вопрос, Жан-Пьер, сводится к тому, купите вы мои вещи или это сделает кто-нибудь другой.

– Я не прочь приобрести их, и, как мы уже говорили, по вполне разумной цене.

– Которая составляет...

– Семьсот франков – это мое последнее слово.

Я молча принялся рассовывать по карманам свое добро и прежде всего спрятал бриллиантовую цепочку.

Он смотрел на меня, и щеки у него тряслись.

– Дурак, – не выдержал он, – не умеешь ценить своего счастья. Ты только подумай, какая это куча денег – семьсот или восемьсот франков: для меня, который их выложит, и для тебя, который их положит в карман! Чего-чего только ты не приобретешь на... ну, скажем, на восемьсот пятьдесят франков: красивых женщин, одежду, билеты в театр, великолепные обеды, – а ты, дурень несчастный, вместо этого хочешь и дальше таскать эти штуки в кармане. Ты уверен, что за дверью тебя уже не ждут полицейские? И мой риск тоже надо принять во внимание.

– Какой риск? – спросил я и на всякий случай добавил: – Вы что, в газетах читали об этих драгоценностях?

– Пока еще не читал.

– Вот видите! Хотя здесь дело идет не меньше чем о восемнадцати тысячах франков! Ваш риск нечто чисто теоретическое. Тем не менее я его приму во внимание, как если бы он действительно существовал, ибо в настоящее время испытываю денежные затруднения. Дайте мне половину стоимости этих вещей – девять тысяч, и я признаю сделку справедливой.

Он нарочито расхохотался, и мне пришлось с величайшим неудовольствием созерцать огрызки испорченных зубов у него во рту. Потом визгливым голосом несколько раз повторил ту же цифру и наконец заявил:

– Ты с ума сошел.

– Названную цифру я считаю вашим первым словом после последнего, сказанного ранее. Но вам и ее придется пересмотреть.

– Послушай-ка, малец, это ведь первая сделка, которую ты заключаешь.

– Ну, и что с того? – отвечал я. – Отнеситесь с уважением к дебюту нового таланта! Не отталкивайте его от себя нелепой скаредностью, а, напротив, постарайтесь привлечь его широтой, подумайте о том, сколько раз еще он сможет быть вам полезен, этот человек, которого вы отправляете к другим скупщикам, более прозорливым.

Он смотрел на меня, опешив, и, без сомнения, взвешивал в своем закоснелом сердце слова, которые я сказал ему. Я поспешил воспользоваться минутой и добавил:

– Какой нам смысл, господин Жан-Пьер, спорить и заниматься торгом и переторжкой. Надо набраться терпения и оценить эту коллекцию в целом.

– Что ж, я не прочь, – ответил он. – Давайте произведем подсчет.

Но тут я допустил грубейшую ошибку. Разумеется, при оптовой цене я бы тоже никогда не выторговал у него девяти тысяч франков, но борьба за оценку каждой вещи в отдельности, которая началась, покуда мы сидели за столом и часовщик записывал в

блокнот свои гнусные расчеты, принудила меня к излишней уступчивости. Продолжалась эта история долго, не менее сорока пяти минут. Меж тем в лавке зазвенел колокольчик, и Жан-Пьер пошел отворять, шепотом приказав мне:

– Сиди и не дыши!

Он скоро пришел обратно, и торг продолжался. Цену за бриллиантовую цепочку я довел до двух тысяч франков, но если это и была победа, то, безусловно, единственная. Тщетно призывал я небеса в свидетели удивительной красоты топазового ожерелья, ценности сапфира, украшавшего собой аграф, белой жемчужины из браслета, рубина и дымчатого жемчуга. За кольца мы сошлись на полутора тысячах. Все остальное, исключая цепочки, после долгой борьбы было оценено не ниже пятидесяти и не выше трехсот франков. Общая сумма составила четыре тысячи четыреста пятьдесят франков, и этот мошенник еще ужасался и уверял, что теперь пойдет по миру он и вся его семья. Вдобавок он еще объявил, что если так, то серебряные часы, которые я покупаю, будут стоить не двадцать пять, а пятьдесят франков, то есть столько, сколько он собирался заплатить за прелестную брошку-корзиночку. По такому счету мне причиталось четыре тысячи четыреста франков. «А Станко?» – подумал я. Мой доход был обременен большим долгом. И тем не менее мне оставалось только произнести свое «entendu»[51 - решено (франц.)]. Жан-Пьер отпер железный сейф, под моим скорбным прощальным взглядом упрятал туда свою добычу и выложил на стол кредитные билеты – четыре тысячных и четыре сотенных.

Я покачал головой.

– Не будете ли вы добры дать мне купюры помельче, – сказал я, пододвигая к нему тысячные кредитки.

– Bravo, bravo! – воскликнул он. – Я хотел испытать твое чувство такта. Ты не хочешь пускать пыль в глаза, когда пойдешь за покупками. Мне это нравится. Да ты мне и вообще-то нравишься, – продолжал он, разменивая тысячные билеты на сотенные с добавлением нескольких золотых монет и кучки серебряных, – я бы никогда не пошел на такую преступно расточительную сделку, если бы ты не внушил мне доверия. Сам видишь, что я хочу поддерживать с тобой связь. Из тебя, безусловно, может выйти толк. Ты весь какой-то солнечный. Кстати, как тебя зовут?

– Арман.

– Ну, Арман, приходи опять и докажи этим, что ты умеешь быть благодарным. Вот твои часы. А цепочку к ним я тебе дарю. (Она ломаного гроша не стоила). До свидания, мой мальчик! Не забывай меня. Пока мы тут обделывали дело, я, можно сказать, в тебя влюбился.

– Вам прекрасно удалось совладать со своим чувством.

– Ничуть не удалось.

Так мы расстались. Я поехал в omnibusе до бульвара Османа и в одном из ответвлявшихся от него переулков разыскал обувной магазин, где и приобрел себе пару отличных башмаков солидного вида и в то же время красиво облегающих ногу, в которых я остался, заметив продавцу, что на старые больше и смотреть не хочу. Рядом, в универсальном магазине «Весна», бродя из отделения в отделение, я накупил разных необходимых мелочей: три или четыре воротничка, галстук, шелковую рубашку, мягкую фетровую шляпу вместо своей шапки, которую я просто засунул в карман куртки, зонтик в

футляре, превращавшем его в трость – он мне страшно понравился, – замшевые перчатки и бумажник из кожи ящерицы. Затем я прошел в отдел готового платья, где недолго думая приобрел очень приятный костюм из мягкой и теплой шерстяной материи, точно на меня сшитый; в сочетании с крахмальным воротничком и синим галстуком в белый горошек он был мне очень к лицу. Костюм мне тоже не захотелось снимать, я попросил выслать мне мою старую оболочку и шутки ради оставил адрес: «Пьер Жан-Пьер, номер девяносто два, улица Небесной Лестницы».

Я превосходно себя чувствовал, выходя из «Весны» в этом новом обличье, с тростью и пакетом, перевязанным красным шнурочком, в руках, обтянутых замшевыми перчатками, с мыслью о женщине, которая носит в душе мой безликий образ и расспрашивает обо мне теперь, как мне казалось, более достойном ее расспросов. Конечно же, она порадовалась бы вместе со мной тому, что отныне мой изящный вид лучше соответствует нашим отношениям! Но за всеми этими хлопотами день уже стал клониться к вечеру, и я почувствовал голод. В одном из трактиров средней руки я заказал себе отнюдь не пиршественный, но сытный обед: рыбный суп, хороший бифштекс с гарниром, сыр, фрукты и две кружки пива. Утолив голод, я решил часок-другой провести так, как проводили время те, на кого я с завистью смотрел вчера из окна омнибуса: а именно – посидеть под навесом кафе на Итальянском бульваре, любясь на суету и сутолоку парижской улицы. Так я и сделал. Усевшись за столиком поближе к теплу жаровни, я закинул ногу за ногу, закурил и, попивая ликер, стал смотреть то перед собой на шумливое, пестрое шествие жизни, то вниз на свою ногу в красивом, с иголки, башмаке, которой я небрежно помахивал в воздухе. Так я сидел с добрый час и, вероятно, просидел бы и дольше, если бы под моим столиком и вокруг него не столпилось слишком много «ползунов», подбирающих отбросы. Я потихоньку сунул франк оборванному старику и десять су какому-то мальчишке в лохмотьях, которые подняли с полу мои окурки. Они были вне себя от радости, но это привлекло к моему столику такое количество их собратьев, что я, поскольку одному человеку все равно невозможно насытить всех алчущих, вынужден был обратиться в бегство. Тем не менее я должен признаться, что возможность оказать людям посильное вспомоществование, о котором я думал еще накануне вечером, сыграла известную роль в моей тяге к подобному времяпрепровождению.

Вообще же, покуда я там сидел, меня главным образом одолевали финансовые заботы, не выходявшие у меня из головы и позднее, уже за другими занятиями. Как быть со Станко? Передо мной был нелегкий выбор, ибо мне предстояло либо признаться ему, что я оказался слишком неловким и ребячливым, чтобы получить за свой товар цену, хотя бы приблизительно равную той, которую он так уверенно назначил, и, расписавшись в этой постыдной неудаче, вручить ему тысячу пятьсот франков, либо, выходящим для него образом отстаивая свою честь, наврать, что я выторговал сумму, близкую к той, на которую он рассчитывал, и отдать ему вдвое больше денег, но в таком случае у меня на руках осталось бы нечто весьма жалкое и смахивающее на то, что Жан-Пьер имел наглость по началу предложить мне. На что решиться? В глубине души я уже чувствовал, что моя гордость, или, вернее, тщеславие, возьмет верх над корыстью.

Что касается моего времяпрепровождения после кафе, то за весьма умеренную входную плату я получил возможность полюбоваться великолепнейшей панорамой, где на фоне кругового ландшафта виднелись объятые пламенем деревни и поле битвы под Аустерлицем, кишевшее русскими, австрийскими и французскими войсками; панорама была выполнена так хорошо, что невозможно было провести границу между нарисованным в дальней перспективе и подлинным на переднем плане, где валялось брошенное оружие, ранцы и куклы, изображавшие павших воинов. Император Наполеон, окруженный свитой, стоя на холме, наблюдал в подзорную трубу за ходом сражения. Взволнованный этим зрелищем, я решил посетить еще одно – паноптикум, где на каждом

шагу, объятый радостным испугом, ты сталкиваешься с монархами, отважными контрабандистами, великими мастерами искусств и знаменитыми женоубийцами, да так, что, кажется, вот-вот они с тобой заговорят. Аббат Лист с длинными седыми волосами и натуральной бородавкой на щеке сидел там за роялем, одной ногой нажимая педаль, воздев взоры к небу и восковыми руками касаясь клавиш; а рядом с ним генерал Базен подносил к виску револьвер, но курка так и не спускал. Захватывающие впечатления для юного ума, но моя способность восприятия, несмотря на Листа и Лессепса, еще не истощилась. Настал вечер, суля новые и новые впечатления. Париж, как вчера, осветился пестрыми, то угасающими, то вновь вспыхивающими огнями реклам, и я, еще пошатавшись по улицам, зашел часа на полтора в варьете, где морские львы жонглировали зажженными керосиновыми лампами; фокусник толк в ступке чьи-то золотые часы, а потом в целостности и сохранности вытаскивал их из заднего кармана ни в чем не повинного зрителя в одном из последних рядов партера; бледная как полотно певица в черных перчатках до локтя замогильным голосом бросала в лицо зрителям мрачные непристойности, и какой-то господин мастерски занимался чревоуещанием. Я, впрочем, не дождался конца этой роскошной программы, так как хотел еще выпить где-нибудь чашку шоколада, а домой мне надо было поспеть прежде, чем наш дортуар наполнится народом.

По авеню Оперы и улице Пирамид я вернулся на ставшую мне уже родной Сент-Оноре и, не доходя до отеля, снял перчатки, так как подумал, что вместе с обновленным туалетом они придадут мне слишком уж вызывающий вид. Впрочем, пока я поднимался до четвертого этажа в лифте, все время переполненном, никто не обратил на меня внимания. Зато Станко вытаращил глаза, когда я, пройдя еще один пролет пешком, предстал перед ним в тусклом свете дортуарной лампочки.

– Norn d'un chien![52 - Черт возьми! (франц.)] – воскликнул он. – Вот это так вырядился! Видно, здорово обстригал дельце!

– Недурно, – отвечал я, раздеваясь и подходя к его койке. – Очень недурно, Станко, хотя и не совсем так, как мы надеялись. Этот тип все же оказался не из худших; он довольно обходителен, если, конечно, сумеешь к нему подойти и держать ухо востро. До девяти тысяч я доторговался. А теперь разрешите мне выполнить свое обязательство. – И, став на край нижней койки обутыми в щегольские ботинки ногами, я вынул из своего новенького, битком набитого бумажника три тысячи франков, пересчитал их и положил ему на байковое одеяло.

– Мошенник! – воскликнул он. – Ты с него получил двенадцать тысяч.

– Клянусь вам, Станко...

Он расхохотался.

– Не горячись, голубок! Я знаю, что ты не заработал ни двенадцати, ни даже девяти тысяч франков, а от силы пять. Я хоть и лежу еще в постели, но жар у меня прошел, а в такие минуты человек от слабости становится добрым. Поэтому я тебе сознаюсь, что я и сам не выжал бы у него больше четырех, в лучшем случае пяти тысяч. На вот, получай тысячу обратно. Мы оба люди добропорядочные, так ведь? Я в восторге от нас с тобой. Embrassons-nous! Et bonne nuit![53 - Поцелуемся! Спокойной ночи! (франц.)]

Право же, ничего нет легче, как быть лифтером. Тут и учиться-то почти ничему не надо, а так как я очень нравился себе в новой ливрее, и не только себе, а, судя по некоторым взглядам, и моей великосветской клиентуре, и к тому же ощущал прилив бодрости от существования под новым именем, то поначалу я искренне радовался своей работе. Впрочем, сама по себе пустячная, эта служба, если выполнять ее с краткими перерывами от семи утра почти до полуночи, становится изрядно утомительной, и после такого дня человек влезает на верхнюю койку сломленный морально и физически. Шестнадцать часов подряд, за вычетом тех скудно отмеренных минут, когда персонал гостиницы завтракает, обедает и ужинает, кстати сказать, из рук вон плохо, в тесном помещении между залом ресторана и кухней; кстати сказать, малыш Боб, к сожалению, был совершенно прав, пища, которую нам давали, настраивала на ворчливый лад и состояла из всевозможных неаппетитно приготовленных остатков. Мне лично эти сомнительные рагу и фрикассе, к которым подавалось немного кислого petit vin du pays[54 - местного вина (франц.)], всегда казались жизнеопасными; должен прямо заметить, что более безрадостно мне приходилось питаться только в тюрьме. Итак, проводя шестнадцать часов на ногах, в пропитанной духами тесной кабине, вертя ручку, то и дело взглядывая на доску с выскакивающими на ней по звонку номерами этажей, впуская и выпуская пассажиров, ежеминутно останавливая машину при подъеме и при спуске, я только удивлялся дурацкому нетерпению постояльцев, которые непрерывно трезвонили из вестибюля, не понимая, что я не могу в мгновение ока слететь к ним с четвертого этажа, если на каждой площадке мне приходится выходить, чтобы с учтивым поклоном и любезнейшей улыбкой впустить торопящихся вниз пассажиров.

Я непрерывно улыбался, говорил: «M'sieur et dame»[55 - господин и мадам (франц.)] и «Watch your step»[56 - осторожнее (англ.)], что было уж вовсе бессмысленно, так как к концу первого же дня я научился останавливать лифт точно вровень с площадкой или по крайней мере мгновенно его выравнивать. Пожилых дам я учтиво поддерживал под локоть, словно выход из лифта был невесть каким трудным делом, и нередко получал в награду слегка сконфуженный, а иногда и меланхолически-кокетливый взгляд, которым отцветшая жизнь поощряет учтивую молодость. Другие, напротив, подавляли в себе чувство невольного восхищения или даже не подавляли, так как их сердца давно очерствели и, кроме классового высокомерия, в них ни для чего не оставалось места. Иногда я оказывал те же услуги молодым женщинам; они слегка краснели и бормотали благодарность за внимание, что несколько разнообразило мою унылую работу. Но думал я лишь об одной, и беглое заигрывание с другими было только репетицией желанной встречи с нею. Я ждал ту, которая зримо жила в моих мыслях и в своих носила мой незримый образ; я говорю о владелице шкатулки, дарительнице башмаков, зонта-трости и выходного костюма, ту, с которой меня связывала сладостная тайна. И я знал, что недолго буду ждать ее, если только она внезапно не уехала из гостиницы.

И правда, на следующий день под вечер, часов в пять, когда Есташ со своей подъемной машиной тоже находился внизу, она появилась в вестибюле, с вуалью поверх шляпы, такой, какую я уже однажды ее видел. Мы оба, мой невзрачный коллега и я, стояли перед раскрытыми дверьми своих лифтов; напротив нас она замедлила шаг и, увидев меня, широко раскрыла глаза, даже чуть покачнулась, не зная, какой лифт ей выбрать. Ее, несомненно, потянуло к моему, но так как Есташ уже отступил от двери и сделал пригласительный жест, то она, вероятно подумав, что теперь его очередь везти пассажиров, вошла в кабину, еще раз широко раскрыв глаза, глянула на меня через плечо и унеслась ввысь. Больше ничего в тот раз не произошло, если не считать, что при новой встрече внизу с Есташем я узнал от него ее имя – мадам Гупфле из Страсбурга. «Impudemment riche, tu sais»[57 - безбожно богата (франц.)], – добавил Есташ. Но я осадил его холодным: «Tant mieux pour elle»[58 - тем лучше для нее (франц.)].

На другой день, в тот же самый час, когда остальных лифтов на месте не было и только я

еще стоял, дожидаясь пассажиров, она снова прошла через вертящуюся дверь, на сей раз в норковом полудлинном пальто и в берете из того же прекрасного меха; она, верно, ездила по магазинам, так как в руках у нее было несколько небольших, элегантного вида пакетов, а одну какую-то коробку она прижимала к себе локтем. Завидя меня, она удовлетворенно кивнула, улыбкой ответила на мой возглас: «Мадам!» – сопровождаемый учтивым поклоном и скорее походивший на приглашение к танцу, шагнула и оказалась вместе со мной в ярко освещенной комнатке, тут же взмывшей кверху. В эту секунду послышался звонок с четвертого этажа.

– Deuxieme, n'est-ce pas, Madame?[59 - На второй, не так ли, мадам? (франц.)] – осведомился я, ибо она не дала мне никаких указаний.

– Mais oui, deuxieme, – подтвердила она. – Comment savez-vous?[60 - Да, на второй. Откуда вы знаете? (франц.)]

– Je le sais, tout simplement[61 - знаю, да и все (франц.)].

– А! Новый Арман, если не ошибаюсь?

– К вашим услугам, мадам.

– Ну что ж, это приятная замена.

– Trop aimable, Madame[62 - вы слишком любезны, мадам (франц.)].

У нее был мягкий, нервно вибрирующий альт. Но не успел я это подумать, как она заговорила о моем голосе.

– Мне хочется похвалить вас за приятный голос.

Слова консисториального советника Шато!

– Je serais infiniment content, Madame, – отвечал я, – si ma voix n'offensait pas votre oreille! [63 - Я бесконечно рад, мадам, если мой голос не оскорбляет вашего уха! (франц.)]

Сверху опять позвонили. Мы были на втором этаже. Она вдруг добавила:

– C'est en effet une oreille musicale et sensible. Du reste, l'ouïe n'est pas le seul de mes sens qui est susceptible.[64 - И это ухо музыкальное и чувствительное. Впрочем, слух – это не единственное из моих чувств, которое обладает восприимчивостью (франц.)]

Удивительная женщина! Я поддержал ее под локоть, словно ей грозила какая-то опасность, и сказал:

– Разрешите, мадам, освободить вас наконец от этого груза и донести его до вашей комнаты!

С этими словами я стал брать у нее из рук один пакет за другим и, бросив свой лифт на произвол судьбы, пошел за ней по коридору. Мы сделали не больше двадцати шагов. Она открыла двадцать третий номер по левой руке и вошла впереди меня в спальню, откуда распахнутая дверь вела в гостиную. Это была роскошная спальня с паркетным полом, устланном персидским ковром, с мебелью вишневого дерева, сверкающим туалетным прибором, с широкой металлической кроватью, покрытой стеганым атласным одеялом, и серой бархатной качалкой. На эту качалку и на стеклянную доску маленького столика я

положил пакеты; мадам в это время снимала берет и расстегивала шубку.

– Моя камеристка не знает, что я пришла, ее комната этажом выше. Не будете ли вы и дальше так любезны и не поможете ли мне снять пальто?

– С величайшим удовольствием, – отвечал я, принимаясь за дело. Покуда я снимал с ее плеч подбитый шелком мех, еще хранивший тепло ее тела, она повернула ко мне голову с пышными каштановыми волосами и волнистой седой прядью, задорно выбивавшейся на лоб и казавшейся еще светлее по сравнению с копной темных волос, широко раскрыла глаза, потом мечтательно зажмурила их – и вот что она сказала:

– Ты раздеваешь меня, отважный холоп?

Невероятная женщина, и как это было сказано! Ошарашенный, я все же сумел собраться с духом для ответа:

– Если бы богу было угодно, мадам, и если бы время позволило, я с наслаждением продолжал бы это прелестное занятие.

– У тебя нет времени для меня?

– Увы, мадам, в настоящую минуту нет. Лифт стоит на втором этаже с открытой дверью. Его требуют снизу и сверху, да и здесь перед ним, наверно, собралось уж немало народа. Я потеряю место, если тотчас же не вернусь к своим обязанностям...

– Но у тебя нашлось бы время для меня, будь у тебя время?

– Да, и бесконечно много, мадам!

– Когда у тебя будет время для меня? – настойчиво спросила она. Глаза ее широко открылись, приняли хмельное выражение, и она вплотную подошла ко мне в своем серо-голубом, облегающем фигуру английском костюме.

– В одиннадцать моя работа кончается, – тихо сказал я.

– Я буду тебя ждать, – так же тихо ответила она. – Вот тебе залог! – И прежде чем я успел опомниться, моя голова оказалась между ее ладоней, а рот ее прижался к моему для поцелуя, такого проникновенного, такого глубокого, что он доподлинно стал связующим нас залогом.

Наверно, я был несколько бледен, когда положил на качалку ее жакет, который все еще держал в руках, и направился к двери. У лифта, действительно в полном недоумении, стояли три человека, перед которыми я поспешил извиниться не только за свое отсутствие, но и за то, что, прежде чем везти их вниз, мне пришлось подняться с ними на четвертый этаж, откуда вызывали лифт и где уже никого не оказалось. Внизу мне наговорили немало грубостей за учиненный мной беспорядок, но я тотчас пресек их, объяснив, что одна дама внезапно почувствовала приступ слабости и мне пришлось проводить ее до ее номера.

Мадам Гупфле – и слабость? Женщина прыти необыкновенной! Правда, что этой прыти немало способствовали существенная разница в возрасте и мое подчиненное положение, которое она охарактеризовала так необычно и высокомерно. «Отважный холоп», – назвала она меня. Особа с несомненной поэтической жилкой! «Ты раздеваешь меня, отважный холоп?» Неотвязное слово, оно весь вечер не шло у меня из головы, все

те шесть часов, которые надо было прожить, прежде чем у меня «будет время для нее». Оно немножко уязвило меня, это слово, но, с другой стороны, преисполнило гордости – я гордился отвагой, которой, собственно, не обладал, но которую она навязала, можно даже сказать, продиктовала мне. Так или иначе, но сейчас у меня ее было в избытке. Она вдохнула в меня отвагу – и прежде всего через тот связующий залог.

В семь часов я вез ее вниз к обеду. Она вошла ко мне в кабину, где уже было несколько пассажиров в вечерних туалетах, спускавшихся в ресторан из верхних этажей, в восхитительном платье из белого шелка с коротким шлейфом, с кружевами и вышитой туникой, перетянутой в талии черным бархатным поясом; на шее у нее было кольцо из молочно-белых мерцающих и безупречно ровных жемчужин, которое на ее счастье – и на горе часовых дел мастера Жан-Пьера – не лежало в шкатулке. Я был поражен ее высокомерным невниманием ко мне – и это после столь проникновенного поцелуя! И тотчас же отомстил ей, поддерживая за локоть не ее, а разряженную и похожую на призрак старуху. Мне почудилось, что она смеется над моей милосердной галантностью.

В котором часу вернулась она в свою комнату, я так и не узнал. Но время близилось к одиннадцати, к часу, когда продолжала работать уже только одна подъемная машина, а два других лифтера получали свободу. Сегодня я был одним из этих двух. Чтобы после дневных трудов освежиться для этого нежнейшего из всех свиданий, я прошел сначала в нашу умывальню и затем спустился по лестнице во второй этаж, коридор которого, усталый заглушавшими шаг красными дорожками, в это время уже был погружен в тишину и спокойствие. Я счел нужным постучаться в дверь гостиной мадам Гупфле под номером двадцать пять, но мне никто не ответил. Тогда я открыл дверь двадцать третьего номера, ее спальни, вошел в маленькую прихожую, легонько стукнул во внутреннюю дверь и приложил к ней ухо.

В ответ послышалось вопросительное и даже слегка удивленное «entrez»[65 - войдите (франц.)]. Я воспользовался разрешением, пропустив мимо ушей его удивленный оттенок. Комната покоилась в красноватом полумраке, освещенная только лампочкой на ночном столике. Мой быстро оценивший положение взгляд обнаружил ее отважную обительницу (я с удовольствием и по праву переносу на нее эпитет, который она приложила ко мне) в кровати под пурпурным шелковым одеялом, в роскошной кровати, стоявшей изголовьем к стене, неподалеку от плотно занавешенного окна. Да, там лежала моя путешественница, закинув руки за голову, в батистовом ночном одеянии, с короткими рукавами и глубоким вырезом, вокруг которого пенились кружева. На ночь она заплела косы и венком изящно и непринужденно уложила их вокруг головы. Седая вьющаяся прядь была откинута с ее лба, уже тронута морщинками. Едва успев затворить за собой дверь, я услышал, как защелкнулся замок, соединенный с кроватью автоматическим устройством.

Она широко раскрыла золотистые глаза, на одно мгновение, как обычно. Но налет какой-то нервозной лживости еще лежал на ее лице, когда она воскликнула:

– Как? Это еще что такое? Слуга, поденщик, мальчишка из простонародья врывается ко мне в час, когда я уже легла спать?

– Это было ваше желание, мадам, – отвечал я, подходя к ее ложу.

– Мое желание? Да неужто? Ты говоришь – «желание», вместо того чтобы сказать «приказ», который дама отдала слуге, мальчику-лифтеру, и в невероятной своей дерзости, в своем бесстыдстве подразумеваешь под этим «вожделение», «влечение пламенное и страстное», да, именно такой смысл бесцеремонно и безоглядно вкладываешь ты в это слово, потому что ты молод и красив, так молод, так красив, так нахален... «Желание!» Но

слушай, предмет моих желаний, мечта моя, миньон в ливрее, сладостный илот, скажи, отважишься ли ты, при всей своей дерзости, хоть немного разделить со мной это желание?

Она потянула меня за руку, и я поневоле опустился на металлическую кромку кровати; чтобы сохранить равновесие, мне пришлось опереться о спинку, так что я оказался склоненным над ее наготой, едва прикрытой тончайшим батистом и кружевами. На меня пахло душистым теплом. Слегка уязвленный (не могу не признаться в этом) ее настойчивым подчеркиванием моего низкого положения – зачем это было ей нужно и чего она этим хотела добиться? – я молча нагнулся еще ниже и прижал свои губы к ее губам, и она ответила мне поцелуем, еще более проникновенным, чем тот, предвечерний. Стоит ли говорить, что я отозвался на него. Сняв мою руку с опоры, она сунула ее за вырез своей сорочки, под груди, они прились мне как раз по руке, и стала водить ею так, что мучительно восстало, и от нее это не укрылось, мое мужское естество. Растроганная, она сострадательно, радостно и нежно проворковала:

– О милая юность, насколько же ты лучше того тела, которому выпало счастье разжечь тебя!

И обеими руками с невероятной быстротой стала расстегивать крючки и пуговицы на моей куртке.

– Прочь, прочь, зачем это, и вот это тоже, – слетали с ее губ торопливые слова. – Снимай, сбрасывай, сбрасывай, я хочу тебя видеть, хочу видеть бога! Да не мешкай же! Comment, a ce propos, quand l'heure nous appelle, n'etes-vous pas encore pret pour la chapelle? Deshabillez-vous vite! Je compte les instants! La parure de nocel[66 - Как, в этот миг, когда время уже призывает нас в церковь, вы еще не готовы? Раздевайтесь скорее! Я считаю мгновенья! Свадебный наряд! (франц.)] Так я называю твои божественные члены, мне не терпелось взглянуть на них с первой же минуты. Ах, вот оно! Ах, как хорошо! Священная грудь, плечи, какая сладостная рука! Ну, снимай же, наконец, все, снимай... О, ля-ля, вот такую galanterie[67 - любовную связь (франц.)] я понимаю! Иди ко мне, мой bien-aime[68 - возлюбленный (франц.)]. Ко мне, ко мне...

Никогда я не встречал женщины, так владеющей словом. То, что она восклицала, было песней, музыкой, и она продолжала непрерывно говорить, пока я оставался с ней. Такая уж у нее была манера – все облекать в слова. В своих объятиях она сжимала питомца и предпочтенного ученика суровой Розы. Он дарил ее счастьем и слышал из ее уст подтверждение этому.

– О сладчайший! О ты, ангел любви, исчадье страсти! А-а-а, дьявол, ладный мальчик, как ты это делаешь! Мой муж ни на что не способен, совсем, совсем ни на что! О, будь благословен! Ты меня убиваешь! Мне нечем дышать от счастья, мое сердце разрывается, я умру от твоей любви! – Она укусила меня в губы, в шею. – Говори мне «ты», – вдруг простонала она уже в последних содроганиях. – Называй меня на «ты», не церемонься, унижай меня! J'adore d'etre humiliee! Je l'adore! Oh, je t'adore, petit esclave stupide qui me deshonore...[69 - Я обожаю унижение! Обожаю! О, и тебя обожаю, глупый маленький раб, обесчестивший меня... (франц.)]

Она изошла. Я тоже. Я отдал ей все! Наслаждаясь сам, по-честному расплатился с ней. Но разве мог я не сердиться на то, что в последний миг она бормотала об унижении, называла меня глупым маленьким рабом? Мы лежали, еще сплетенные, еще в тесном объятии. Но задетый этим «qui me deshonore», я не отвечал на ее благодарные поцелуи. Прильнув ртом к моему телу, она еле слышно шептала:

– Скажи мне «ты», живо! Я еще не слышала твоего «ты». Мы здесь лежим и любимся, а ведь ты простой слуга. Какое чудное бесчестье! Меня зовут Диана. Но ты, ты должен называть меня шлюхой. Скажи совсем отчетливо: милая моя шлюха!

– Милая Диана!

– Нет, скажи «шлюха». Дай мне упиться, услышав от тебя это слово.

Я высвободился из ее рук. Мы лежали рядом, и наши сердца еще продолжали усиленно биться. Я сказал:

– Нет, Диана, таких слов ты от меня не услышишь. И не жди. Должен тебе признаться, мне очень горько, что ты в моей любви видишь унижение...

– Не в твоей, – воскликнула она, притягивая меня к себе. – В моей! В моей любви к вам, ничтожные мальчишки! Ах, дурачок, ты этого не понимаешь.

Она схватила мою голову и несколько раз, в своего рода любовном отчаянии, стукнула ею о свою.

– Имей в виду, что я писательница, интеллектуальная женщина, Диана Филибер. Гупфле – мой муж, *c'est du dernier ridicule*[70 - это смешно до крайности (франц.)]; я печаталась под своей девичьей фамилией – Филибер, *sous se nom de plume*[71 - под этим псевдонимом (франц.)]. Конечно, ты никогда не слыхал – да и откуда – этого имени, того, что стоит на многих книгах; я пишу романы, понимаешь, психологические романы, *pleins d'esprit, et des volumes de vers passionnes*...[72 - Полные остроумия, и тома страстных стихов (франц.)]

Да, мой бедняжка, твоя Диана женщина *d'une intelligence extreme*[73 - интеллекта необыкновенного (франц.)]. Но интеллект... ах, бог ты мой, – и она еще сильнее стукнула мою голову о свою, – ну откуда тебе это понять! Интеллект томится по антидуховному, осязаемо красивому *dans sa stupidite*[74 - в своей глупости (франц.)], влюбляется до безумия, до самоотрицания и самоотречения, влюбляется в красоту, в божественную глупость, падает ниц перед нею, молится на нее в сладострастном порыве самозабвения и самоуничужения, пьянеет от счастья, когда его оскорбляют.

– Ну, милое мое дитя, – я все-таки решился прервать ее, – за такого уж простака ты меня все же не считай, пусть я не читал твоих романов и стихов...

Она не дала мне договорить, придя в восторг, для меня отнюдь не желательный.

– Ты назвал меня «милое мое дитя»? – крикнула она, бурно меня обнимая и зарываясь ртом в мою шею. – Ах, как это хорошо! Еще лучше, чем «милая шлюха»! Это блаженство во сто крат большее, чем то, которое ты, кудесник любви, заставил меня пережить! Голый маленький лифтер лежит со мной в постели и называет меня «милое дитя», меня, Диану Филибер! *C'est exquis... sa me transporte! Armand, cheri*[75 - Это необыкновенно... это меня захватывает! Арман, любимый (франц.)], я не хотела тебя огорчить. Не хотела сказать, что ты как-то особенно глуп. Красота всегда глупа, потому что она просто бытие, то есть то, что нуждается в возвышении через интеллект. Дай мне посмотреть на тебя, на всего тебя, господи, до чего же ты красив! Грудь, сладостная нежной и чистой суровостью! Стройные руки! Ребра какие прелестные! Впалые бедра, и ах, ах, ноги, как у Гермеса...

– Ну что ты несешь, Диана. Как раз наоборот, меня твоя красота...

– Вздор! Это вы себе внушили. Мы, женщины, должны быть счастливы, что вам так

нравится наш набор округлостей. Божественная прелесть, перл творения, эталон красоты – это вы, молодые, совсем еще юные мужчины, с ногами, как у Гермеса. А знаешь ты, кто такой Гермес?

– Должен тебе признаться, что в настоящую минуту...

– Celeste![76 - О небо! (франц.)] Диана Филибер отдается человеку, никогда не слыхавшему о Гермесе! Какое сладостное унижение для интеллекта! Сейчас, бедняжка ты мой, я тебе объясню, кто такой Гермес, Это юркий бог воров.

Я смешался и покраснел. На секунду у меня мелькнуло смутное подозрение, но я взглянул на нее – и оно рассеялось. Да и слова, которые она, прижимаясь губами к моему локтю, то шептала, то, взволнованно возвышая голос, произносила нараспев, меня вполне успокоили.

– Верить ли, любимый, что с тех пор, как я научилась чувствовать, я любила только тебя, тебя одного. Ну, не тебя, конечно, но идею такого, как ты, сладостный миг, который в тебе воплотился. Можешь считать это извращенностью, но мне противен мужчина в годах, с бородой и волосатой грудью, зрелый, быть может, даже значительный человек. Affreux! [77 - Ужасно! (франц.)] Какая гадость! Значительна я сама, и я считаю извращением de me coucher avec un homme penseur[78 - лечь с мыслящим мужчиной (франц.)]. Только вас, мальчишек, я и любила всю жизнь. Девочкой в тринадцать лет я до умопомрачения влюблялась в своих сверстников. С годами, конечно, для меня слегка менялся их возрастной ценз, но за пределы восемнадцати лет мои устремления, моя любовь ни разу не перешагнули. Тебе сколько лет?

– Двадцать, – отвечал я.

– Ты выглядишь моложе. Для меня ты уже чуть-чуть староват.

– Я? Для тебя староват?

– Ладно, ладно, такой, какой ты есть, ты мое блаженство! Сейчас я тебе скажу... Может быть, эта страсть объясняется тем, что я никогда не была матерью, матерью сына. Я бы его боготворила, будь он не вовсе дурен собой, но где уж там – сын Гупфле... Может быть, эта моя страсть – неутоленное материнство, тоска по сыну... Ты говоришь, извращенность? А вы-то, вы-то? Что для вас наши груди, которые вас вскормили, наше лоно, которое вас породило! Разве вы не жаждете снова стать грудными младенцами? Разве не мать вы так непозволительно любите в женщине? Извращенность? Любовь – извращенное, насквозь извращенное чувство, и другой она быть не может. Хоть зондом прощупай ее, и везде, везде ты только извращение и обнаружишь... Но грустно, конечно, до боли грустно женщине любить мужчину лишь в юноше, в мальчике. C'est un amour tragique, irraisonnable[79 - это любовь трагическая и безрассудная (франц.)], любовь непризнанная, непрактическая, Для жизни она не годится и для брака тоже. За красоту замуж не выйдешь. Я вышла за Гупфле, богача-фабриканта, чтобы писать под защитой его богатства, писать книги qui sont enormement intelligents[80 - невероятно интеллектуальные (франц.)]. Мой муж ни на что не способен, я уж тебе сказала, во всяком случае со мной. Il me trompe[81 - он меня обманывает (франц.)], как говорится, с одной актрисой. Может быть, с ней ему что-нибудь удастся, впрочем сомневаюсь. Да мне это и безразлично, все эти истории – мужчина и женщина, брак и измена – мне они безразличны. Я живу только своей так называемой извращенностью, любовью, она для меня основа того, что я есть; я живу восторгом и горечью убеждения, что среди всего необъятного мира природы нет ничего, по прелести равного юной мужественности; превыше всего для меня любовь к вам, к тебе, мой кумир, чью красоту я целую, покорно

смиряться с духом. Я целую твои жадные губы, сомкнувшиеся над белыми зубами, которые ты обнажаешь в улыбке. Целую нежные звезды на твоей груди и золотистые волосы в темном проеме подмышек. Но скажи, откуда у тебя этот бронзовый оттенок кожи? Ведь глаза у тебя синие и волосы белокурые. Ты сводишь меня с ума. О да, сводишь с ума! *La fleur de ta jeunesse remplit mon coeur age d'une eternelle ivresse*[82 - цветенье твоей юности навек опьянило мое немолодое сердце (франц.)]. Душе не отрезветь! Сгустится смерти ночь, но мне и в смертный час страстей не превозмочь! И мы, *mon bien-aime*, уснем с тобою оба свинцовым вечным сном под черной крышкой гроба. Но юношей краса из мира не уйдет, и тот же стон сердец пронзит небесный свод.

– Что ты такое говоришь?

– Как? Тебя удивляет, что я воспеваю в стихах то, чем ты так страстно восхищаешься? *Tu ne connais pas done le vers alexandrin – ni le dieu voleur, toimeme si divin!*[83 - Ты ведь никогда не слыхал александрийских стихов – и не знал бога воров, хоть ты и сам божествен! (франц.)]

Сконфузившись, как маленький мальчик, я покачал головой. Она была вне себя от умиления, и должен сознаться, что все эти хвалы и славословия, вылившиеся в стихи, под конец сильно меня возбудили. И хотя жертва, которую я принес первому нашему объятию, полностью меня опустошила, Диана убедилась, что я снова готов к любви, убедилась с характерным для нее смешением растроганности и восторга. Мы снова слились воедино. И что же? Отказалась она от того, что называла самоотрицанием духа, от этой болтовни об унижении? Нет!

– Арман, – зашептала она мне на ухо, – будь строже со мной. Ведь я твоя раба! Обойдись со мной как с последней девкой. Я не заслуживаю другого обхождения, для меня это будет блаженством!

Я ее не слушал. Мы опять впали в истому. Но она и в истоме что-то измышляла.

– Послушай, Арман.

– Что тебе?

– Накажи меня! Я хочу сказать, выпори меня как следует. Меня, Диану Филибер. Право же, я этого стою и буду тебе только благодарна. Вон твои подтяжки, возьми их, любовь моя, переверни меня и отстегай до крови.

– И не подумаю. За кого ты меня считаешь? Я не из таких любовников...

– Ах, как жаль! Высокопоставленная дама внушает тебе почтение?

Тут мне снова пришла мысль, однажды уже у меня мелькнувшая. Я сказал:

– Послушай лучше ты, Диана? Я сейчас тебе кое-что открою, и, может быть, это тебя вознаградит за то, в чем я, просто в силу своих вкусов, вынужден тебе отказать. Скажи, когда ты, приехав сюда, распаковала или велела распаковать свой чемодан, самый большой, ты не обнаружила никакой пропажи?

– Пропажи? Нет. Ах, да, да! Откуда ты знаешь?

– Пропала шкатулка?

- Шкатулка, да! С драгоценностями? Но как ты мог узнать?
- Я ее взял.
- Взят? Когда?
- На таможне мы стояли рядом. Ты занялась разговором, а я взял ее.
- Ты ее украл? Ты – вор? *Mias ca c'est supreme!*[84 - Но это изумительно! (франц.)] Я лежу в постели с вором! *C'est une humiliation nierveilleuse, tout a fait excitante, un reve d'humiliation!* [85 - Это чудесное унижение, такое возбуждающее, мечта, а не унижение! (франц.)] Не только холоп, но еще и вор вдобавок!
- Я знал, что тебя это обрадует. Но тогда-то я ведь этого не думал, и я обязан попросить у тебя прощения. Не мог же я предвидеть, что мы будем любить друг друга. Я бы, конечно, избавил тебя от страха и огорчения лишиться дивных топазов, бриллиантовой цепочки и всего остального.
- Страх? Огорчение? Милый! Жюльетта, моя камеристка, наверно, с полчаса искала шкатулку. Но я? Да я и двух минут не огорчилась из-за этой ерунды. Что мне эти украшения? Ты их украл, любимый, значит они твои. Оставь их себе. А что ты мог с ними сделать? Ах, да мне все равно. Мой муж, завтра он за мной приедет, набит деньгами! Его фабрика, да будет тебе известно, делает унитазаы. А этот товар, как ты сам понимаешь, нужен каждому. Страсбургские унитазаы фирмы Гупфле – спрос на них огромный, их экспортируют во все концы света. Он осыпает меня драгоценностями – из-за нечистой совести, конечно – и купит мне куда более красивые вещи, чем те, что ты украл. Ах, насколько же мне вор дороже уворованного! Гермес! Ты Гермес! Хоть ты и не знаешь, кто он такой! Арман?
- Что ты хочешь сказать?
- У меня замечательная идея.
- Что за идея?
- Арман, ты должен меня обокрасть. Сейчас, на моих глазах! То есть нет, я закрою глаза и притворюсь, что сплю. Но украдкой буду наблюдать, как ты крадешь. Вставай, не надо одеваться, и иди воровать, бог воров. Ты стащил еще далеко не все, что я взяла с собой, а я на эти несколько дней до приезда мужа ничего не сдала на хранение. Там, в угловом шкафчике, на верхней полке справа, лежит ключ от комода. А в комодe, под бельем, ты найдешь уйму всякой всячины. И деньги тоже. Иди, иди воровать, ступай неслышно, как кошка! Ведь не откажешь же ты своей Диане в таком удовольствии!
- Но, милое дитя, – я называю тебя так, потому что тебе это приятно, – милое дитя! Это было бы уж очень не *gentlemanlike*[86 - по-джентльменски (англ.)] после всего, что произошло между нами.
- Глупый! Это же будет воплощенная мечта моей любви!
- Но завтра явится *monsieur* Гупфле! Что он скажет...
- Мой муж? А что ему говорить? Я расскажу ему между прочим, с самым спокойным видом, что в дороге меня обворовали. Такие вещи случаются. Богатая женщина может себе позволить быть немного рассеянной. Что пропало, то пропало, и вора искать уже

поздно. Нет уж, будь покоен, с мужем я как-нибудь договорюсь.

– Но, дорогая моя Диана, у тебя на глазах...

– Ах, ты не понимаешь, какая прелесть мой замысел! Хорошо, я не буду на тебя смотреть. Я тушу свет.

И правда, она выключила лампочку под красным абажуром, и нас окутал мрак.

– Я не стану на тебя смотреть, я хочу только слышать, как паркет будет поскрипывать у тебя под ногами, слышать твое дыхание, когда ты откроешь комод, и то, как добыча тихонько звякнет у тебя в руках. Иди, бережно высвободись из моих объятий, крадись, найди и возьми! Это апофеоз моей любви...

Я повиновался. Осторожно встал с постели и взял все, что оказалось под рукой, впрочем, это было нетрудно сделать: в вазочке на ночном столике лежали кольца, а чуть подальше на стеклянную доску стола, возле кресла, было брошено жемчужное ожерелье, которое она надевала к обеду. Несмотря на полную темноту, я тотчас же нашел в угловом шкафчике ключ от комода, почти неслышно открыл верхний ящик и, сунув руку под белье, нащупал драгоценности: подвески, браслеты, аграфы и несколько кредитных билетов. Все это я добропорядочно снес к ней на кровать, но она прошептала:

– Что ты делаешь, дурачок? Это ведь добыча возлюбленного-вора. Сунь эти вещи к себе в карман, оденься и удирай, как положено вору. Живо, живо беги отсюда! Я все слышала, слышала, как ты дышишь, совершая кражу, и сейчас я позвоню в полицию. Или не стоит этого делать? Как по-твоему? Ну, как ты там? Уже готов? Надел уже свою ливрею со всей любовно-воровской добычей? Надеюсь, ты не стащил мой крючок для ботинок, нет, вот он здесь... Прощай, Арман! Не забывай свою Диану, ибо в ней ты пребудешь вечно. Пройдут века. Когда *le temps t'a détruit, ce coeur te gardera dans ton moment benit*[87 - время разрушит тебя, это сердце сохранит твой образ в самый благословенный миг (франц.)]. Когда сокроет склеп мой прах и твой, *Armand, tu vivras dans mes vers et dans mes beaux romans*[88 - Арман, ты будешь жить в моих стихах, в моих романах (франц.)]. Ты будешь жить в строках – толпе не говори! – горящих пылом губ... твоих! *Adieu, cheri*[89 - прощай, любимый (франц.)].

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Надеюсь, читатель поймет и даже одобрит, что я не только посвятил этому необычному эпизоду целую главу, но и не без торжественности закончил ею вторую часть моей исповеди. Подобное событие, конечно, навсегда остается в памяти, и потому страстные мольбы героини этой ночи помнить о ней были совершенно излишни. Таковую, в полном смысле слова, оригинальную женщину, как Диана Гупфле, и такую странную встречу не забываешь. Этим я хочу сказать, что ситуация, в которой читателю довелось нас увидеть, как таковая не повторялась в моей жизни. Конечно, путешествующие в одиночестве дамы, да еще дамы на возрасте, отнюдь не всегда приходят в негодование, обнаружив ночью у себя в спальне молодого человека, и не всегда в таких случаях единственным их импульсом бывает – звать на помощь. Но если я впоследствии и оказывался в подобных положениях (а я в них оказывался), то по значительности и своеобразию они все же

многим уступали той встрече, и я, даже рискуя расхолодить интерес читателя к дальнейшей моей исповеди, должен сознаться, что в будущем, как бы высоко я ни поднимался по общественной лестнице, никто уже не разговаривал со мной александрийским стихом.

За любовно-воровскую добычу, оказавшуюся в моих руках благодаря причуде поэтессы, я получил шесть тысяч франков от мсье Жан-Пьера, который без устали хлопал меня по плечу. Но так как Гермес изъял из комода Дианы еще и четыре тысячефранковых билета, спрятанных под бельем, то вместе с тем, что у меня уже было, я стал обладателем капитала в 12350 франков. Разумеется, я постарался недолго носить его в карманах и, оставив себе сотни две или три франков на мелкие расходы, в первую же свободную минуту снес свои деньги в «Лионский кредит», где мне открыли текущий счет на имя Армана Круля.

Читатель, надо думать, сочтет похвальным такое мое поведение. Ведь нет ничего легче, как представить себе молодого вертопраха, который, получив благодаря искусительным проискам фортуны в свое распоряжение довольно значительные средства, ушел бы с неоплачиваемой работы, снял уютную холостяцкую квартирку и пожил бы на славу – благо Париж щедро дарит своих гостей всеми видами удовольствий, – пока в срок – увы, вполне обозримый – не исчерпались бы его ресурсы. Я ни о чем подобном не думал, а если и думал, то с благонравной решительностью спешил отогнать от себя эту мысль. К чему привело бы осуществление таковой? Куда бы я делся, растратив раньше или позже, в зависимости от моей житейской прыти, все, что у меня имелось за душой? Мне слишком памятливы были слова крестного Шиммельпристера (с которым я время от времени обменивался коротенькими открытками) о прямых и окольных путях к прекрасному будущему, открытых перед тем, кто служит в большом отеле. Посему, не желая оказаться неблагодарным и пренебречь тем, что мне предоставили его интернациональные связи, я быстро справился с искушением. Впрочем, по правде говоря, я хотя и твердо держался этой своей «исходной точки», но совсем, или, вернее, почти совсем, не помышлял о «прямом пути» и в мечтах не видел себя ни метрдотелем, ни портье, ни даже главноуправляющим гостиницы. Зато тем более влекли меня «окольные дорожки», и я только помнил, что мне надо остерегаться, как бы доверчиво не принять первый попавшийся тупичок за такую ведущую к счастью тропинку.

Итак, даже сделавшись обладателем чековой книжки, я продолжал оставаться лифтером в отеле «Сент-Джемс». И, право же, была известная прелесть в том, чтобы на фоне тайного материального благополучия разыгрывать эту роль: ведь таким образом и моя эффектная ливрея становилась не более как «костюмом», одним из тех, в которые меня обряжал крестный Шиммельпристер. Мое сокровенное богатство – ибо таковым представлялись мне точно во сне свалившиеся на меня деньги – делало и самую ливрею и службу, которую я нес в этой ливрее, своего рода мороком, лишним подтверждением моей способности быть «оборотнем». И если в дальнейшем я с потрясающим успехом выдавал себя за нечто большее, чем я был, то в ту пору мне приходилось выдавать себя за меньшее, и я даже затрудняюсь сказать, какая игра меня больше веселила и завлекала своей волшебной сказочностью.

Конечно, в этом доме, столь изобильном и щедром для богатых гостей, на мою долю доставались плохая пища и жесткое ложе, но по крайней мере то и другое я имел даром, и потому, еще не получая жалованья, мог не трогать своих денег и даже понемногу приумножать их благодаря тем пустякам, которые мне и моим коллегам-лифтерам перепадали от проезжающих в виде *pourboires*[90 - чаевых (франц.)], или, как я бы предпочел сказать, *douceurs*[91 - сладостей (франц.)]. Желая быть вполне точным, скажу, что мне, как правило, давали несколько больше и с более любезной миной, чем остальным – франк, два или три, иногда пять, а в случаях исключительной, стыдливо

скрываемой тароватости – даже десять франков, в чем, конечно, сказывалось чутье к благородному материалу; и характерно, что в моих простоватых товарищах это даже не вызывало чувства зависти или недоброжелательства. Это делали дамы, отъезжающие или долго здесь живущие, и даже мужчины, подстрекаемые к тому своими благоверными. Мне вспоминаются супружеские сценки, которых я не должен был замечать и, разумеется, делал вид, что не замечаю, подталкивание локтем спутника, шепот вроде: «Mais donnez done quelque chose a ce garçon, give him something, he is nice»[92 - дайте же что-нибудь этому мальчику (франц.), дайте ему что-нибудь, он очень мил (англ.)]. После чего почтенный супруг, бормоча что-то в ответ, хотя и вытаскивал свое портмоне, но должен был в дополнение еще выслушать; «Non c'est ridicule, that's not enough, don't be so stingy»[93 - это просто смешно (франц.), этого мало, не скарעדничай (англ.)].

Это приносило мне доход от двенадцати до пятнадцати франков в неделю – весьма приятное добавление к той более чем скудной сумме, которую администрация выдавала нам два раза в месяц, когда мы имели право уходить со двора.

Иногда мы уходили вместе со Станко; он давно уже выздоровел и вернулся на свой пост изготовителя всевозможных лакомых блюд для буфета, торгующего холодными закусками. Он хорошо ко мне относился, да и я к нему неплохо, и не без удовольствия посещал вместе с ним кафе и разные увеселительные заведения, хотя и не считал, что такой компаньон служит мне к украшению. Из-за его пристрастия к ярким тонам и крупным клеткам вид его в партикулярном платье был очень уж вызывающе экзотичен; куда более приятное впечатление он производил в белом рабочем халате и высоком поварском колпаке. Это было так, и здесь уж ничего не поделаешь. Рабочему люду не к чему «вырядаться» по образцу буржуа-горожанина. Он этого делать не умеет и от такого наряда становится только непригляднее. Я не раз слышал, как в этом смысле высказывался крестный Шиммельпристер, и вид Станко всякий раз напоминал мне его слова. «Какая жалость, – говаривал он, – что народ унижает себя претензиями на изящество, равняясь по нормам, распространившимся в мире благодаря влиянию буржуазии. Праздничный наряд крестьянской женщины, несомненно, больше к лицу дородной служанке, нежели шляпа с перьями и шлейф, нацепив которые, она пытается по воскресеньям разыгрывать изящную даму, так же как цеховое платье больше пристало рабочему, нежели пиджачный костюм. Но поскольку канули в вечность времена, когда сословия таким живописным образом блюли собственное достоинство, то лучше бы уж в обществе, не знающем сословных различий, где нет ни дам, ни служанок, ни изящных джентльменов, ни топорных парней, все одевались одинаково». Золотые слова – и вполне в моем духе! Я и сам, думалось мне, ничего бы не имел против такого костюма: рубашка, штаны, пояс – и все. Мне бы он был к лицу, да и Станко выглядел бы в нем лучше, чем в своем псевдоизящном наряде. Да и вообще человеку идет все, кроме абсурдного, глупого и полупочтенного.

Но это только заметка на полях, небольшое а propos[94 - между прочим (франц.)]. И так, мы со Станко время от времени посещали кабаре, кафе на вольном воздухе, иногда даже кафе «Мадрид», где во время театрального разъезда царит большое оживление, наблюдать за которым весьма поучительно. Но однажды мы забрели на гада-представление в цирк Студебеккера, уже с месяц гастролировавший в Париже. О нем-то я и хочу сказать здесь несколько слов, ибо с моей стороны было бы непростительным упущением лишь бегло и бесцветно упомянуть об этом столь красочном вечере.

Знаменитый цирк раскинул широкий круг своего шатра на сквере Сен-Жак, неподалеку от театра Сары Бернар и набережной Сены. Толпа сюда стеклась огромная, ибо сегодня ей, видимо, предлагалось нечто превосходившее все то, что обычно предлагается на этом поприще отважного и высокодисциплинированного haut-gout[95 - высокого вкуса

(франц.)). И правда, как возбуждает наши чувства, нервы, сладострастные инстинкты эта непрерывная смена номеров в быстро разворачивающейся программе, номеров, основанных на сальто-мортале, но граничащих с невозможным и тем не менее выполняемых с веселой улыбкой и воздушными поцелуями; ведь все эти артисты, в бесконечной своей смелости, грациозно играют со смертью и увечьем под гром низкопробной музыки, которая, соответствуя чисто физическому характеру всего представления, не соответствует его высокому совершенству и тем не менее заставляет нас холодеть от ужаса, возвещая приближение того немислимого, что все же совершается на наших глазах.

Быстрым кивком (в цирке поклоны не приняты) артист благодарит за овацию толпу, заполняющую обширный амфитеатр, совсем особую публику – своеобразное смешение жадной до зрелищ черни и грубовато-изысканных любителей конского спорта. В ложах – кавалерийские офицеры в заломленных набекрень фуражках; гладко выбритые молодые бездельники с моноклем в глазу, с гвоздиками и хризантемами в петлицах широких желтых пальто; кокетки попеременно с любопытными дамами из аристократических предместий, за стульями которых сидят знатоки-кавалеры в серых сюртуках и таких же цилиндрах, с биноклями, по-спортивно болтающимися на груди, словно на скачках в Лонгшане. И ко всему этому дурманящая, возбуждающая толпу плотски ощутимая жизнь арены – роскошные, яркие костюмы, ослепительная мишура, насквозь пропитавший цирк острый запах конюшен, нагие тела – мужские и женские. Все вкусы удовлетворены, все вожделения раззадорены обнаженными грудями и спинами, понятной каждому красотой, буйной прелестью человеческого тела, совершающего подвиги в угоду грозно жаждущей этих подвигов толпе.

Наездницы из пушты, с дикими телодвижениями, под хриплые выкрики вскакивающие на бешено несущихся, косящих глазом неоседланных коней, сводят с ума толпу страшным искусством вольтижировки. Гимнасты в подчеркивающих стройность фигуры туго облегающих трико телесного цвета, могучие безволосые руки атлетов, на которые женщины смотрят со странно холодным выражением лица, и прелестные мальчики. Труппа прыгунов и эквилибристов в спортивных костюмах, ничего общего не имеющих с фантастическими одеяниями других циркачей, произвела на меня очень приятное впечатление еще и тем, что прежде, нежели приступить к очередному головокружительному упражнению, они как бы потихоньку совещались между собой. Лучший из них и, по-видимому, любимец всей труппы был мальчик лет пятнадцати; подброшенный трамплином, он делал в воздухе два с половиной сальто-мортале, а затем, даже не пошатнувшись, опускался на плечи своего старшего брата, что, впрочем, удалось ему только на третий раз. Дважды он пролетал мимо и падал. И надо сказать, что то, как он улыбался и покачивал головой на свою неловкость, производило не менее очаровательное впечатление, чем иронически галантный жест, которым брат призывал его вернуться на трамплин. Возможно, что все это была игра, ибо когда в третий раз, сделав сальто-мортале, он стал ему на плечи, уже действительно не покачнувшись, толпа разразилась тем более громкими аплодисментами и криками браво, перешедшими в бурную овацию, после негромкого «*me voilà*»[96 - вот и я (франц.)], с которым он протянул к ней руки. Но, конечно, в момент этой преднамеренной или наполовину случайной неудачи опасность переломить себе позвоночник была больше, нежели при его триумфальном прыжке.

Что за люди эти артисты! Да и люди ли они? Клоуны, например, эти говорящие на тарбарском языке странные шутовские создания с красными ручками, маленькими ножками в мягких туфлях, с рыжим вихром под конусообразной войлочной шляпой, которые ходят на руках, вечно на что-то натываются, падают, бессмысленно мечутся по арене, стараясь помочь всем и каждому, и заставляют публику покатываться со смеху при виде их до ужаса неудачных попыток подражать своим более положительным

коллегами, скажем, в хождении по проволоке. Люди ли они, эти малорослые и безвозрастные сыны глупости, над которыми так потешались мы со Станко (я, правда, не без меланхолического восхищения), с их мучнисто-белыми, до абсурда размалеванными лицами – треугольные брови, вертикальные черточки под красными глазами, носы, не существующие в природе, уголки рта, задранные кверху в идиотической улыбке, – словом, маски, находящиеся в немыслимом противоречии с великолепием костюмов, иногда, например, черно-атласных, затканых серебряными мотыльками, – не костюм, а мечта. Разве они люди, мужчины, человеческие особи, имеющие свое место в социальном и природном мире? Я полагаю, что пустая сентиментальность утверждать, будто они «тоже люди», с человеческими чувствами, да еще, пожалуй, с женами и детьми. Нет, я только оказываю им честь, защищая их против гуманной пошлости и говоря: они – не люди, они – отщепенцы, чудища, над которыми смеются до колик в животе, удалившиеся от жизни схимники абсурда, кривляющиеся гибриды человека и дурацкого искусства.

Для заурядности все должно быть «человеческим». Иные еще считают себя невесть какими сердцеведами, усматривая человека под такой личиной. Была ли «человеком» Андромаха – «La fille de l'air»[97 - дочь воздуха (франц.)], как она называлась в длинной бумажной программке? Еще и сегодня она – моя мечта, и хотя Андромаха и ее сфера бесконечно далеки от шутовства, я именно ее имел в виду, распространяясь здесь о клоунах. Она была звездой цирка, гвоздем программы и работала на трапеции под куполом, не зная себе равных. Причем – и это было сенсационное нововведение, неслыханное в истории цирка, – работала без сетки вместе со своим партнером, очень умелым акробатом, хотя его умение ничего общего не имело с ее виртуозным искусством; он, собственно, только подавал ей руку и подготавливал все необходимое для ее сверхотважных и выполняемых с удивительным совершенством эволюции в воздушном пространстве между двумя сильно раскаченными трапециями. Сколько ей было лет? Двадцать? А может быть, больше? Или меньше? Кто знает! Черты лица у нее были строгие и благородные. И, как ни странно, их не только не безобразила, но, напротив, делала еще чище и обаятельнее резиновая шапочка, которую она, перед тем как приступить к работе, надевала на свои стянутые в пышный узел каштановые волосы, так как без этого они бы неминуемо рассыпались во время ее воздушной страды. Ростом чуть выше среднего, она была одета в нечто вроде облегающего панциря, с опушкой из мелких белых перьев и с крылышками на плечах, вероятно, в подтверждение ее титула «Дочь воздуха». Словно они могли помочь ей в полете! Грудь у нее была маленькая, таз узкий, мускулатура рук, само собой разумеется, более выпуклая, чем то обычно бывает у женщин, цепкие кисти, правда, не очень большие и все же не вовсе исключавшие подозрения, что она – прости меня господи! – переодетый юноша. Но нет, женские формы груди были несомненны, так же как и бедер, несмотря на всю их поджарость. Она почти не улыбалась. Ее прекрасные губы были приоткрыты, и ноздри греческого, чуть загнутого книзу носа слегка раздувались. Она презирала какое бы то ни было заигрывание с публикой. И после *tour de force*[98 - ловкого трюка (франц.)], отдыхая на деревянной перекладине трапеции и держась одной рукой за проволоку, другой делала лишь едва заметный приветственный жест. При этом ее суровые глаза безучастно смотрели прямо перед собой из-под ровных, не нахмуренных, но недвижных бровей.

Я молился на нее. Она встала на трапеции, с силой оттолкнулась, потом отделилась от нее и, пролетев мимо своего партнера к другой трапеции, пущенной ей навстречу, схватила своими не мужскими и не женскими руками ее округлую перекладину, вытянувшись в струну, проделала на ней так называемую мертвую петлю, удающуюся лишь немногим из воздушных гимнастов, и, набрав инерцию для обратного полета, вновь пронеслась по воздуху мимо партнера, к только что оставленной ею трапеции, успев на лету еще проделать сальто-мортале под самым куполом, ухватила ее, подтянулась – при этом мускулы осязаемо напряглись на ее руках – и села на перекладину, приветственно

вытянув руку, все с тем же невидящим взглядом.

Это было неправдоподобно, несвершаемо, и тем не менее она это свершила. У тех, кто ее видел, дыхание занялось от восторга и холодок подкатил к сердцу. Толпа не разразилась бурными рукоплесканиями, она молитвенно благоговела перед нею, так же как и я; благоговела в мертвой тишине, вызванной тем, что музыка смолкала каждый раз, когда эта женщина проделывала опаснейшие свои трюки. Что жизнь здесь зависела от скрупулезно точного расчета, понятно само собой. С точностью до малой доли секунды должна была подлететь к ней оставленная партнером трапеция и ни на ноту не изменить положения, когда она, после своего гигантского броска и сальто-мортале, возвращалась на нее. Если бы эта перекаладина не оказалась на месте, если бы ее дивные руки схватились за пустоту, она низверглась бы, вероятно, вниз головой из своей стихии – воздуха – на низменную землю, которая для нее означала смерть. При мысли об этих с абсолютной непреложностью рассчитанных условиях мороз продирал по коже.

Но я еще раз спрашиваю, было ли в Андромахе что-то человеческое? Проявлялось ли в ней оно вне манежа, независимо от ее граничившего со сверхъестественным профессионального умения? Представить ее себе женой, матерью – просто нелепица; жена, мать или вообще кто-нибудь из людей не висит вниз головой на трапеции, не раскачивается на ней, чуть ли не перекувыркиваясь вверх ногами, чтобы внезапно от нее отделиться, перелететь по воздуху к партнеру, который схватывает ее за руки, раскачивает в воздухе и после сильнейшего толчка отпускает, для того, чтобы она, проделав свое пресловутое воздушное сальто, возвратилась на другую трапецию. Такова была ее манера общения с мужчиной; да иную нельзя было себе и вообразить, ибо сразу становилось ясно, что это суровое тело отдает своему фантастическому искусству те силы, которые другие отдают любви. Она не была женщиной, но не была и мужчиной, а следовательно, не была человеком. Она была суровым ангелом отваги с приоткрытым ртом, с трепещущими ноздрями, неприступной амазонкой воздушного пространства, высоко вознесенной над толпой, которая, застыв в немом благоговении, телесно уже не алкала ее.

Андромаха! Когда этот номер давно уже кончился и другие артисты заступили ее место, она все еще стояла у меня перед глазами, и я испытывал возвышенную боль. Шталмейстеры и униформисты выстроились шпалерой, и на арену с двенадцатью воронными жеребцами выступил директор цирка Студебеккер – элегантный седоусый господин спортивного склада в вечернем костюме с ленточкой Почетного легиона в петлице, держа в руке хлыст и, как говорили, подаренный ему шахом персидским шамберьер с инкрустированной рукояткой, которым он щелкал просто на диво. Его блестящие, как зеркало, лакированные туфли зарывались в песок арены, когда он что-то нашептывал то одному, то другому из своих великолепных питомцев с белой уздой на гордой голове, которые под четкие звуки музыки проделывали разные па, преклоняли колена, крутились и наконец, встав на задние ноги, могучим кольцом окружили своего повелителя, державшего хлыст в высоко поднятой руке. Прекрасное зрелище, но я думал об Андромахе. «Великолепные звери! Однако между зверем и ангелом, – размышлял я, – стоит человек. Конечно, ближе к зверю, эту оговорку сделать необходимо. И только она – та, на которую я молился, вся – плоть, но плоть просветленная, надчеловеческая – стоит отдельно от людей, подле ангелов».

После этого номера арену обнесли решеткой и выкатили клетку со львами; чувство трусливой безопасности должно было сообщить еще большую остроту зрелищу, обещанному толпе. Наконец укротитель, мсье Мустафа, мужчина с золотыми серьгами в ушах, обнаженный до пояса, в красных шароварах и в красной же феске, вошел через поспешно открытую и столь же поспешно захлопнутую за ним решетчатую дверь в клетку, где его ожидали пять львов. Едкий запах крупных хищников, исходивший от них,

мешался с запахом конюшни. Они отпрянули от Мустафы, но, повинувшись повелительным окриком, нехотя и мешкотно взобрались на пять расставленных кругом табуретов, отвратительно сморщив носы, зафыркали и стали на него замахиваться лапами, возможно, не без дружелюбия, но сдобренного яростью, ибо они знали, что сейчас, наперекор своей природе, будут вынуждены прыгать через обручи, под конец даже через горящие. Два из них потрясли воздух громовым рыком, от которого в лесных дебрях трепещет и бежит все живое. Укротитель ответил на него выстрелом в воздух из револьвера, и они, фыркая, смирились, уразумев, что их естественное грозное рычание ничто перед этим звонким щелчком. Мустафа для пущей важности закурил сигарету, на что они тоже взирали с глубокой досадой, и, проговорив какое-то имя – Ахилл или Нерон, – тихим голосом, но крайне решительно потребовал, чтобы первый из них приступил к представлению. Одна за другой, нехотя, соскакивали царственные кошки со своих табуретов, чтобы продемонстрировать публике прыжок – туда и назад – через высоко поднятый укротителем обруч и под конец, как я уже говорил, через пылающее смоляное кольцо. Хорошо или плохо, а они прыгали через огонь, и это им было нетрудно, но оскорбительно. Ворча, возвращались львы на свои табуреты, что уже само по себе было обидно, и как замороженные смотрели на человека в красных штанах, который все время легонько поводил головой, чтобы встретить своими томными глазами зеленый от страха и какой-то преданной ненависти взгляд каждого зверя в отдельности. Он круто оборачивался, почуяв беспокойство у себя за спиной, и наводил порядок одним только, словно удивленным, взглядом да тихо, но твердо произнесенным именем.

Всякий чувствовал, в сколь неучливой и вовсе неподобающей компании пребывает там, внутри клетки, укротитель, и это было тем щекочущим нервы ощущением, за которое платил деньги зритель, в полной безопасности сидевший по другую ее сторону. Каждый сознавал, что револьвер Мустафе не поможет, если эти пятеро гигантов вдруг пробудятся от наваждения – быть кротко покорными – и начнут рвать его на куски. Мне казалось, что стоит ему как-нибудь пораниться, а им завидеть его кровь, и это неминуемо случится. Я понял еще и то, что полуобнаженным он входил к ним в угоду черни, чтобы потешить ее трусливое любопытство видом тела, по которому – кто знает, может ведь и такое случиться, – они вдруг ударят своими страшными лапами. Но так как я все время думал об Андромахе, то вдруг почувствовал искушение (отчасти же мне это показалось правдоподобным) представить ее себе возлюбленной Мустафы. Ревность кинжалом вонзилась в мое сердце; при одной этой мысли у меня буквально перехватило дыхание, и я поторопился подавить свое фантастическое измышление. Товарищи по игре со смертью, но не любовники, нет, нет, это бы для них добром не кончилось! Львы, прознав о его прелюбодействе, отказали бы ему в повиновении. А она упустила бы трапецию – я был уверен, если б ангел отваги вдруг унизился до того, чтобы стать женщиной, упустила бы – и постыдно мертвой рухнула на землю.

Что же нам еще показывали до и после того в цирке Студебеккера? Очень много, пропасть всяких гимнастических чудес. Но, право же, ни к чему все это припоминать. Знаю только, что я время от времени искоса поглядывал на Станко, который, как и все вокруг, впал в расслабленно-блаженное состояние от вида этой ослепительной ловкости, этого нескончаемого красочного каскада оболстительных, опьяняющих трюков и лиц. Но не так чувствовал себя я, не такова была моя манера воспринимать окружающее. Правда, ничто не ускользало от моего внимания, я пытливо воспринимал каждую деталь, и это было самозабвенное созерцание, но в то же время – как бы это выразить – и какое-то строптивное: я гордо выпрямлялся, моя душа – опять не знаю как тут выразиться – вырабатывала противоядие этим штурмующим ее впечатлениям, какая-то злоба – это, конечно, не то слово, но почти то – овладела мной от напряженного восприятия всех этих трюков, фокусов, подвигов. Толпа вокруг меня волновалась и распалась сладострастием, я же чувствовал себя в какой-то мере сторонним ей, словно человек, причастный к тому, что здесь происходило, словно профессионал. Не цирковой

профессионал, причастный, конечно, не к этой сальто-мортальной профессии, но в более общем смысле – утешитель человечества, доставляющий радость ближним. Поэтому-то я и ощущал себя разобщенным с толпой, которая была не более как самозабвенной жертвой очарования, далекой от мысли помериться с ним силами. Она только упивалась зрелищем, а упоение – пассивное состояние, которым не может довольствоваться тот, кто рожден действовать, проявлять себя.

Такие мысли, разумеется, никогда не приходили в голову моему соседу, простодушному Станко, и уже потому наши приятельские отношения не могли укрепиться. Когда мы бродили по улицам, он ничего не замечал, а я, как с птичьего полета, видел великолепие этого города, его нескончаемые перспективы, невероятное благородство и роскошь очертаний, и мне невольно вспоминалось расслабленно счастливое: «Magnifique! Magnifique!»[99 - Великолепно! Великолепно! (франц.)] – моего бедного отца, едва только он заговаривал о Париже. Впрочем, вслух я своего восхищения не высказывал, и потому Станко вряд ли сознавал разность нашей душевной чувствительности. А ведь ему следовало бы мало-помалу замечать, что наша дружба не становится крепче, что настоящей доверительности между нами не возникает и что объясняется это прежде всего моей врожденной замкнутостью, скрытностью, настойчивой внутренней потребностью в одиночестве, в дистанции, о чем я уже говорил однажды; и тут уж я при всем желании ничего не мог изменить: такова была основная предпосылка моей натуры.

Иначе и быть не могло. Смутное чувство, не столько гордое, сколько, напротив, продиктованное смиренным приятием судьбы, что ты не такой, как все, неизбежно создает вокруг тебя пустоту, ледяную ограду, о которую, может быть, тебе самому не на радость, разбиваются все посягательства на дружбу и приятельские отношения. Так было и со Станко. Он с открытой душой приблизился ко мне, но вскоре убедился, что я хотя и отношусь к нему терпимо, но платить ему той же монетой не в состоянии. Так, однажды, когда мы сидели в бистро за стаканом вина, он поведал мне, что до своего приезда в Париж отбывал у себя на родине годичное тюремное заключение за какую-то кражу со взломом, причем «засыпался» он не по своей вине, а вследствие неловкости и глупости сообщника. Я с живейшим участием отнесся к его рассказу, и никакого отпечатка на мое к нему отношение это неожиданное признание не наложило. Но в следующий раз он пошел дальше, и я понял, что его откровенность вызвана известным расчетом. Это мне, по правде говоря, уже не понравилось. Он видел во мне удачливого пролазу, с которым стоит поработать на пару, и по своей убогости не разобравшись в том, что я вряд ли рожден быть его сотоварищем, сделал мне предложение относительно какой-то виллы в Нейи, которую он высмотрел и где мы вдвоем с легкостью и почти без всякого риска могли обстряпать неплохое дельце. Увидев, что я отношусь к его предложению с уклончивым безразличием, он вышел из себя и раздраженно спросил, чего ради мне вздумалось корчить из себя недотрогу, ведь ему хорошо известно, что я собой представляю. Так как я всегда с презрением относился к людям, воображавшим, что они меня раскусили, то ограничился пожатием плеч и заметил, что, помимо всего, просто не желаю этим заниматься. В ответ на что он обозвал меня то ли дураком, то ли идиотом.

И хотя это недоразумение между нами не привело к немедленному разрыву, но наши отношения день ото дня становились все холоднее и под конец сами собой распались, так что мы, отнюдь не сделавшись врагами, перестали вместе проводить свободные вечера.

Всю зиму я прослужил лифтером, и, несмотря на доброе отношение часто сменяющихся постояльцев гостиницы, эта работа уже стала порядком докучать мне. У меня были основания опасаться, что обо мне просто-напросто позабыли и я до конца своих дней буду водить подъемную машину. То, что я слышал от Станко, меня не утешало, а заставляло еще больше тревожиться. Он, со своей стороны, усиленно хлопотал о переводе на главную кухню, с двумя большими печами и четырьмя плитами, мечтая со временем достичь там положения если не шефа, то хотя бы вице-шефа, который принимает заказы от кельнеров и передает их целому отряду поваров. Впрочем, он и сам полагал, что на такую карьеру особенно рассчитывать не приходится, так как здесь стараются выжать все соки из человека на том месте, на которое он однажды попал. Мне Станко тоже пророчил, что я до скончания века буду служить на той же должности и видеть жизнь гостиницы только из кабины лифта.

Это меня и страшило. Я чувствовал себя узником шахты, где вверх и вниз сновала моя машина, узником, которому никогда не удастся, или разве только случайно, взглянуть на дивную картину фэйф-о-клока в большом зале, когда там звучит приглушенная музыка, декламаторы и танцовщицы в греческих туниках развлекают избранных гостей, которые за изящно сервированными столиками вкушают золотистый напиток, пети-фур и маленькие изысканные сэндвичи, чуть слышно всплескивают руками, чтобы стряхнуть крошки с пальцев, и на устланной коврами царственной лестнице, что ведет к утопающей в цветах площадке, среди пальм, вздымающихся из украшенных барельефами мраморных ваз, приветствуют друг друга, заводят знакомства, с таинственной улыбкой авгуров обмениваются шутками и весело смеются. Как мне хотелось работать там или, еще того лучше, подавать чай дамам в комнате для бриджа и обеда в большом зале, куда я спускал на лифте мужчин во фраках, сопровождающих своих осыпанных бриллиантами жен. Одним словом, я стал беспокоен. Мне необходимо было расширить рамки своего существования, получить больше возможностей общения с высшим светом. И что же? Благосклонная судьба даровала мне эту радость. Мое желание освободиться от вечного «вверх и вниз» и в новом облачении начать новую деятельность, открывающую передо мной более широкие горизонты, сбылось; на пасху я вступил в должность кельнера. Сейчас расскажу, как все это произошло.

Наш метрдотель, некий мсье Махачек, в неизменно блестящей, свежей манишке, с достоинством носивший по залу свой шарообразный живот, был личностью весьма заметной. Гладко выбритые жиры его лунного лица излучали сияние. Великолепнейшим движением руки – вверх и вдаль – этот властелин столов приглашал вошедших гостей занять места, а манера его одним только уголком рта выговаривать кельнерам за какую-нибудь оплошность или ошибку была столь же сдержанна, сколь и язвительна. И так, однажды утром, видимо получив указание от дирекции, он велел мне явиться к нему в маленький кабинетик, примыкавший к роскошному залу.

– Круль? – спросил он. – По имени Арман? *Voyons, voyons*[100 - посмотрим, посмотрим (франц.)], я слышал о вас не столь уж плохие отзывы и довольно правильные, как мне теперь кажется, по крайней мере на первый взгляд. Впрочем, с первого взгляда можно и ошибиться. Вы, наверно, сами понимаете, что обязанности, которые вы до сих пор выполняли, – детская игра. В качестве лифтера вы, конечно, не можете проявить свои способности, даже если они у вас имеются. *Vous consentez?*[101 - Вы согласны? (франц.)] Здесь, в ресторане, из вас можно будет что-нибудь сделать, *si c'est faisable*[102 - если удастся (франц.)]. Чувствуете ли вы в себе призвание к изящной сервировке, известный талант, а вовсе не исключительный и блистательный дар, как вы стараетесь меня уверить, – это уже самореклама, хотя, с другой стороны, *couage*[103 - храбрость (франц.)] – свойство весьма полезное; так, значит, – известный талант к изящной сервировке и предупредительному обхождению с такой клиентурой, как наша? Что? Прирожденное дарование? Можно позавидовать, сколько у вас, по вашему мнению, прирожденных

дарований. Впрочем, повторяю, здоровая самонадеянность – вещь полезная. Кое-какое знание языков у вас, кажется, имеется? Я не сказал, глубокое знание, как вы изволите выражаться, а лишь самое необходимое. Но это все вопросы второстепенные. Надеюсь, вы отдаете себе отчет, что начинать вам придется снизу. Ваши обязанности на первых порах будут состоять в том, чтобы сбрасывать остатки с тарелок, перед тем как отправить их в судомойню. За такого рода деятельность мы вам положим сорок франков в месяц – оклад, судя по выражению вашего лица, даже слишком высокий. Вообще говоря, не принято улыбаться в разговоре со мной до того, как я сам не улыбнусь: это я должен подать знак к улыбке. *Воп!*[104 - Хорошо! (франц.)] Белую куртку для работы вам выдадут. В состоянии ли вы будете приобрести кельнерский фрак, если вас со временем привлекут к работе в зале? По нашим правилам, эта покупка производится за свой счет. Безусловно, в состоянии! Тем лучше. Я вижу, для вас затруднений не существует. Необходимое белье и фрачные рубашки у вас тоже имеются? Вы что, из состоятельной семьи? Более или менее? *A la bonne heure!*[105 - в добрый час (франц.)]. Я полагаю, Круль, что через некоторое время мы сможем повысить вам оклад до пятидесяти или даже шестидесяти франков. Адрес портного, который шьет фраки нашим кельнерам, вы получите в бюро. К работе можете приступить хоть завтра. Нам нужны люди, а на место лифтера имеются сотни претендентов. *A bientôt, mon garçon!*[106 - до скорого свиданья, мой мальчик (франц.)]. Сейчас уже середина месяца. В конце его вы получите двадцать пять франков, так как я, думаю, что для начала мы вам положим шестьсот франков годовых. На этот раз ваша улыбка допустима, потому что я опередил вас. Вот и все. Можете идти.

Так говорил со мной Махачек. Нельзя не признать, что следствием этого многозначительного разговора на первых порах явилось известное снижение моего жизненного уровня.

Я снес свою ливрею обратно на склад и взамен получил только белую куртку, к которой мне пришлось незамедлительно прикупить пару брюк, так как я ни в коем случае не хотел занашивать на работе брюки от своего парадного костюма. Эта работа – то есть предварительная очистка использованной посуды, заключающаяся в том, что я сбрасывал остатки в большой чан, – была довольно неприятна по сравнению с моим прежним, как-никак, более благородным занятием и по началу вызывала во мне брезгливое отвращение. В мои обязанности входила и помощь судомойкам. Подвязавшись белым фартуком, я нередко участвовал в вытирании посуды, после того как она уже прошла разнообразные стадии мытья. Таким образом, я как бы стоял в самом начале и в самом конце этого восстановительного процесса.

Делать *bonne mine!*[107 - довольное лицо (франц.)] по отношению к неподобающей работе и держаться на равной ноге с теми, кому она вполне подходит, нетрудно, если ты все время твердишь себе: «Это временно». Я же был так глубоко проникнут органически свойственным человеку (несмотря на все домыслы о равенстве) ощущением неравенства и естественной предпочтенности, так уверен в движущей силе этого фактора, иными словами, до такой степени убежден, что долго меня не продержат на должности, которую сперва заставили занять из чисто формальных соображений, что в первую же свободную минуту после разговора с мсье Махачеком заказал себе костюм кельнера по образцу «Сент-Джемс» в специальном ателье, находившемся вблизи от нашего отеля. Это потребовало капиталовложения в семьдесят пять франков – стоимость, обусловленная между отелем и фирмой, которую люди неимущие постепенно выплачивали из своего жалованья, я же, само собой разумеется, заплатил наличными. Моя новая форма выглядела необыкновенно красиво на тех, кто умел ее носить: черные брюки и темно-синий фрак с бархатной оторочкой на воротнике, с золотыми пуговицами и с такими же пуговицами, только меньшего размера, на открытом жилете. Я всей душой радовался своему приобретению, повесил его в шкаф вместе с парадным костюмом и

поспешил еще купить полагавшийся к нему белый галстук и эмалевые запонки для рубашки. Так вот и вышло, что когда после пяти недель возни с грязной посудой один из двух обер-кельнеров, то есть помощников господина Махачека, носивших черные фраки и черные же галстуки, сказал, что в зале требуется моя помощь и мне следует поскорее обзавестись костюмом, то я отвечал, что у меня все давно приготовлено и я в любую минуту могу быть к их услугам.

Итак, на следующий же день я в полной парадной форме дебютировал в зале, в этом огромном чертоге, торжественном, как храм, чертоге с каннелированными колоннами, золотые капители которых поддерживали потолок, с пышными красными драпри на окнах, с красноватым светом бра и бесконечным множеством столиков, покрытых белоснежными скатертями и украшенных орхидеями, вокруг которых стояли белые лакированные стулья, обитые красным бархатом; столики сияли белизной салфеток, сложенных веером или пирамидкой, серебряными приборами и бокалами из тончайшего хрусталя, несшими почетный караул вокруг сверкающих ведерок или легких корзиночек с торчащими из них горлышками бутылок (вина подавались облеченными специальными полномочиями кельнерами с цепью на шее и в маленьком фартучке). Задолго до того как начали появляться к завтраку первые гости, я уже был на месте, расставлял приборы, раскладывал меню и не упускал случая, в особенности когда отсутствовал ведавший определенным количеством столиков старший кельнер, к которому я был приставлен, с подчеркнутой радостью приветствовать гостей, пододвигать стулья дамам, вручать им карточки, наливать воду, словом, независимо от моей личной симпатии или антипатии, деликатно напоминать им о своем присутствии.

Но мои права и возможности в этом смысле были, увы, ограничены. Заказы принимал не я и не я приносил блюда из кухни; моим делом было только убирать грязную посуду после *entremets*[108 - легкого блюда (франц.)], а перед десертом при помощи щетки и плоского совочка сметать со стола крошки. Другие, более высокие обязанности были препоручены моему *superieur*[109 - старшему (франц.)] – человеку уже немолодому, с сонной физиономией, в котором я тотчас же узнал того кельнера, что сидел со мной за столом в первое утро и оставил мне свои сигареты. Он тоже вспомнил меня и, воскликнув: «*Mais oui, c'est toi!*»[110 - Ну да, это ты! (франц.)], – сделал какой-то отстраняющий жест, ставший, как выяснилось впоследствии, характерным для его отношения ко мне. С самого начала он не столько командовал и руководил мной, сколько старался оттереть меня от работы, так как отлично видел, что клиенты, и в первую очередь дамы – старые и молодые, подзывают меня, а не его, чтобы спросить какую-нибудь приправу – английскую горчицу, уорчестерский соус, томатный кетчуп, то есть то, что в большинстве случаев являлось только предлогом подозвать меня, с удовольствием выслушать мое: «*Parfaitement, madame, tout de suite, madame*»[111 - отлично, мадам, сию минуту, мадам (франц.)], наградить меня ласковым: «*Merci, Armand*»[112 - благодарю, Арман (франц.)] и тут же, без всяких видимых оснований, скользнуть по мне прозявшим взглядом. Через несколько дней, когда я хлопотал около подсобного столика, помогая Гектору снимать с кости филе камбалы, он вдруг сказал:

– Они-то, конечно, хотели бы, чтобы ты им подавал приправу, *au lieu de moi. Toute la canaille friande!*[113 - Вместо меня. Эдакие сластолюбивые паршивки! (франц.)] Влюблены в тебя как кошки. Конечно, ты меня скоро выживешь и получишь эти столы. Ты ведь здешний аттракцион – *et tu n'as pas l'air de l'ignorer*[114 - и по тебе видно, что ты это знаешь (франц.)]. Бонзы это уже смекнули и на все лады тебя выдвигают. Слышал ты – ну да, конечно, слышал, – как мсье Кордонье сказал шведской чете, с которой ты так мило разговаривал: «*Joli petit charmeur, n'est-ce pas?*» *Tu iras loin, mon cher, mes meilleurs vœux, ma benediction*[115 - «Он очень хорош, этот чародей, правда?» Ты далеко пойдешь, голубчик, – прими мои лучшие пожелания и мое благословение (франц.)].

– Ты преувеличиваешь, Гектор, – отвечал я. – Мне надо еще многому от тебя научиться, прежде чем тебя оттеснить, если бы это вообще входило в мои намерения.

Но тут я сказал не полную правду. Ибо на следующий день в обеденное время, когда мсье Махачек, пододвинув ко мне свой живот, остановился подле меня таким манером, что наши лица оказались обращенными в разные стороны, и шепнул мне уголком рта:

– Недурно, Арман! Вы работаете недурно! Советую повнимательнее приглядываться к тому, как подает Гектор, если, конечно, в ваши интересы входит этому научиться.

Я ответил, тоже вполголоса:

– Очень вам благодарен, таите, но я уже сейчас могу самостоятельно обслуживать клиентуру, и лучше, чем он. Я этому обучен, прошу прощения, от природы. Не смею вас просить устроить мне пробу, Но когда вам угодно будет это сделать, вы убедитесь, что я говорю правду.

– *Blagueur!*[116 - Шутник! (франц.)] – сказал он с коротким смешком, от которого его живот колыхнулся; при этом Махачек еще глянул на какую-то даму в зеленом платье с искусно зачесанными кверху белокурыми волосами, подмигнул ей одним глазом, мотнул головой в мою сторону и удалился своими мелкими, подчеркнута эластичными шагами, на прощанье еще раз колыхнув животом.

Вскоре я с несколькими из моих коллег стал еще дважды в день обслуживать клиентов нижнего кафе. Затем на меня возложили обязанность там же сервировать вечерний чай. Так как Гектора тем временем приставили к другой группе столов в большом зале, а мне достались те, которые я сначала обслуживал как помощник, то работать мне приходилось, можно сказать, сверх сил, и вечерами после тяжелого и многообразного дневного труда, когда я подавал кофе, ликеры, соду-виски и липовую настойку, я себя чувствовал до такой степени усталым, что сердечность моего общения с клиентами как-то сникала, обаятельная упругость движений грозила размякнуть, а улыбка мало-помалу превращалась в болезненную и застывшую гримасу.

Но после ночного сна моя жизнеспособная натура вновь обретала радостную свежесть, и я неустанно бегал между малым залом ресторана, буфетной и кухней, торопясь разнести гостям, которые не требовали подачи в номер и не любили завтракать в постели, чай, овсяную кашу, засахаренные фрукты, печеную рыбу и блинчики с вареньем. Покончив с этим, я мчался в зал, чтобы вместе с приданным мне в помощь олухом накрыть свои шесть столов ко второму завтраку, то есть расстелить скатерти поверх сукна и расставить приборы. А с двенадцати часов я уже не выпускал из рук записной книжки, принимая заказы от начинавших стекаться гостей. Я прекрасно постиг искусство мягким, сдержанно скромным голосом, как и подобает кельнеру, давать советы колеблющимся и ставить на стол кушанья с таким внимательным, заботливым видом, словно я оказываю услугу близкому и дорогому мне человеку. Согнувшись и держа одну руку за спиной – традиционная поза вышколенного кельнера, – я ставил на стол блюда, успевая между делом одной только правой рукой разложить в изящных и продуманных комбинациях для тех, кто любит такие услуги, ножи и вилки, и не раз замечал, что мои клиенты, и в первую очередь клиентки, с приятным удивлением смотрят на эту руку, столь не похожую на руку простолюдина.

Поэтому ничего не было удивительного в том, что меня, как выражался Гектор, «выдвигали», учитывая благосклонность к моей особе пресыщенной клиентуры этого заведения. Меня, так сказать, с головой выдали их благосклонности, предоставив мне самому усиливать ее льстивой услужливостью или же умерять скромной

сдержанностью.

Для того чтобы не замутировать воссоздаваемого в этих воспоминаниях представления о моем характере, я должен пояснить к своей чести, что никогда в жизни не извлекал тщеславного и жестокого удовольствия из страданий тех, в ком моя особа возбуждала желания, которые я, в силу присущей мне житейской мудрости, отказывался удовлетворить.

Страсть, объектом которой мы становимся, не будучи сами ею затронуты, может внушить натурам, несхожим с моей, холодность и пренебрежение, ведущие к попранию чужих чувств. Но у меня все было по-другому. Я относился к таким чувствам с неизменным уважением, сознавая свою невольную вину, заботливо щадил тех, кого они поразили, старался их умиротворить, внушить разумную покорность. В подтверждение сказанного хочу привести два примера из того периода, о котором идет речь: случай с маленькой Элинор Твентимэн из Бирмингама и с лордом Килмарноком, отпрыском знатной шотландской семьи, – ибо обе эти драмы разыгрались одновременно и каждая на свой лад явилась для меня большим соблазном прежде времени свернуть с прямого пути на одну из тех боковых дорожек, о которых говорил мой крестный Шиммельпристер и которые, разумеется, требовали самого тщательного обследования и дознания, куда они ведут и где обрываются.

Семейство Твентимэн – отец, мать и дочь, а также сопровождающая их камеристка – уже больше месяца занимало апартаменты в «Сент-Джемсе», что уже само по себе свидетельствовало об их завидном материальном положении. Это подтверждалось и подчеркивалось еще и роскошными бриллиантами, в которых миссис Твентимэн появлялась к обеду. Увы, об этих бриллиантах оставалось только сожалеть, ибо их носительница была безрадостная женщина, безрадостная для тех, кто глядел на нее, да, вероятно, и для себя самой, так как она, надо думать благодаря деловому усердию своего супруга, поднялась из мелкобуржуазной среды на высоты, воздух которых заставлял ее цепенеть и внутренне сжиматься. Куда больше благодушия исходило от красной физиономии ее мужа, но и его жизнерадостность быстро выдыхалась из-за глухоты, затруднявшей ему общение с внешним миром, о чем красноречиво свидетельствовало вечно вслушивающееся выражение его водянисто-голубых глаз. Он прикладывал к уху черную слуховую трубку, когда супруга намеревалась что-то сказать ему – это, впрочем, случалось очень редко – или когда я советовал ему, какое блюдо выбрать. Их дочь Элинор, девушка лет семнадцати или восемнадцати, сидевшая напротив него за одним из моих столиков, время от времени, повинувшись его кивку, вставала, подходила к отцу и вела с ним через трубку не слишком затяжной разговор.

Он явно был нежным отцом, и это располагало в его пользу. Что касается миссис Твентимэн, то я, конечно, не собираюсь отрицать в ней материнские чувства, но они выражались не столько в теплых словах и взглядах, сколько в неустанном критическом наблюдении за дочерью. Для этой цели она часто подносила к глазам черепаховый лорнет и, найдя какой-нибудь изъян в прическе Элинор или в ее манере держаться, немедленно одергивала дочь: неприлично скатывать хлебные шарики, неприлично так обгрызать куриную ножку, неприлично с любопытством оглядываться по сторонам и так далее. Такой контроль, свидетельствовавший о воспитательной заботе, наверно, был в тягость мисс Твентимэн, но после моего, в свою очередь, тягостного опыта с нею я вынужден признать его вполне оправданным.

Это было белокурое создание, хорошенькая козочка с самой трогательной шейкой на свете, что я всякий раз отмечал, когда она вечером выходила к столу в открытом шелковом платье. А так как я всю жизнь питал слабость к ярко выраженному англосаксонскому типу, то с удовольствием смотрел на нее во время обеда и фэйф-о-

клока, когда Твентимэны поначалу садились за один из моих столиков. Я был внимателен к моей козочке, окружал ее заботой, как преданный брат: накладывал ей мяса на тарелку, приносил вторую порцию десерта, наливал grenadin, до которого она была большая охотница, после обеда бережно укутывал ее тонкие белые плечики вышитой шалью и, видимо, переусердствовав, нечаянно ранил это чувствительное сердечко. Я не учел особого магнетизма, который, хотел я того или не хотел, исходил от меня, воздействуя на любое не окончательно отупевшее существо, и продолжал бы исходить, я беру на себя смелость это утверждать, даже когда моя «бренная оболочка», как это называется, на склоне лет – то есть смазливая физиономия – стала бы менее привлекательной, ибо магнетизм – проявление глубоко скрытых сил, другими словами – обаяния.

Короче говоря, мне вскоре пришлось убедиться, что малютка по уши в меня влюбилась, и, конечно, то же самое выследил озабоченный лорнет миссис Твентимэн; мне это подтвердило шипенье, которое я однажды расслышал за своей спиной во время второго завтрака:

– Eleanor! If you don't stop staring at that boy, I'll send you up to your room and you'll have to eat alone till we leave[117 - Элинор! Если ты не перестанешь пялить глаза на этого мальчишку, я отошлю тебя в твою комнату и ты будешь есть одна до самого нашего отъезда (англ.)].

Увы, козочка плохо владела собой, вернее, ей просто не приходило в голову делать секрет из того, что на нее нашло. Ее голубые глаза все время следили за мной восторженно и томно, а когда они встречались с моими, она, вспыхнув до корней волос, опускала взгляд в тарелку, но тотчас же с усилием поднимала свое пылающее личико, словно не могла не смотреть на меня. Бдительность матери не заслуживала порицания, наверно она уже не раз имела случай убедиться, что это дитя благоприличных бирмингамцев тяготеет к необузданности чувств, к наивно-дикарской вере в право, более того, в долг человека открыто предаваться страсти. Разумеется, я несколько не заигрывал с нею, напротив, щадя ее, даже не без известной наставительности, всячески старался стусеваться, никогда не выходил за рамки чисто служебной предупредительности и всей душой одобрил жестокое для Элинор и, без сомнения, придуманное матерью мероприятие: в начале второй недели Твентимэны ушли с моего стола и перебрались в противоположный конец залы, где их обслуживал Гектор.

Но моя дикая козочка и тут не растерялась. Однажды, в восемь часов утра, она явилась ко мне вниз к petit déjeuner[118 - первому завтраку (франц.)], тогда как до сих пор всегда завтракала в номере вместе с родителями. Войдя, она сразу изменилась в лице, разыскала меня своими покрасневшими глазами и немедленно – в этот час в зале было еще почти пусто – уселась за один из моих столиков.

– Good morning, Miss Twentyman. Did you have a good rest?[119 - Доброе утро, мисс Твентимэн. Хорошо ли вы спали? (англ.)]

– Very little rest, Armand, very little[120 - я спала очень мало, очень мало, Арман (англ.)], – пролепетала она.

Я сделал огорченное лицо и сказал:

– Но в таком случае, может быть, разумнее было полежать еще немного и выпить чаю в постели; я сейчас подам вам завтрак, но, право же, наверху вам было бы спокойнее. Ведь так приятно и уютно, лежа в постели...

И что же она ответила мне, эта девочка?

– No, I prefer to suffer[121 - нет, я предпочитаю страдать (англ.)].

– But you are making me suffer, too[122 - но вы и меня заставляете страдать (англ.)], – тихонько ответил я, указывая ей на карточке лучшее наше варенье.

– Oh, Armand, then we suffer together![123 - О Арман, тогда будем страдать вместе! (англ.)] – проговорила она, подняв на меня утомленные бессонницей и полные слез глаза.

Чем это могло кончиться? Я от души желал, чтобы она уехала, но они по-прежнему жили в «Сент-Джемсе», да и вполне понятно, неужели бы мистер Твентимэн стал сокращать свое пребывание из-за любовной прихоти дочки, о которой ему, вероятно, уже прокричали в черную трубку. И мисс Твентимэн аккуратно являлась каждое утро, пока ее родители еще спали, а они спали до десяти, так что, если бы мать зашла к ней, Элинор смело могла сказать, что горничная уже убрала посуду после ее завтрака; словом, я хлебнул с ней немало горя, стараясь прежде всего спасти ее репутацию и хоть как-нибудь скрыть от окружающих ее сомнительное поведение: попытки пожать мне руку и прочие шальные, легкомысленные выходки. Я уверял ее, что родители рано или поздно нападут на след и обнаружат тайну ее завтраков, но она оставалась глуха к моим предостережениям. Нет, нет, миссис Твентимэн всего крепче спит по утрам. И насколько же она, Элинор, больше любит ее спящую, чем бодрствующую, когда та по пятам ходит за дочкой! Мама ее не любит, только вечно выслеживает через лорнетку. Папа, тот в ней души не чает, но не принимает всерьез ее сердечных горестей, тогда как мама, хоть и досаждаст ей, но все-таки лучше разбирается в ее душе:

– For I love you[124 - потому что я люблю вас (англ.)].

Я сделал вид, что не слышу последних слов. Но, вернувшись с завтраком для Элинор, стал потихоньку ее уговаривать.

– Мисс Элинор, то, что вы сейчас сказали относительно «любви», просто самовнушение, pure nonsense[125 - просто чепуха (англ.)]. Ваш папа совершенно прав, что не принимает этого всерьез, но, с другой стороны, права и ваша мама, не игнорируя этого nonsense и категорически вам его запрещая. Вы тоже не должны принимать это так уж всерьез, на свою и на мою беду. Прошу вас, найдите в себе хоть искорку юмористического отношения ко всей этой истории. Я-то отношусь к ней без всякого юмора, куда там! Но вам надо выработать в себе именно такое отношение. К чему все это приведет? Ведь это же противоестественно! Вы, дочь мистера Твентимэна, человека, достигшего богатства и высокого положения, остановились на какой-то срок в «Сент-Джемсе», где я, простой кельнер, вас обслуживаю. Ведь я всего только кельнер, мисс Элинор, низшее звено нашего общественного строя, к которому я отношусь с благоговейным уважением, вы же бунтуете против него, ведете себя неестественно. Вам следовало бы вовсе не замечать меня, как того по праву требует от вас ваша матушка, а вы, пока мирный сон удерживает родителей от того, чтобы встать на защиту общественного правопорядка, прокрадываетесь сюда и толкуете мне о «love»[126 - любви (англ.)]. Ведь это же запретная «love». Я не смею отвечать на нее и обязан подавлять в себе радость оттого, что вы отметили меня среди прочих. Мне можно отметить вас среди прочих и держать это в тайне. Но то, что вы, дочь миссис и мистера Твентимэн, заглядываетесь на меня, – никуда не годится и противно самой природе. Это один только обман зрения! Главным образом он объясняется этим фраком с бархатной отделкой и золотыми пуговицами, который лишний раз свидетельствует о моем низком социальном положении. Уверяю вас, что без этого фрака я никакого интереса не представляю. Такая «love», как ваша, вдруг находит на человека во время путешествия, а потом он уезжает – вы тоже скоро уедете – и еще до первой станции забывает о ней. Предоставьте мне вспоминать о нашей здешней

встрече, тогда она останется незабвенной, но не будет отягощать ваше сознание.

Мог ли я больше сделать для нее? И разве мои слова не были проникнуты истинно мужской заботой? Но она в ответ только плакала, так что я бывал рад-радешенек, если столы вокруг пустовали, упрекала меня в жестокости, слышать ничего не хотела об естественном правопорядке и противоестественной влюбленности и каждое утро упрямо твердила, что если бы нам удалось остаться наедине для слова и дела, то все бы уж как-нибудь устроилось и мы были бы счастливы, при условии, конечно, что я ее хоть немножко люблю, – а я этого не отрицал и уж, во всяком случае, не отрицал благодарности за ее чувства ко мне. Но как устроить такое rendez-vous^[127 - свиданье (франц.)], как остаться наедине для «слова и дела»? Этого она тоже не знала, но тем не менее продолжала настаивать и требовала, чтобы я изыскал такую возможность.

Одним словом, я хлебнул с ней немало горя. И надо же было, чтобы в это самое время разыгралась еще история с лордом Килмарноком! Испытание, пожалуй, куда более трудное, ибо здесь я столкнулся уже не с озорной влюбленностью маленькой упрямыцы, а с личностью, чьи чувства немало весили на весах человеческих, так что я не мог советовать ему юмористически отнестись к ним или сам над ними подсмеиваться. Не знаю, как другие, но я этого не мог.

Лорд, проживавший у нас уже две недели и неизменно садившийся за один из моих столиков, был человек лет пятидесяти с небольшим, весьма аристократической внешности: среднего роста, стройный, необыкновенно аккуратно одетый, с еще густыми седеющими волосами, тщательно расчесанными на пробор, и с закрученными кверху тоже полуседыми усами над удивительно красивым ртом. Зато его толстый нос, что называется «картошкой», отнюдь не отличался аристократизмом и как-то тяжело выступал вперед, образуя сплошную линию с несколько косо очерченными бровями и серо-зелеными глазами, казалось, с трудом открывавшимися. Но если это и производило неприятное впечатление, то оно вытеснялось необыкновенно гладко, до последней мягкости выбритыми щеками и подбородком, слегка блестящими от крема, которым лорд натирался после бритья. Платок свой он душил какой-то никогда мне больше не встречавшейся фиалковой водой, естественно и прелестно пахнувшей весенней свежестью.

Когда он входил в зал, в нем замечалась странная застенчивость, не вязавшаяся с важной и аристократической внешностью, но, по крайней мере в моих глазах, ничуть ей не вредившая. Столько достоинства было в этом человеке, что такая его манера держаться заставляла разве что предполагать в нем какую-то странность, которая, по его ощущению, должна была привлекать к нему назойливое внимание. Голос у него был очень мягкий, и я старался еще мягче отвечать ему, лишь много позднее, осознав, что это было нехорошо с моей стороны. Дымка меланхолической приветливости окружала этого, видимо, много выстрадавшего человека. Я не мог быть к нему жестокосердым. Я был очень приветлив, обслуживая его. Но ему это пошло во вред. Правда, он почти не смотрел на меня, и в то время как я подавал на стол, наши беседы ограничивались лишь краткими замечаниями о погоде или меню; он берег и свои взгляды, скупился на них, словно опасаясь, что они поставят его в неловкое положение. С неделю наши отношения сводились к учтивым пустым разговорам, но затем я с удовольствием, не чуждым тревоги, убедился, что он проявляет ко мне участливый интерес. Неделя – это тот минимум времени, который нужен человеку, чтобы заметить, что в его ежедневном общении с кем-то, произошли разительные перемены, в особенности если собеседник так бережливо расходует каждый свой взгляд.

Он стал спрашивать, давно ли я служу, откуда родом, сколько мне лет, и, узнав мой возраст, пожал плечами с растроганным «Mon Dieu»^[128 - Бог мой (франц.)] или «God

heavens»[129 - Боже милостивый (англ.)] – он одинаково хорошо говорил по-французски и по-английски. Если я немец по происхождению, любопытствовал он, то почему ношу имя Арман? Я отвечал, что имя Арман присвоено мне по желанию начальства, на самом же деле я зовусь Феликс.

– Какое красивое имя! – воскликнул он. – Будь на то моя воля, я бы его возвратил вам.

И добавил – при его высоком положении мне это показалось признаком известной неуравновешенности, – что его при крещении нарекли Нектаном, по имени некоего короля пиктов, коренных обитателей Шотландии. Я изобразил на своем лице почтительный интерес, но тут же недоуменно спросил себя, на что мне, собственно, знать, что его зовут Нектан? Ведь я-то обязан называть его «милорд».

Мало-помалу я узнал, что он живет в Эбердине в своем родовом замке вместе с сестрой, женщиной уже немолодой и, увы, очень болезненной, что, кроме того, у него есть летняя резиденция на одном из озер шотландской возвышенности, в местности, где еще говорят на гэльском наречии[130 - ...на гэльском наречии... – Одно из кельтских наречий, на котором говорят в некоторых районах Ирландии, в высокогорной Шотландии и на острове Мэн.] (он тоже немного знает его) и где природа очень красива и романтична: отвесные склоны, пропасти, воздух, напоенный пряным ароматом вереска. Окрестности Эбердина, сказал он, тоже очень хороши. В самом городе имеются все виды развлечений для любителей развлекаться, и с моря всегда веет бодрящим соленым воздухом.

На следующий день он рассказал мне, что любит музыку и сам играет на органе, но в горной своей резиденции довольствуется фисгармонией.

Все эти сведения я почерпнул не из связного разговора, а исподволь, от случая к случаю; и, за исключением «Нектана», в них не было ничего излишнего, ничего, что не мог бы рассказать кельнеру любой одинокий путешественник, не имеющий других собеседников. Сообщал же он мне их главным образом за вторым завтраком, так как предпочитал, не спускаясь в кафе, сидеть за своим столиком в почти пустом зале, курить египетские сигареты и пить кофе. Кофе он, как правило, выпивал несколько чашечек, но, кроме него, ничего другого не пил и почти что не ел. Лорд вообще ел так мало, что оставалось только удивляться, чем он жив. С первого блюда он, правда, брал основательный разгон: консоме, суп из телячьей головы или бычьих хвостов быстро исчезали из его тарелки. Что касается всех остальных кушаний, которые я приносил ему, то, отведав кусочек-другой, он тотчас же закуривал сигарету, предоставляя мне уносить их почти нетронутыми. В конце концов я даже не удержался и с огорчением сказал:

– Mais vous ne mangez rien, Mylord. Le chef se formalisera, si vous dedaignez tous ses plats. [131 - Но вы ничего не кушаете, милорд. Шеф будет очень обижен, если вы станете так пренебрегать нашими блюдами (франц.)]

– Что делать, нет аппетита, – отвечал он. – И никогда не было. Я всю жизнь испытывал отвращение к приему пищи. Возможно, это признак известного самоотрицания.

Я никогда не слышал этого слова, оно испугало меня и заставило из вежливости воскликнуть:

– Самоотрицания? О нет, милорд, тут никто с вами не согласится. Напротив, в этом случае каждый постарается вас опровергнуть!

– Вы полагаете? – спросил он, медленно поднимая глаза от тарелки и глядя мне прямо в лицо. В этом взгляде, как всегда, было что-то принужденное, преодоление чего-то мне

неизвестного. Только на этот раз я видел, что усилие такого преодоления ему приятно. На губах его появилась меланхолическая усмешка, от этого еще резче выступил вперед тяжеловесный и несоразмерно большой нос.

«Подумать только, что у человека может быть такой прекрасный рот, а нос картошкой», – промелькнуло у меня в голове.

– Да, – не без смущения подтвердил я.

– Возможно, дитя мое, – заметил он, – что самоотрицание способствует утверждению личности другого.

С этими словами он встал и вышел из зала. Погруженный в размышления, я остался у своего столика, который мне предстояло убрать и снова накрыть.

Не подлежало сомнению, что встречи со мной несколько раз на дню шли лорду во вред. Но я не мог отменить их, не мог сделать их безвредными, хотя изгнал из своего обращения оттенок ласковой предупредительности, стал холоден и официален, раня чувства, мною же возбужденные. Потешаться над ними я, конечно, не мог, раз уж я не потешался над чувствами маленькой Элинор, но тем более не мог принять их по существу. Итак, я переживал сложный внутренний конфликт, грозивший превратиться в иску, когда лорд Килмарнок сделал мне неожиданное предложение, неожиданное, впрочем, только в смысле делового его содержания.

Случилось это к концу второй недели за послеобеденным кофе. Небольшой оркестр расположился у самого входа в зал за группой палм. Вдали от него, на другом конце зала, лорд облюбовал себе столик, несколько на отлете, за который садился уже не впервые, и я немедленно подал ему кофе. Когда мне пришлось снова пройти мимо него, он спросил сигару. Я принес два ящичка окольцованных и неокольцованных сигар. Взглянув на них, он спросил:

– Какие же мне выбрать?

– Фирма, – отвечал я, указывая на окольцованные, – особенно рекомендует вот эти, но я лично посоветовал бы другие.

Сам того не желая, я спровоцировал его куртуазный ответ:

– В таком случае я последую вашему совету, – сказал он, но не взял у меня из рук ни того, ни другого ящичка, хотя и не отрывал от них взгляда.

– Арман, – тихо проговорил он, так тихо, что оркестр почти заглушил его голос.

– Милорд?

Он назвал мое другое имя:

– Феликс?

– Что угодно милорду, – с улыбкой отвечал я.

– Не хотели бы вы, – донеслось до меня, хотя он продолжал смотреть на сигары, – переменить вашу нынешнюю должность на должность камердинера?

Вот оно самое!

– То есть как, милорд? – отозвался я, притворяясь непонимающим.

Он предпочел услышать: «У кого?» – и, слегка передернув плечами, ответил:

– У меня. Все очень просто. Вы поедете со мной в Эбердин, в замок Нектанхолл. Сбросите эту ливрею и оденетесь в элегантный штатский костюм, что будет отличать вас от остальных слуг. В замке много разной прислуги; ваши обязанности сведутся только к обслуживанию моей особы. Вы всегда будете при мне – в замке и в моем летнем доме. Жалованье ваше, – добавил он, – раза в два или три превысит то, что вы получаете здесь.

Я молчал, и он ни единым взглядом не торопил мой ответ. Он даже взял у меня из рук оба щичка и занялся сравнением того и другого сорта.

– Об этом надо серьезно подумать, милорд, – наконец пробормотал я. – Стоит ли говорить, что ваше предложение – большая честь. Но все это так неожиданно. Я попрошу себе небольшой срок на размышление.

– Для размышления, – отвечал он, – у вас мало времени. Сегодня пятница, я уезжаю в понедельник, Поедьте со мной! Я этого хочу.

Он взял одну из рекомендованных мною сигар, осмотрел ее, медленно поворачивая между пальцев, и поднес к носу. Ни один человек не мог бы догадаться, что он при этом сказал, а сказал он:

– Этого хочет мое одинокое сердце.

У кого достанет жестокости поставить мне в вину мое смятение? И все-таки я уже знал, что не решусь пуститься по этой боковой дорожке.

– Милорд, – пробормотал я, – даю слово, что я сумею добросовестно использовать срок, предоставленный мне на размышление. – И поспешил уйти.

«Он курит, – подумал я, – хорошую сигару и запивает ее кофе. В высшей степени уютное занятие, а уют – все же малый сколок счастья. Временами приходится им довольствоваться».

В этой мысли было подспудное желание прийти ему на помощь, и себе тоже. Но тут как раз наступили трудные дни, потому что после каждого завтрака, обеда, ужина, даже чая, лорд поднимал на меня взор и спрашивал: «Итак?» Я же либо опускал глаза долу и поднимал плечи, словно на них наваливали тяжелый груз, либо вдумчиво отвечал:

– Я еще не пришел к окончательному решению.

Его прекрасный рот кривила горькая усмешка. Но даже если бы хрупкая здоровьем сестра лорда не пеклась ни о чем, кроме его счастья, то подумал ли он о той жалкой роли, которую мне пришлось бы играть среди многочисленной прислуги, упомянутой им, и даже среди гэльского населения его родных гор? «Осыпать насмешками будут не прихотливого вельможу, – говорил я себе, – а игрушку его прихоти». И, сострадая ему в глубине души, я тем не менее мысленно обвинял его в эгоизме. И ко всему этому мне надо было еще постоянно заботиться об обузданье неукротимого стремления Элинор Твентимэн к уединенной встрече для «слова и дела».

В воскресенье во время обеда в зале пили много шампанского. Лорд, правда, к нему не притрагивался, но на другом конце, у Твентимэнов, пробки то и дело стреляли в потолок, и я всякий раз думал, как это плохо для Элиноор, Вскоре моим опасениям суждено было подтвердиться.

После обеда я, по обыкновению, сервировал кофе в нижнем кафе, из которого застекленная дверь с зелеными шелковыми занавесками вела в помещение библиотеки, где стояли кожаные кресла и длинный стол посередине. Комната эта чаще всего пустовала; только иногда по утрам там сидело несколько человек, погруженных в чтение свежих газет. Газеты не полагалось выносить из читальни, но кто-то захватил с собой в зал «Журналь де деба» и, уходя, оставил его на стуле, возле своего столика. Из любви к порядку я аккуратно обернул его вокруг палки и понес в пустую читальню. Не успел я положить его на длинный стол, как в дверях показалась Элиноор, всем своим видом свидетельствующая, что несколько бокалов «Мозэ-Шандон» ее доконали. Она решительно направилась ко мне, дрожа как в лихорадке, обвила руками мою шею и залепетала:

– Armand, I love you so desperately and helplessly, I dont know what to do, I am so deeply, so utterly in love with you that I am lost, lost, lost... Say, tell me, do you love me a little bit, too?[132 - Арман, я люблю вас так отчаянно и беззаветно, я так страстно вас люблю, так обожаю, и я погибла, погибла, погибла... Скажите, откройтесь мне, любите ли и вы меня хоть чуть-чуть? (англ.)]

– For heaven's sake, miss Eleanor, be careful, somebody might come in... for instance, your mother. How on earth did you manage to escape her? Of course, I love you, sweet little Eleanor! You have such moving collarbones, you are such a lovely child in every way... But now get your arms off my neck and watch out... This is extremely dangerous.[133 - Ради бога, мисс Элиноор, будьте осторожны, кто-нибудь может войти... ваша мама, например. Как, скажите на милость, вам удалось удрать от нее? Конечно, я люблю вас, милая маленькая Элиноор! У вас такие трогательные ключицы, и вообще вы во всех отношениях прелестная девочка... Ну, а теперь снимите руки с моей шеи и бегите отсюда... Здесь очень опасно. (англ.)]

– What do I care about danger! I love you, I love you, Armand, let's flee together, let's die together, but first of all kiss me... Your lips, your lips, I am parched with thirst for your lips...[134 - Какое мне дело до опасности! Я люблю вас, я люблю вас, Арман, давайте убежим с вами, но прежде всего поцелуйте меня... Ваши губы, ваши губы, я алчу ваших губ... (англ.)]

– Нет, дорогая моя Элиноор, – сказал я, пытаюсь без применения грубого насилия высвободиться из ее объятий, – лучше не надо. Вы выпили шампанского, кажется, даже несколько бокалов, и если я теперь еще поцелую вас, вы окончательно захмелеете и вас уж ничем не вразумишь. Ведь столько раз я заботливо твердил вам, что не пристало дочке господ Твентимэнов, занимающих благодаря богатству видное положение в свете, влюбляться в первого встречного кельнера. Это же чистое безумие, и если даже вы питаете ко мне склонность, то вам надо побороть ее во имя естественного правопорядка и нравственности. Ну, вот-вот! Ведь правда, вы уже стали опять умной, послушной девочкой, вы сейчас отпустите меня и пойдете к вашей маме.

– О Арман, как вы можете быть таким холодным, таким жестоким, а еще уверяли, что немножко любите меня? Мама? Да я ее ненавижу, и она ненавидит меня, а вот папа меня любит, и я знаю, что все отлично устроится, когда мы поставим его перед свершившимся фактом. Нам просто надо убежать. Давайте убежим этой ночью на экспрессе, ну, скажем, в Испанию или в Марокко. Я затем и пришла, чтобы вам это предложить. Там мы укроемся, я подарю вам ребенка, это и будет свершившийся факт, и папа с нами примирится, когда мы вместе с ребенком кинемся ему в ноги. Он даст нам денег, и мы будем богаты и счастливы... Your lips![135 - Ваши губы! (англ.)]

И шалая Элинор повела себя так, словно я тут же на месте должен был сделать ей ребенка.

– Хватит уж, хватит, dear little Eleanor[136 - милая маленькая Элинор (англ.)], – сказал я и мягко, но решительно снял ее руки со своей шеи. – Все это пустые бредни! Ради них я не сверну с прямого пути и не пущусь по боковой дорожке. Очень нехорошо с вашей стороны, что вы меня здесь атакуете и, несмотря на все уверения в любви, стараетесь заманить в западню, а у меня и без вас хлопот не обернуться. Вы, доложу я вам, ужасная эгоистка! Но в конце концов все вы таковы, и я не сержусь, а, наоборот, благодарю вас и никогда не забуду малютку Элинор. А теперь мне надо идти исполнять свои обязанности.

– У-гу-гу! – расплакалась Элинор. – No kiss! No child! Poor, unhappy me! Poor little Eleanor, so miserable and disdained![137 - Ни поцелуя! Ни ребенка! Бедная я, несчастная! Бедная маленькая Элинор, отверженная, покинутая! (англ.)]

Закрыв лицо ладонками и жалобно всхлипывая, она бросилась в кресло. Я хотел ласково погладить ее, прежде чем уйти. Но сделать это было суждено другому. Дверь открылась, в читальню кто-то вошел, – и не кто-то, а лорд Килмарнок собственной персоной. Вошел в безупречнейшем вечернем костюме, в туфлях, не лакированных, а из матовой мягкой замши, с лицом блестящим от крема и оцепенело торчащим вперед носом. Слегка склонив голову набок, он посмотрел из-под косо очерченных бровей на рыдавшую в кулачки Элинор, подошел к ее креслу и тыльной стороной пальца успокоительно погладил ее по щеке. Раскрыв рот от удивления, она взглянула на незнакомца полными слез глазами, вскочила со стула и, точно ласочка, умчалась через вторую дверь, ту, что находилась напротив застекленной.

Он все так же задумчиво поглядел ей вслед. Затем важно, с отменным спокойствием повернулся ко мне.

– Феликс, – сказал он, – у вас больше нет времени для раздумья. Я еду завтра, с самого утра. Чтобы сопровождать меня в Шотландию, вам надо будет в течение ночи уложить свои вещи. Что вы решили?

– Милорд, – отвечал я, – я глубоко признателен вам. Прошу на меня не гневаться, но я не чувствую себя в силах справиться с должностью, которую вы мне предложили. Полагаю, что мне лучше будет заблаговременно от нее отказаться и не сворачивать со своего прямого пути.

– Первое ваше положение, – возразил он, – я всерьез принять не могу, что же касается остального, – он бросил взгляд на дверь, в которую скрылась Элинор, – то у меня создалось впечатление, что здесь у вас с делами покончено.

Мне пришлось собраться с духом и сказать:

– Я должен покончить еще с одним делом, милорд, и мне остается только пожелать вашему лордству счастливого пути.

Он опустил голову и вновь медленно поднял ее только затем, чтобы, сделав над собой мучительное усилие, посмотреть мне в глаза.

– А вы не боитесь, Феликс, – проговорил он, – принять решение, которое роковым образом отзовется на всей вашей жизни?

– Я принял его, милорд, именно потому, что боюсь этого.

– Иными словами, вы боитесь не справиться с должностью, которую я вам предлагаю? Тем не менее я остаюсь в полной уверенности, что вы заодно со мной считаете, что вам подходит куда более высокое место. В моем предложении содержатся возможности, которых вы, видимо, недоучитываете, отвечая мне отказом. Существуют случаи адаптации... Вы могли бы однажды проснуться лордом Килмарноком и наследником всего моего состояния.

Это был сногшибательный довод! Он пустил в ход все средства. Сотни мыслей зароились у меня в мозгу, но в единую мысль – взять назад свой отказ – они не складывались. Его предложение сулило мне жалкое лордство, жалкое в глазах людей и лишенное подлинного достоинства. Но не это было главное. Главное, что не ведающий сомнений инстинкт противился такой дареной и к тому же подмоченной действительности, предпочитая ей царство игры и мечты, то есть самовластие фантазии.

Когда я еще ребенком просыпался с твердым решением быть восемнадцатилетним принцем по имени Карл и наслаждался этим чистым и чарующим вымыслом ровно столько, сколько мне хотелось, – это было настоящее, а не то, что в своих попечениях обо мне предлагал лорд со своим оцепенелым носом.

Я очень быстро и кратко суммировал мысли, молниеносно пронесившиеся у меня в мозгу, и твердо заявил:

– Прошу прощенья, милорд, если мой ответ вновь ограничится пожеланием вам счастливого пути.

Он побледнел, и я вдруг увидел, что у него дрожит подбородок.

Найдется ли человек, у которого достанет жестокости бранить меня за то, что и у меня покраснели, может быть, даже увлажнились глаза. Нет, нет, только чуточку покраснели. Участие участием, но подлец тот, кто бы в ответ не испытал благодарности.

Я сказал:

– Милорд, не принимайте это так близко к сердцу! Вы встретились со мной, изо дня в день меня видели, моя юность внушила вам участие, и я всей душой благодарен вам. Но ведь с этим участием дело обстоит очень случайно, – вы могли не менее участливо отнестись и к другому. Простите, мне не хотелось бы причинять вам боль или умалить честь, которую вы мне оказали, но пусть я такой, каков я есть, – каждый ведь бывает таким, каков он есть, и только однажды, – но вокруг миллионы людей одного со мной возраста и стати, и за исключением малой толики самобытности все мы одинаковы. Я знал женщину, в ней все мои сверстники гуртом возбуждали участие. По существу это и с вами так. А молодые люди есть везде и всюду. Сейчас вы вернетесь в Шотландию, да разве там они хуже представлены и разве именно я вам нужен для проявления участия? Там они ходят в клетчатых юбочках и с голыми ногами, ведь это же прелесть что такое! Из них вы сумеете выбрать себе великолепного камердинера, вы будете болтать с ним по-гэльски и под конец, возможно, усыновите его. Пусть поначалу это будет немножко нескладный лорд, потом он привыкнет, а все-таки он уроженец страны. Мне этот юноша представляется до того привлекательным, что я твердо уверен – знакомство с ним непременно заставит вас позабыть о случайной встрече со мной. Пусть уж воспоминания о ней останутся на мою долю: так будет надежнее. Потому что, смею вас заверить, никакое время не изгладит из моей благодарной памяти дни, когда я вас обслуживал, давал вам советы, какие выбрать сигары, и радовался тому мимолетному участию,

которое вы во мне приняли. И кушайте побольше, милорд, если мне позволено просить вас об этом! Ибо ни один человек на свете не в состоянии сочувствовать вам в вашем самоотрицании.

Вот что я говорил, и какое-то благотворное действие мои слова все же на него оказали, хотя при упоминании о юноше в пестрой юбочке он и качнул головой. Потом он улыбнулся своим прекрасным и печальным ртом точь-в-точь как в тот раз, когда я упрекнул его за самоотрицание, снял с пальца великолепный смарагд, которым я часто любовался на его руке и на который я смотрю и сейчас, когда пишу эти строки. Он не надел мне его на палец, – нет, этого он не сделал! – он протянул его мне и сказал очень тихим, надломленным голосом:

– Возьмите это кольцо! Я так хочу. Благодарю вас. Будьте здоровы!

Затем он повернулся и ушел. У меня нет слов, чтобы описать деликатность и великодушие этого человека.

Вот и все об Элинор Твентимэн и лорде Килмарноке.

3

Мое внутреннее отношение к миру, или, вернее, к обществу, я не могу назвать иначе, как противоречивым. Несмотря на жажду взаимной теплоты, к этому моему отношению временами примешивалось нечто вроде задумчивого холодка, склонность к развенчивающему наблюдению, меня самого удивлявшая. Так, например, в ресторане или в нижнем кафе, когда у меня вдруг выдавалось несколько свободных минут и я, заложив за спину руку с салфеткой, стоял и смотрел на публику в зале и суету синих фраков, всячески ее ублагодворявших, меня неотвязно преследовала мысль о взаимозаменяемости. Переменив костюм, многие из числа обслуживающего персонала могли с успехом сойти за господ, так же как многие из тех, что с сигарой в зубах сибаритствовали в глубоких плетеных креслах, вполне естественно выглядели бы в роли кельнеров. То, что все было так, а не наоборот, – чистейшая случайность, случайность, порожденная богатством, ибо аристократия денег – это случайная, ряженая аристократия.

Такие мысленные эксперименты мне удавались часто, но не всегда, ибо, во-первых, привычка к богатству как-никак способствует внешней утонченности, и это, конечно, затрудняло мне игру, и, во-вторых, потому, что в лощеную чернь общества порой бывала вкраплена настоящая, не денежная аристократия, хотя и обладавшая капиталом.

Иногда, для успеха затеи, не находя среди моих коллег-кельнеров подходящего, я сам мысленно менялся ролями с кем-нибудь из знатных посетителей ресторана. Так было и в случае с одним и вправду весьма приятным молодым человеком, отличавшимся обаятельной непринужденностью манер, который, не проживая в «Сент-Джемсе», раза два в неделю приходил к нам обедать и садился за один из моих столиков.

Сумев снискать особое благорасположение Махачека, он заранее ему телефонирует, и тот, показав глазами на столик, резервированный для молодого человека, многозначительно произносит:

– Le marquis de Venosta. Attention![138 - Маркиз Веноста. Внимание! (франц.)]

Веноста, по виду мой ровесник, и со мной держался вполне непринужденно, я бы даже сказал – почти на дружеской ноге. Я с удовольствием смотрел, как он свободно и весело проходил по залу, пододвигал ему стул, если Махачек не успел этого сделать самолично, и с положенным мне оттенком почтительности отвечал на вопрос о том, как я поживаю:

– Et vous, monsieur le marquis?[139 - А вы, господин маркиз? (франц.)]

– Comme ci, comme ça[140 - так себе (франц.)]. Ну как, удастся мне сегодня у вас прилично пообедать?

– Comme ci, comme ça, иными словами, превосходно, совсем как в вашем случае, monsieur le marquis.

– Farceur![141 - Шутник! (франц.)] – смеялся он. – Что вы знаете о «моем случае»?

Красивым его нельзя было назвать: у него была элегантная осанка, изящные руки, очень густые каштановые кудри, но при этом слишком пухлые, по-детски румяные щеки и над ними плутоватые глазки, которые мне очень нравились тем, что своей явной веселостью сводили на нет его попытки, впрочем, не столь уж частые, казаться меланхоличным.

– Вам легко так говорить потому, что вы ничего обо мне не знаете, mon cher Armand! Вы, надо думать, рождены для вашего ремесла и потому счастливы, а я так очень сомневаюсь, хватит ли у меня таланта для моего.

Он был художник, учился в Академии изящных искусств и писал обнаженную натуру в ателье своего профессора. Все это и многое другое я узнал из коротких, отрывочных бесед, начавшихся с его расспросов о том, кто я и как сюда попал; происходили эти беседы в то время, как я подавал на стол, накладывал жаркое или менял тарелки. Расспросы его свидетельствовали о том, что он не считал меня за проходимца; и я охотно отвечал на них, умалчивая, конечно, об отдельных подробностях, которые могли бы ослабить благоприятное впечатление. Он обменивался со мной этими отрывочными фразами то по-немецки, то по-французски. Немецкий он знал хорошо, ибо его мать – «ma pauvre mere»[142 - моя бедная мать (франц.)] – происходила из знатной немецкой семьи. Он жил в Люксембурге, где его родители – «mes pauvres parents»[143 - мои бедные родители (франц.)] – неподалеку от столицы владели утопающим в зелени парка наследственным замком, построенным еще в XVII веке. Этот замок, по его словам, выглядел точно так, как английские castles[144 - замки (англ.)] на тарелке с двумя кусками жаркого и гарниром, которую я как раз ставил перед ним. Его отец, камергер великого герцога и «прочая и прочая», был к тому же, что, пожалуй, всего существеннее, и крупный сталепромышленник, а следовательно, «здорово богат», как с небрежным жестом, говорившим: «Могло ли быть иначе? Ну, конечно же, „здорово богат“, – добавлял его сын и наследник. Словно об этом нельзя было догадаться по его образу жизни, по массивному золотому браслету под манжетой и драгоценным жемчужным запонкам на манишке!

Родители назывались «mes pauvres parents» не только по сентиментальному обыкновению, но отчасти также из сочувствия к их несчастью иметь столь ничемного сына. Он, собственно, должен был изучать юриспруденцию в Сорбонне, но бросил это скучное занятие и с разрешения, вымоленного у расстроенных обитателей люксембургского замка, занялся изящными искусствами, – и это при почти полном неверии в свою пригодность к артистическому призванию. Из его слов явствовало, что он, не без известного, впрочем, самодовольства, и вправду смотрит на себя как на избалованного незадачливого сынка, причиняющего немало горя родителям. Не имея ни малейшего желания что-либо в этом изменить, он отнюдь не оспаривал их мнения о себе

как о праздном кутиле и постепенно деклассирующем представителе артистической богемы. Что касается последнего пункта, то, как вскоре выяснилось, он здесь намекал не только на свою живопись, которой занимался спустя рукава, но и на одну сомнительную любовную историю.

Время от времени маркиз приходил обедать не один. В таких случаях он заказывал Махачеку большой столик, требуя, чтобы тот с особым тщанием украсил его цветами, и в семь часов являлся в обществе прехорошенькой особы; я не мог не одобрить его вкуса, хотя это и был вкус к «*beaute de diable*»[145 - свежести молодости (франц.)], к быстро преходящей прелести. В те дни, в расцвете юности, Заза – так он называл ее – была очаровательнейшим созданием в мире: парижанка по крови, тип гризетки, но облагороженный вечерними туалетами от лучшего портного – белыми или цветными, которые, разумеется, заказывал ей маркиз, и редчайшими старинными драгоценностями, тоже, конечно, его подарками, стройная, хотя отнюдь не худая брюнетка с дивными, всегда обнаженными руками и оригинальной, пышно взбитой прической, которую она иногда прикрывала» чем-то вроде тюрбана с серебряной бахромой по бокам и опушкой из мелких перышек надо лбом; вдобавок у нее были лукавые глаза, вздернутый носик и очаровательный болтливый ротик.

Обслуживать эту парочку было истинным удовольствием: так мило и весело болтали они за бутылкой шампанского, с приходом Заза заменявшей полбутылки бордо, которое пил Веноста в одиночестве. Было совершенно очевидно, – да и не удивительно, – что он до самозабвения и полного безразличия ко всему на свете влюблен в нее, околдован созерцанием ее аппетитного декольте, ее болтовней, кокетством ее черных глаз. И она, само собой, благосклонно принимала его любовь, отвечала на нее с радостью, всеми способами старалась ее разжечь, ибо это был счастливый жребий, выпавший на ее долю, повод к мечтам о блистательном будущем. Я величал ее «*madame*», но на четвертый или пятый раз отважился сказать «*madame la marquise*», чем достиг большого эффекта. Она покраснела от радостного испуга и бросила на своего возлюбленного вопросительно нежный взгляд, который вобрала в себя его веселые глаза, не без смущения уставившиеся в тарелку.

Разумеется, она кокетничала и со мной, а маркиз притворялся ревнивцем, хотя на самом деле мог быть совершенно в ней уверен.

– Заза, ты доведешь меня до бешенства, *tu me feras voir rouge*[146 - ты меня доведешь до белого каления (франц.)], если не перестанешь стрелять глазами в этого Армана. Или тебе нипочем взвалить на себя вину за двойное убийство, да еще самоубийство вдобавок?.. Признайся, ты бы ничего не имела против, если б он в смокинге сидел с тобой за столом, а я бы в синем фраке вам прислуживал?

Как странно, что он, сам от себя, вдруг облек в слова мой мысленный эксперимент, постоянно владевшую мной идею перемены ролей. Подавая каждому из них меню для выбора десерта, я набрался смелости и ответил вместо Заза:

– В таком случае вам досталась бы более трудная часть, господин маркиз, ибо быть кельнером – это труд, а быть маркизом – удел *pure et simple*[147 - простой и ясный (франц.)].

– *Excellent!*[148 - Превосходно! (франц.)] – смеясь, крикнула она, радуясь, как все люди ее расы, удачному словцу.

– А вы уверены, – полюбопытствовал он, – что этот удел *pure et simple* вам больше по плечу, чем мне ваш труд?

– Я полагаю, что было бы неучтиво и дерзко, – отвечал я, – приписать вам особую склонность к обслуживанию посетителей ресторана, господин маркиз.

Она от души веселилась.

– Mais il est incomparable, ce gaillard![149 - Он неподражаем, этот дерзкий юнец! (франц.)]

– Твои восторги убьют меня, – воскликнул маркиз с театральным отчаянием. – К тому же Арман уклонился от прямого ответа.

Больше я в этот разговор не углублялся и отошел. Но вечерний костюм, в котором он вообразил меня сидящим на его месте, с недавних пор уже висел вместе с другими моими вещами в маленькой комнате на тихой улочке, неподалеку от отеля; я ее снял не затем, чтобы в ней ночевать, – это случилось лишь изредка, – а чтобы держать там свой гардероб и иметь возможность переодеться без соглядатаев, если мне хотелось провести свободный вечер на несколько более высоком жизненном уровне, чем в компании со Станко. Дом, в котором находилась эта комнатка, стоял в маленьком cite – уголке, отгороженном от мира решетчатыми воротами, в который попадали тоже с очень тихой улицы Буаси д'Англэ. На ней не было ни лавок, ни ресторанов, лишь несколько маленьких гостиниц и частных домов, из тех, где в раскрытую дверь видна комната консьержки, сама толстая консьержка, занятая хозяйственными хлопотами, ее муж за бутылкой вина и рядом с ним кошка. В одном из этих домов я и снял комнатку «от жильцов» у одной весьма ко мне расположенной немолодой вдовы, четырехкомнатная квартира которой занимала половину второго этажа. Она сдала мне по сходной цене нечто вроде маленькой спальни с мраморным камином и стоячими часами, с расшатанной мягкой мебелью и линялыми бархатными занавесками на доходившем до полу окне, из которого виден был тесный двор, а в его глубине – низкие застекленные крыши кухонных помещений. Дальше теснились задние стены богатых домов предместья Сент-Оноре, где в освещенных окнах буфетных и кухонь сновали лакеи, горничные и повара. В одном из домов предместья проживал монашеский князь, владелец этого мирного маленького cite, за которое он, явись у него такое желание, в любую минуту мог бы получить сорок пять миллионов. В этом случае cite было бы снесено с лица земли. Но он, видно, не испытывал нужды в деньгах, и я до поры до времени оставался гостем этого монарха и великого крупье – мысль, признаюсь, не лишенная для меня известного обаяния.

Мой изящный выходной костюм по-прежнему висел в шкафу возле дортуара номер четыре. Но последние приобретения – смокинг и крылатку, подбитую шелком, выбор которой для меня предопределило неизгладимое юношеское впечатление: Мюллер-Розе в роли атташе и ловеласа, – далее, матовый цилиндр и лакированные туфли, – я не мог хранить в отеле и держал их наготове в cabinet de toilette – чулане, прилегавшем к снятой мною комнате, где их защищала от пыли кретоновая занавеска; белая крахмальная рубашка, черные шелковые носки и несколько галстуков лежали там же, в комодe Louis Seize. Визитка с атласными отворотами, сшитая не по моей мерке, – я купил ее готовую и велел только немного переделать, – сидела на мне так безупречно, что любой знаток поручился бы за то, что она сделана на заказ у лучшего портного. Но для чего, спрашивается, я хранил в тайнике эту визитку и другие красивые вещи?

Я ведь уже сказал: чтобы время от времени, как бы для самопроверки и тренировки, вести жизнь более высокого полета, обедать в одном из элегантных ресторанов на улице Риволи, на Елисейских полях или в отеле, таком, как мой, а то и рангом повыше, вроде «Рица», «Бристоль», «Мерис», и вечером сидеть в ложе Драматического театра, Комической оперы или даже Гранд-Опера. Это в известной мере была уже двойственная

жизнь, прелесть которой заключалась в том, что я и сам точно не знал, в каком из двух обликов я был самым собой и в каком только ряженым: тогда ли, когда я в качестве кельнера в ливрее угодливо суетился вокруг постояльцев «Сент-Джемса», или когда в качестве изящного незнакомца, без сомнения имеющего верховую лошадь и после обеда отправляющегося с визитами в лучшие дома Парижа, сидел за столиком и другие кельнеры старались угодить мне; кстати сказать, ни один из них, по моему разумению, не мог со мной сравниться в этой роли. Следовательно, ряженым я был и в том и в другом случае, а немаскарадная действительность, подлинное мое бытие между этими двумя жизненными формами было неустановимо, ибо фактически его не существовало. Не могу даже сказать, чтобы я отдавал решительное предпочтение одной из этих двух ролей – роли изящного джентльмена. Я служил так хорошо и так успешно, что не обязательно должен был чувствовать себя лучше на месте обслуживаемого, ибо для того и для другого прежде всего необходимо врожденное предрасположение... Но вскоре настал вечер, который самым неожиданным, счастливейшим, я бы даже сказал, упоительным образом направил все мои способности «оборотня» на исполнение роли джентльмена.

4

Однажды июльским вечером, за несколько дней до национального праздника, которым заканчивается театральный сезон, предвкушая удовольствие от свободного дня, предоставлявшегося мне администрацией гостиницы раз в две недели, я решил, уже не впервые, отобедать на уютной и разукрашенной лучшими садоводами террасе «Гранд отель дез амбасадер», что на бульваре Сен-Жермен.

С воздушных высот этой террасы, если смотреть поверх балюстрады, уставленной ящиками с цветами, открывался широкий вид на город, на Сену, на площадь Согласия и храм св.Мадлены, по одну сторону, и чудо всемирной выставки 1889 года – Эйфелеву башню – по другую. Как только лифт доставил меня на пятый или шестой этаж, я очутился в прохладе, среди приглушенного гомона голосов благовоспитанного общества, где взгляды никогда не выражают любопытства, как равный среди равных. За столиками, на которых излучали мягкий свет маленькие лампочки, в плетеных креслах сидели нарядные женщины в модных тогда огромных шляпах вызывающей формы и усатые мужчины в корректных вечерних костюмах вроде моего, некоторые даже во фраках. У меня такового не имелось, но я все же выглядел достаточно элегантно и мог смело усесться за столик, с которого обер-кельнер, распорядившийся в этом углу террасы, велел немедленно убрать второй прибор. После хорошего обеда мне предстоял еще приятнейший вечер, так как в кармане у меня имелся билет в Комическую оперу, где в тот день давали моего любимого «Фауста» – мелодическое и прекрасное творение покойного Гуно. Я уже однажды слышал его и теперь радовался возможности освежить чарующие впечатления.

Но этому не суждено было сбыться, ибо судьба в тот вечер уготовила мне нечто, возымевшее весьма большие последствия для всей моей жизни.

Не успел я сообщить свои пожелания относительно обеда склонившемуся надо мной кельнеру и спросить карту вин, как мои глаза, небрежно и с нарочитым утомлением скользнувшие по террасе, встретились с другой парой – веселых и задорных глаз юного маркиза де Веноста. Одетый так же, как и я, он сидел в некотором отдалении и обедал. Естественно, я узнал его раньше, чем он меня. Насколько же мне было легче поверить своим глазам, чем ему не принять все это за обман зрения! Он недоуменно наморщил лоб, но тут же его лицо просияло радостным изумлением; хотя я и не решался с ним поздороваться (мне казалось, что это будет нетактично), но произвольная улыбка,

которой я ответил на пристальный взгляд маркиза, заставила его уверовать в мою идентичность – идентичность джентльмена с кельнером. Он слегка отклонил голову вбок и чуть заметно развел на столе руками в знак удивления и удовольствия, затем отложил свою салфетку и, лавируя между столиков, направился прямо ко мне.

– Mon cher Armand, вы это или не вы? Простите, что я в первое мгновение усомнился, и простите также, что я по привычке называю вас Арманом, на беду я либо не знаю вашей фамилии, либо она выскочила у меня из памяти. Для нас вы ведь всегда были просто Арман...

Я поднялся и пожал ему руку, чего, конечно, мне до сих пор делать не доводилось.

– Арман – это тоже не совсем правильно, маркиз, – смеясь, сказал я. – Это только *nom de guerre* или *d'affaires*[150 - псевдоним (франц.)]. Собственно говоря, меня зовут Феликс, Феликс Круль. Очень рад видеть вас.

– Ну конечно же, mon cher Kroule, как это я запамятовал! Я тоже очень, очень рад, смею вас уверить! *Comment allez-vous?*[151 - Как вы поживаете? (франц.)] По-видимому, отлично, хотя видимость... У меня тоже довольный вид, однако мне очень плохо. Да, да! Из рук вон плохо! Но оставим это. А вы, надо думать, покончили с вашей столь всем нам приятной деятельностью в «Сент-Джемсе»?

– Да нет же, маркиз! Она идет параллельно. Или это здесь идет параллельно. Я и тут и там.

– *Tres amusant!*[152 - Очень забавно! (франц.)] Вы прямо волшебник. Но я вам мешаю. Я уйду... Или нет, давайте лучше побудем вместе. Я не могу вас попросить за свой столик, он слишком мал. Но у вас тут есть место. Правда, я уж съел свой десерт, но если вы ничего не имеете против, я выпью с вами кофе. Или вы хотите побыть в одиночестве?

– Нисколько! Я буду очень рад, маркиз, – спокойно отвечал я и обратился к кельнеру: – Дайте еще один стул для этого господина.

Я нарочно не показал виду, будто мне льстит это предложение, и ограничился тем, что назвал его превосходной идеей. Он уселся напротив меня и, пока я заказывал обед, – ему же подали кофе и коньяк, – все время, чуть склонившись над столом, на меня посматривал. Его, видимо, занимало мое двойное существование, и он старался вникнуть в него поглубже.

– Надеюсь, – сказал маркиз де Веноста, – мое присутствие не стесняет вас и не портит вам аппетита? Мне бы очень не хотелось быть вам в тягость. Я боюсь оказаться навязчивым, – навязчивость признак дурного воспитания. Люди благовоспитанные молча проходят мимо того, что их удивляет, и самые необычные жизненные положения принимают без расспросов. Это отличительный признак светского человека, каковым я и являюсь. Ну и ладно, светский так светский. Но в некоторых случаях, вот сейчас, например, я прихожу к убеждению, что я светский человек без знания света, без всякого житейского опыта, который единственно и дает нам право по-светски проходить мимо всевозможных явлений. Тем не менее разыгрывать из себя джентльмена-дурака – слабое удовольствие!.. Вы сами понимаете, что наша встреча здесь столько же радует, сколько и озадачивает меня, разжигая мою любознательность. Признайтесь также, что ваши обороты вроде «идет параллельно» и «...тут и там» не могут не заинтриговать непосвященного. Ешьте, ради бога, ешьте и не отвечайте мне ни слова! Предоставьте уж мне болтать и ломать себе голову над образом жизни моего сверстника, который, видимо, куда более светский человек, чем я. *Voions!*[153 - Посмотрим! (франц.)] Вы –

конечно, я в этом убедился уже давно, а не сейчас и не здесь – происходите из хорошей семьи; в нашем дворянском кругу, не обессудьте меня за эту неделикатность, говорят просто «из семьи»; из «хорошей семьи» – это значит из буржуазной. Станный мир! Итак, вы из хорошей семьи и выбрали себе путь, который, несомненно, должен привести вас к цели, соответствующей вашему происхождению, но, чтобы достигнуть ее, вам необходимо начинать снизу и до поры до времени занимать должность, которая ненаблюдательному человеку может внушить ложную мысль, что он имеет дело с представителем низших классов, а не с переодетым джентльменом. Верно ведь? А гророс, какие молодцы англичане, что придумали и распространили слово «джентльмен». С их легкой руки появилось обозначение для человека, который, не будучи дворянином, достоин быть им, более достоин, чем многие из тех, кого на конвертах величают «высокородие», тогда как джентльмен именуется лишь «высокоблагородием»; «лишь» – а между прочим ведь еще и «благо»... За ваше благо-получие! Я сейчас велю принести вина. То есть, я хочу сказать, когда вы покончите со своей полбутылкой, мы вместе разопьем еще одну – цельную, конечно... С «высокородием» и «высокоблагородием» – это как с «из семьи» и «из хорошей семьи» – полная аналогия... Бог ты мой, что я несу!.. Но это только для того, чтобы вы спокойно ели и мною не занимались. Не заказывайте утку, она плохо зажарена. Лучше велите подать баранью ножку. Метрдотель меня не обманул, уверяя, что она достаточно долго вымачивалась в молоке. Enfin![154 - Наконец! (франц.)] Что я говорил относительно вас? Да, если ваша служба заставляет вас разыгрывать человека из низших классов, то это, наверно, кажется вам только забавным – ведь внутренне вы привержены к своему сословию, но вот у вас появляется возможность и внешне возвратиться к нему, как, например, сегодня. Очень, очень мило! Меня, однако, поражает – до чего же плохо разбирается в жизни светский человек! Простите меня, но технически ваше «тут и там» – вещь отнюдь не простая! Предположим, вы из зажиточной семьи, – заметьте себе, я не спрашиваю, а говорю «предположим», потому что это довольно очевидно. Поэтому у вас есть возможность, кроме служебной формы, иметь еще и гардероб джентльмена. Но всего интереснее, что вы в том и другом обличье выглядите одинаково убедительно.

– Платье делает человека, маркиз, или, вернее, наоборот: человек делает платье.

– Значит, я более или менее верно определил ваш *modus vivendi*?[155 - образ жизни (лат.)]

– Даже очень метко. – Я сказал ему, что имею кое-какие средства – о, конечно, очень скромные – и что у меня маленькая квартирка, где и совершается мое превращение, благодаря которому я сегодня имею удовольствие здесь с ним беседовать.

Я заметил, что он следит за моими манерами во время еды, и без всякой аффектации постарался придать им благовоспитанную строгость, орудуя ножом и вилкой с прижатыми к туловищу локтями. Что его очень занимает, как я веду себя, стало мне очевидно еще и по замечанию, которое он отпустил касательно различной манеры есть. В Америке, как ему говорили, европейца узнают по тому, что он подносит вилку ко рту левой рукою. Американец сначала нарежет все у себя на тарелке, отложит в сторону нож и начинает есть правой.

– В этом есть что-то детское, верно? – Но в общем он все это знает только по рассказам, так как сам не бывал за океаном, да и не имеет никакой, ни малейшей охоты путешествовать. – А вы успели уже повидать свет?

– Ах нет, маркиз, – и все-таки да! Кроме нескольких живописных прирейнских курортов я видел только Франкфурт-на-Майне. И вот теперь Париж. Но Париж – это уже немало.

– Париж – это все, – патетически воскликнул он. – Для меня это все, и я бы ни за что на

свете из него не уехал. Да вот беда, приходится, хочешь не хочешь, пускаться в путешествие. Когда тебя опекает семья, милый Круль, – я не знаю, насколько вы еще ходите на помочах, и, кроме того, вы только из хорошей семьи, а я, увы и ах, я – из семьи...

И хотя я еще не справился со своим персиком в вине, он уже заказал давно предвкушаемую бутылку лафита для нас двоих.

– Я ее сейчас начну, – объявил он. – А вы, когда покончите с кофе, присоединитесь ко мне, если же я найду слишком далеко, то мы велит подать вторую.

– Однако, маркиз, вы пустились во все тяжкие! Под моим крылышком в «Сент-Джемсе» вы ведете себя умереннее.

– Заботы, горе, тоска, милый Круль! Только одно утешение и остается. Дары Бакхуса? Так его, кажется, зовут? Бакхус, на мой взгляд, звучит лучше, чем Бахус, как говорят удобства ради. Я сказал «удобства ради», чтобы не выразиться грубее. Вы сильны в мифологии?

– Не слишком, маркиз. Я знаю, например, что есть такой бог Гермес. Но этим мои сведения почти что и ограничиваются.

– Да и на что они вам? Ученость, которая временами, право же, бывает довольно навязчива, – не для джентльмена, и в этом его сходство с дворянином. Превосходная традиция, берущая свое начало в эпоху, когда человеку знатного происхождения полагалось только хорошо сидеть на лошади, а больше он вообще ничему не учился, даже читать и писать. Книги были прерогативой попов. Многие мои приятели и сейчас придерживаются этого обычая. Большинство из них – элегантные шалопаи, не всегда даже симпатичные. А вы ездите верхом? Разрешите теперь и вам налить этого «утоли моя печали». За ваше благополучие! За мое? Выпить, конечно, можно, но толку от этого не будет. На такое надежды мало. Верхом вы, значит, не ездите? Я уверен, что из вас вышел бы превосходный наездник, вы прямо рождены для верховой езды и в Булонском лесу, конечно, заткнули бы за пояс любого всадника.

– Признаюсь, маркиз, я и сам в этом почти уверен.

– Что ж, это не более как здоровая самоуверенность, милейший Круль. Здоровой я ее называю потому, что тоже уверен в вас, и не только касательно верховой езды... Разрешите мне быть вполне откровенным. Вы мне не кажетесь человеком, склонным к общительности и сердечным излияниям. Последнее слово вы все же предпочитаете держать про себя. Вас окружает атмосфера какой-то таинственности. Pardon, я становлюсь нескромным. То, что я так говорю, служит доказательством моей собственной ветрености и невоздержанности на язык, но также и моего к вам доверия.

– За которое я всем сердцем признателен, милый маркиз. Разрешите мне спросить, как поживает мадемуазель Заза? Я даже несколько удивился, встретив вас здесь без нее.

– Как это мило, что вы спрашиваете о ней. Ведь вы тоже находите ее очаровательной, правда? Да и почему бы вам не восхищаться ею? Я вам это разрешаю. Я всем на свете разрешаю находить ее очаровательной. И все-таки мне хотелось бы укрыть ее от глаз света, иметь ее для себя одного. Бедная девочка занята сегодня вечером в своем театрике «Фоли мюзикаль». Она там на ролях субреток, вы этого не знали? Сегодня она играет в «Дарах феи». Но я уже столько раз смотрел эту штуку, что теперь решил пропустить вечер-другой. И еще меня огорчает, что она так мало одета во время своих куплетов. Правда, это очень красиво, но мало есть мало, и я от этого страдаю, хотя по началу такой, с позволения сказать, костюм и заставил меня без памяти в нее

влюбиться. А вы были когда-нибудь влюблены до сумасшествия?

– Я, право, уже почти готов последовать вашему примеру, маркиз.

– Что вы знаете толк в любви, мне ясно и без ваших заверений. И все же вы, по-моему, принадлежите к людям, которых любят больше, чем они любят сами. Разве я не прав? Хорошо, не будем углубляться в эти дебри. Заза поет еще и в третьем акте. Потом я за ней заеду, и мы будем пить чай уже в квартирке, которую я снял и обставил для нее.

– Желаю вам приятно провести время. Но это значит, что нам следует поторапливаться с нашим лафитом и с окончанием столь приятной для меня беседы. У меня лично в кармане билет в Комическую оперу.

– Правда? Я не люблю торопиться. Кроме того, я могу протелефонировать малютке, чтобы она дожидалась меня дома. А вам очень бы не хотелось опоздать на первый акт?

– Нет, почему же? «Фауст» прелестная опера, но ведь не может быть, чтобы она привлекала меня больше, чем вас мадемуазель Заза.

– Я бы с удовольствием еще поболтал с вами здесь, мне хочется поподробнее рассказать вам о своих горестях. Ведь вы уже, конечно, поняли по некоторым словам, сорвавшимся сегодня у меня с языка, что я нахожусь в тяжелом, очень тяжелом положении.

– Несомненно, милый маркиз, и я только ждал удобного случая, чтобы с искренним участием спросить вас о ваших затруднениях. Они касаются мадемуазель Заза?

– О, если бы речь шла не о ней! Вы слышали, что я должен отправиться в путешествие? На целый год!

– Почему же непременно на целый год?

– Ах, милый друг! Дело в том, что мои бедные родители – я уж как-то рассказывал вам о них – знают о моей связи с Заза. Она ведь длится больше года, – и не по анонимным письмам или случайно услышанным сплетням, а потому, что я был так прямодушен и ребячлив, что в письмах вечно проговаривался о своем счастье, о своих мечтах и желаниях. У меня, вы знаете, что на уме, то и на языке, а с языка и до пера дорога недолга. Милейшие старички сделали справедливый вывод, что я серьезно отношусь к этой истории и намерен жениться на девочке, или «этой особе», как они ее называют, и теперь рвут и мечут. Они были здесь и уехали только третьего дня; тяжелое это было время – целая неделя пререканий, с утра до вечера. Отец говорил со мной низким басом, а мать – очень высоким голосом, вибрирующим от слез; он – по-французски, она – по-немецки. О, разумеется, у них не сорвалось с языка ни единого грубого слова, кроме постоянно повторяющегося словечка «особа», но право же мне было бы не так больно, если б они называли меня дурным, сумасшедшим человеком, обесчестившим свою семью. Этого они, однако, не делали, они только всеми святыми заклинали меня не давать им и обществу повода для подобных обозначений, и я, в свою очередь, низким и вибрирующим голосом уверял, что мне очень больно причинять им огорчения. Я ведь знаю, что они меня любят и желают мне добра, но в чем оно для меня, понятия не имеют. Они даже намекали, что лишат меня наследства, если я осуществлю свои скандальные намерения. Этого слова они, правда, не произнесли – ни по-французски, ни по-немецки. Я уже сказал, что из любви ко мне они вообще воздерживались от жестоких слов. Все это мне дали понять лишь описательно, предоставив догадываться самому о такой угрозе и сделать соответствующий вывод. Я-то, конечно, считаю, что при положении моего отца и его широком участии в стальной промышленности Люксембурга я бы вполне свел концы

с концами, живя на обязательную долю. Но лишение наследства, что и говорить, все же неприятно сказалось бы на мне и на Заза. Сами понимаете, не такая уж это радость – выйти за человека, лишённого наследства.

– Отчасти понимаю, стараясь поставить себя на место мадемуазель Заза. Но при чем тут ваше путешествие?

– С этим проклятым путешествием дело обстоит так: родители хотят меня сплавить из Парижа. Отец так и выразился: «Надо тебя сплавить». Препротивное слово, и как его понять, я, ей-богу, не знаю. То ли они полагают, что я должен, как сплавное бревно, болтаться в холодной воде, вместо того чтобы лежать в постели с Заза, наслаждаясь ее сладостным теплом, – дрожь пробирает при одной мысли, – то ли рассчитывают сплавить меня с какой-то другой женщиной, как сплавляют металлы, в надежде, что я позабуду Заза. Такова идея, и ей должно служить это пресловутое путешествие, на которое мои родители решили не щадить затрат, – ведь оно пойдет во благо их сыну! И вот мне предстоит уехать из Парижа на долгий срок, уехать от «Фоли мюзикаль» и от Заза, повидать новые страны, новых людей, призадуматься над виденным – словом, «выбить дурь из головы» – они это называют «дурью» – и вернуться другим, понимаете ли, – «другим человеком». Ну скажите на милость, могли бы вы пожелать сделаться другим человеком, не таким, как вы есть? У вас в глазах сомнение! Но я ничуть, ничуть этого, не желаю. Я хочу остаться таким, каков я есть, и не желаю, чтобы предписанное мне лечение путешествием вывернуло наизнанку мой мозг и сердце до такой степени, чтобы я отказался от самого себя и позабыл Заза. А ведь это вполне возможно. Долгая разлука, резкая перемена воздуха, тысячи новых впечатлений могут к этому привести. Но именно потому, что я теоретически считаю это возможным, мне этот эксперимент и внушает такое отвращение.

– Но подумайте! – заметил я. – Став другим, вы уже не будете искать в себе ваше прежнее, теперешнее я, не будете сожалеть о нем, потому что вы будете уже не вы.

– И что ж, по-вашему, это утешение для меня теперешнего? Как можно хотеть забыть? Я не знаю ничего более жалкого и противного, нежели забвение.

– И тем не менее знаете, что ваше отвращение к этому эксперименту не послужит залогом его неудачи?

– Да, теоретически. Практически же об этом не может быть и речи. Мои родители в своем попечении о сыне замышляют любвеубийство. Но они потерпят неудачу, я в этом так же уверен, как в себе самом.

– Это уже немало. Но разрешите спросить, считают ли ваши родители, что это именно только эксперимент, и готовы ли они в случае, если он окончится неудачей и ваши желания выдержат испытание стойкостью, пойти таковым навстречу?

– Я спрашивал их и об этом, но прямого «да» так и не добился. Им самое главное меня «сплавить», ни о чем другом они сейчас думать не в состоянии. В том-то и беда, что я им дал обещание, а они мне – никакого.

– Вы, значит, согласились на отъезд?

– А что мне еще оставалось? Не мог же я подвергнуть Заза риску лишения наследства. Я ей сказал, что должен буду уехать, и она очень плакала – отчасти из-за долгой разлуки, а отчасти из-за того, что она боится: вдруг родители предписали мне правильный курс лечения и я вернусь уже с иными намерениями. Я ее вполне понимаю. Мне и самому

иногда становится страшно. Ах, друг мой, что за мучительная дилемма! Я должен уезжать – и не хочу; дал слово уехать – и не могу. Что мне делать? От кого ждать помощи?

– Вам действительно можно посочувствовать, милый маркиз, – сказал я. – Но раз уж вы взяли на себя такое обязательство, то никто его с вас не снимет.

– Никто?

– Никто.

Разговор на несколько мгновений выдохся. Маркиз вертел в руках свой бокал. Затем вдруг поднялся.

– Чуть было не забыл... Я ведь должен протелефонировать своей подруге. Прошу прощения, я сейчас вернусь...

Он ушел. Терраса к этому времени уже опустела. Занято было еще только два столика. Большинство кельнеров стояли без дела. Чтобы чем-нибудь заполнить время, я закурил сигарету. Вернувшись, Веноста заказал еще бутылку шато-лафита и начал снова:

– Милый мой Круль, я сейчас посвятил вас в конфликт между мной и моими родителями, одинаково болезненный для той и для другой стороны. Надеюсь, что нечаянным резким словом я не погрешил против сыновнего пиетета и уважения, а также благодарности за родительскую заботу и, наконец, за ту щедрость, в которой выразилась эта забота, правда уж очень похожая на насилие. Ведь только в моем особом случае предложение с максимальным комфортом совершить кругосветное путешествие превращается в нечто до того несносное, что я невольно спрашиваю себя, как мог я на это пойти. Любому молодому человеку из семьи, или из хорошей семьи, радужная перспектива всех этих новых стран и приключений показалась бы даром небес. Даже я при моих обстоятельствах временами ловлю себя на том, – и это безусловно предательство по отношению к Заза и к нашей любви, – что начинаю мечтать о прелестях такого длительного кочевья, о сонме новых лиц, о новых встречах, радостях и наслаждениях, которые, конечно же, сулит путешествие каждому, кто к этому восприимчив. Вы только представьте себе: дальние края, Ближний Восток, Северная и Южная Америка, Восточная Азия! В Китае, говорят, холостяка из Европы обслуживает не меньше дюжины слуг. Одному, например, вменяется в обязанность носить впереди своего господина его визитные карточки – и ничего больше. И еще мне рассказывали: когда один тропический султан свалился с лошади и выбил себе передние зубы, он заказал здесь, в Париже, золотые и в каждый из них велел вставить по бриллианту. Его возлюбленная носит национальный костюм, то есть кусок драгоценной ткани вокруг чресел, завязанный узлом чуть пониже гибких бедер. Говорят, она прекрасна, как сказка, на шее у нее три или четыре ряда жемчуга, а под ними столько же рядов бриллиантов небывалой величины.

– Это вам все рассказали ваши уважаемые родители?

– Нет. Они ведь не были на Востоке. Но разве все это не правдоподобно и разве трудно себе это представить, в особенности бедра? А вот что всего интереснее: я слышал, что особо почетным гостям султан на время уступает свою возлюбленную. Разумеется, это мне тоже рассказали не мои родители: они даже не подозревают, что мне сулит кругосветное путешествие, – но разве, несмотря на полную мою невосприимчивость ко всему, что не Заза, я не должен – теоретически – быть им благодарен за такое великодушное утешение?

– Разумеется, маркиз. Но тут вы уже берете на себя мою роль и, так сказать, говорите

моими устами. Это мне следовало по мере возможности примирить вас с мыслью о ненавистном путешествии, напомнив вам о предстоящих удовольствиях, и пока вы ходили к телефону, я как раз и решился сделать эту попытку.

– Это бы значило проповедовать глухому, даже если бы вы без устали твердили, как вы мне завидуете, хотя бы из-за бедер.

– Завидовать? Нет, маркиз, вы не правы. Не зависть толкала меня на эти благожелательные увещания. Да я и не особенный охотник до путешествий. Зачем парижанину пускаться в свет? Свет приходит к нему. К нам в отель, например. А когда в час театрального разъезда я сижу на террасе кафе «Мадрид», то он и вовсе у меня под рукой, вернее – перед глазами. Но не мне вам это расписывать.

– Нет! Но при таком вашем равнодушии вы, право же, напрасно надеетесь внушить мне симпатию к путешествиям.

– Милый маркиз, я все же не откажусь от этой попытки. Как мне иначе доказать свою признательность за ваше доверие? Я уже думал, почему бы вам не взять с собой мадемуазель Заза?

– Невозможно, Круль. Как могла прийти вам в голову эта мысль? Намерения у вас благие, но идеи никуда не годятся. Я уж не говорю о контракте Заза с «Фоли мюзикаль». Контракт можно порвать. Но я не могу путешествовать с Заза и в то же время ото всех таить ее. Да и вообще возить с собой по всему свету женщину, на которой ты не женат, довольно затруднительно. Но, кроме того, я везде буду до известной степени под наблюдением: у моих родителей обширное знакомство, отчасти даже официальное, – и они, конечно, незамедлительно узнают, что я взял с собой Заза и тем самым, с их точки зрения, сделал свое путешествие совершенно бессмысленным. Воображаю, в какое они придут негодование! Первым делом они закроют мне кредит. Далее, согласно их плану, я должен некоторое время погостить в семье крупных аргентинских скотоводов, с которыми они познакомились на одном из французских курортов. Что ж, прикажете мне чуть ли не на месяц оставить Заза одну в Буэнос-Айресе, подвергая ее всем опасностям и соблазнам тамошней жизни? Нет, ваше предложение не выдерживает критики.

– Я уж и сам так подумал, когда говорил. Беру его обратно.

– Иными словами, оставляете меня в беде. Вы за меня пришли к выводу, что я должен ехать один. Вам легко. А я вот не могу. Я должен ехать, а хочу остаться. Иными словами, я стремлюсь соединить несоединимое – путешествовать и сидеть в Париже. Видно, мне надо раздвоиться – одна часть Луи Веносты отправится в путешествие, а другая будет подле его милой Заза. И самое существенное, чтобы последней был я. Короче говоря, путешествие должно идти параллельно. Луи Веноста должен быть тут и там. Вы следите за ходом моей мысли?

– Пытаюсь, маркиз. Вы хотите сказать, что все это должно иметь такой вид, будто вы путешествуете, на деле же вы не тронетесь с места.

– Правильно... До отчаяния правильно.

– До отчаяния, потому что у вас нет двойника.

– В Аргентине никто меня в лицо не знает. И я ничего не имею против того, чтобы в чужих краях выглядеть по-другому. Мне даже было бы приятно казаться там авантажнее, чем здесь.

– Следовательно, в путешествие должно пуститься ваше имя, временно присвоенное другому человеку?

– Но, конечно, не первому встречному.

– Само собой разумеется. Тут выбор должен быть произведен самый что ни на есть тщательный.

Он налил себе полный бокал, большими глотками осушил его и с многозначительным жестом поставил на стол.

– Круль, – сказал он, – я уже сделал этот выбор.

– Так быстро? Без должной осмотрительности?

– Да мы уже битый час сидим здесь и разговариваем.

– Мы? Что вы имеете в виду?

– Круль, – повторил он, – я называю вас вашим именем, именем человека из хорошей семьи, от которого, конечно, не легко отказаться даже на время и даже для того, чтобы стать человеком из семьи. Способны ли вы сделать это и таким образом выручить друга из беды? У вас тут сорвалось, что вы не охотник до путешествий. Но нелюбовь к перемене мест – как мало она весит в сравнении с ужасом, который охватывает меня при мысли покинуть Париж! Вот вы сказали, вернее, мы вместе пришли к выводу, что обязательства, возложенного на меня родителями, никто с меня не снимет. А что, если бы вы все-таки сняли его с меня?

– По-моему, милый маркиз, вы сейчас вдалились уже в область фантастики.

– Почему? И почему вы говорите о фантастике как о совершенно чуждой вам сфере? С вами все обстоит не совсем обычно, Круль! Я назвал эту необычность интригующей, а потому даже таинственной. Если бы я вместо этого сказал «фантастической» – разве вы рассердились бы на меня?

– Нет, потому что вы бы при этом ничего дурного не думали.

– Еще бы! И, значит, вы не можете сердиться ни за то, что невольно натолкнули меня на эту мысль, ни за то, что, пока мы сидели здесь, мой выбор – очень привередливый выбор – пал на вас.

– На меня как на человека, который там, в чужих краях, будет носить ваше имя, в глазах людей будет вами, сыном ваших родителей, не только членом вашей семьи, но именно вами? Продумали ли вы все это так, как это необходимо продумать?

– Там, где я буду, я ведь останусь самим собой.

– Но во внешнем мире вы будете другим, а именно мною. Во мне будут видеть вас. Вы уступаете мне на время самого себя. «Там, где я буду», – говорите вы. А где вы будете на самом деле? Это ведь становится несколько неопределенным и для меня и для вас. И если для меня это хорошо, то каково будет вам? Вы не боитесь почувствовать себя очень уж неудобно, будучи самим собой лишь на ограниченном пространстве, а во всем остальном мире существуя только во мне и через меня?»

– Нет, Круль, – тепло ответил он и через стол протянул мне руку. – Неуютно я себя чувствовать не буду. Для Луи Веносты было бы совсем не худо, если б вы на время уступили ему свое «я» и он, в вашем обличье, разгуливал бы среди людей. Так что ж плохого, если в чужих краях его имя будет связано с вами? У меня есть смутное подозрение, что и другим людям пришлось бы очень по вкусу, если б эта связь была установлена самой природой. Но им остается примириться с тем, что есть, меня же такие причуды действительности ничуть не тревожат. На деле я там, где я с Заза. Вы же мне очень нравитесь как Луи Веноста, путешественник. Я с величайшим удовольствием предстану перед людьми в вашем обличье. Вы отличный малый в обеих своих ипостасях – как джентльмен и как кельнер. Вашим манерам мог бы позавидовать любой дворянин. Вы говорите на нескольких языках, а если речь пойдет о мифологии, что, впрочем, почти никогда не случается, то Гермеса вам хватит за глаза. Большого никто с дворянина и не спрашивает, я бы даже сказал, что бюргеру в этом смысле приходится куда хуже. Учтите это обстоятельство при своем решении. Итак, вы согласны? И я могу рассчитывать на эту величайшую дружескую услугу?

– Но понимаете ли вы, милый маркиз, – сказал я, – что до сих пор мы с вами парили в надзвездных сферах и не обсудили еще ни одной из тех сотен трудностей, которые нам необходимо предусмотреть?

– Вы правы, – отвечал он. – И это, кстати, служит мне напоминанием еще раз позволить к Заза. Надо предупредить ее, что я задержусь, так как веду переговоры, от которых зависит все наше счастье. Прошу прощения!

Он ушел и не возвращался дольше, чем в прошлый раз. Сумерки сгустились над Парижем, и терраса была уже давно залита белым светом дуговых фонарей. Она совсем опустела, надо думать, до окончания театров. Я чувствовал, как увядает у меня в кармане билет в Комическую оперу, но даже не обратил внимания на этот печальный процесс, в другое время очень бы меня огорчивший. В голове моей роились встревоженные мысли, и разум, если можно так выразиться, стерег их, призывал к осмотрительности, не позволяя им, хоть это и трудно ему давалось, раствориться в сплошном упоении. Я был рад, что остался один и мог спокойно оценить положение, наперед обдумать многое из того, о чем мне следовало упомянуть в дальнейшем разговоре. Боковая дорожка, счастливое ответвление пути, на возможность которого мне указал крестный, открылась сейчас передо мной в столь заманчивом виде, что разуму было очень нелегко определить: не заведет ли она меня в тупик? Разум твердил мне, что я вступаю на опасную тропу и что идти по ней можно лишь очень уверенным шагом. Он твердил это весьма настоятельно, но от его настояний только возрастала прелесть будущих приключений, которые потребуют от меня отважного применения всех моих талантов. Храбреца нельзя предостеречь, разъяснив ему, что для данного дела от него потребуются недюжинная храбрость. Я не скрою, что решился ринуться в эту аферу еще задолго до того, как вернулся мой партнер, более того, что решение было принято мною уже тогда, когда я сказал ему, что никто не снимет с него обязательства, которое он взял на себя. В ту минуту меня заботили не столько практические трудности, могущие возникнуть при осуществлении нашего плана, сколько то, что излишняя готовность могла выставить меня перед Веностой в сомнительном и невыгодном свете.

Впрочем, он и без того видел меня в свете достаточно сомнительном; об этом свидетельствовали эпитеты, которые он применял к моему образу жизни: «интригующий», «таинственный», даже «фантастический». Я не строил себе никаких иллюзий насчет того, что не к каждому джентльмену маркиз де Веноста обратился бы с предложением, которым почтил меня, но почтил как-то сомнительно. И все же я не мог забыть теплоту его рукопожатия, когда он заверил меня, что не будет чувствовать себя

неуютно, существуя в моем обличье, и говорил себе, что если вся эта затея и есть настоящее плутовство, то он, снедаемый желанием провести своих родителей, более повинен в нем, чем я, хотя на мою долю и выпадает роль куда более активная. Когда он вернулся после телефонного разговора, я еще раз убедился, что эта идея вдохновляет его в значительной мере ради нее самой, то есть ради плутовства как такового. Его детские щеки покраснели не только от вина, а в глазах блестело лукавство. В ушах у него, наверно, еще звучал серебристый смех, которым Заза отозвалась на его намеки.

– Милый мой Круль, – начал он, снова подсаживаясь ко мне, – мы с вами всегда были на дружеской ноге, но кто бы еще вчера мог подумать, что мы так сблизимся, сблизимся до неразличимости. То, что мы надумали, или, вернее, еще не совсем надумали, но затеяли, до того забавно, что я чуть не лопаюсь от смеха. А вы, почему вы строите такую серьезную мину? Я взываю к вашему чувству юмора, Круль, к вашей любви к хорошей шутке, до того хорошей, что, право же, стоит потрудиться над ее подробной разработкой, уж не говоря о том, что она идет на пользу любящей чете. Ну, а что вы, третий, остаетесь внакладе, этого вы ведь не станете утверждать. Собственно, вся забавная сторона достанется вам. Разве не так?

– Я не привык смотреть на жизнь, как на забавную шутку, милый маркиз. Ветреность не свойственна моему характеру; кроме того, есть шутки, к которым надо относиться с полной серьезностью, иначе не стоит и затевать их. Хорошая шутка получается только тогда, когда в нее вкладываешь всю свою серьезность.

– Отлично. Мы так и поступим. Но вы говорили о каких-то проблемах, трудностях. В чем вы в первую очередь их усматриваете?

– Будет лучше, маркиз, если вы мне разрешите задать вам несколько вопросов. Куда, собственно, вас обязуют ехать?

– Ах, папа с отеческой заботливостью разработал маршрут, очень привлекательный для всех, кроме меня: обе Америки, острова Южных морей и Япония, затем интереснейшее морское путешествие в Египет, Константинополь, Грецию, Италию и тому подобное. Словом, путешествие с образовательной целью, точь-в-точь как в книге и лучше которого, не будь у меня Заза, я бы не мог себе и представить. Ну, а теперь мне остается только пожелать вам с пользой и удовольствием совершить его.

– А путевые расходы ваш отец берет на себя?

– Разумеется. Он жертвует двадцать тысяч франков, чтобы я путешествовал, как подобает маркизу Веносте. И это не считая железнодорожного билета до Лиссабона и пароходного в Аргентину – это мой первый пункт назначения. Папа самолично позаботился о том, чтобы мне была оставлена каюта на «Кап Аркона». Двадцать тысяч он поместил во французский банк, в форме так называемого циркулярно-кредитного письма, адресованного в банки основных пунктов моего путешествия.

Я выжидал.

– Само собой разумеется, что это письмо я вручу вам, – добавил он.

Я по-прежнему молчал. Он пояснил:

– И, конечно, билеты – тоже.

– А на что вы будете жить, – поинтересовался я, – в моем лице растрачивая деньги в

чужих краях?

– На что я буду... ах, да! Вы меня просто ошарашили. У вас такая манера задавать вопросы, словно вы нарочно стараетесь ввергнуть меня в смятение. А правда, милый Круль, как же мы это устроим? Я, честное слово, не привык думать, на что я буду жить в следующем году.

– Я только хотел обратить ваше внимание на то, что не так-то просто одолжить кому-нибудь свою личность. Но оставим этот вопрос. Я не хочу принуждать вас к ответу, это уже походило бы на ловкачество, а там, где пахнет ловкачеством, я пасую. Это не gentlemanlike.

– Я только полагал, друг мой, что вам удастся перенести известную толику ловкости и сноровки из другого вашего существования в существование джентльмена.

– Оба мои существования связывает нечто куда более прочное: кое-какие сбережения, очень скромный текущий счет...

– Я ни в коем случае не хочу им воспользоваться.

– Мы уж как-нибудь учтем это при наших расчетах. Есть у вас при себе какие-нибудь орудия письма?

Он быстро ощупал свои карманы.

– Да, вечная ручка. Но бумаги – ни клочка.

– У меня есть.

Я вырвал листок из своей записной книжки.

– Мне хотелось бы посмотреть вашу подпись.

– Зачем? Впрочем, как вам угодно. – Сильно склонив влево ручку, он начертал свое имя и пододвинул мне листок. Эта подпись, даже вверх ногами, выглядела очень забавно. Она не кончалась росчерком, а скорее начиналась с него. Нижнее закругление «Л» продолжалось вправо и, описав дугу, возвращалось назад, чтобы, перечеркнув себя, дальше, уже в овале, образовавшемся от этого росчерка, узкими, наклоненными влево буквами закончить крестное имя и «маркиз де Веноста». Я не мог удержаться от улыбки, но тем не менее одобрительно кивнул ему.

– Наследственная или собственного изобретения? – спросил я, беря у него из рук вечное перо.

– Наследственная, – отвечал Луи. – Папа расписывается так же, но менее красиво, – добавил он.

– Значит, вы его превзошли, – проговорил я машинально, так как был занят попыткой воспроизвести подпись, которая, кстати сказать, вполне удалась мне. – Слава богу, мне не вменяется в обязанность превзойти вас. Это было бы даже ошибкой.

Тем временем я изготовил уже и вторую копию, на мой взгляд, менее удачную. Зато третья опять получилась безукоризненно. Я зачеркнул две первые и подал ему листок. Он оторопел.

– Невероятно! – воскликнул он. – Кажется, будто вы просто свели ее через копирку. А вы еще ничего не хотите слышать о ловкачестве! Но я сам не так уж неловок, как вы думаете, и отлично понимаю смысл ваших упражнений. Вам нужна моя подпись для реализации циркулярно-кредитного письма.

– А как вы подписываетесь в письмах родителям?

Он недоуменно взглянул на меня, но тут же понял.

– Ну, конечно же, я должен время от времени писать старикам, хотя бы открытки. Что за молодчина! Вы обо всем подумали! Дома меня зовут Лулу, потому что я в детстве сам себя так называл. Вот как я это делаю.

Делал он это так же, как и при полной подписи: щеголеватое «Л», затем овал, перекрещивающийся с первой буквой, и внутри его «улу» – косыми буквами, с наклоном влево.

– Хорошо, – сказал я, – с этим мы справимся. Есть у вас при себе хотя бы несколько строк, написанных вашей рукой?

К сожалению, у него таковых не оказалось.

– Тогда напишите, – попросил я, протягивая ему чистый листок бумаги. Пишите: «Mon cher papa[156 - мой дорогой папа (франц.)], бесценная мама, шлю вам свою благодарность и привет из этого прекрасного города, ставшего весьма значительным этапом моего путешествия. Я упоен новыми впечатлениями и забываю о том, что некогда казалось мне самым важным в жизни. Ваш Лулу». Что-нибудь в этом роде.

– Нет, точно так! Это просто великолепно. Круль, vous etes admirable![157 - Вы очаровательны! (франц.)] Маг и волшебник!

И он, слово в слово, написал мои фразы прямыми буквами, несколько склоняющимися влево и настолько же тесно прилегающими друг к другу, насколько далеко разбегались буквы у моего покойного отца, но воспроизвести которые было также нетрудно. Образчик я сунул себе в карман. Потом я расспросил его о слугах в замке, о поваре, поварятах, о кучере, которого звали Клосман, о камердинере маркиза, уже одряхлевшем шестидесятилетнем человеке по имени Радикюль и камеристке маркизы Аделаиде; собрал точные сведения даже о домашних животных, верховых лошадях, левретке Фрипон и мальтийской болонке маркизы – Миниме, существе, постоянно страдавшем расстройством пищеварения. Веселость наша возрастала по мере дальнейшего разговора, хотя ясность мысли Лулу и способность трезво оценивать вещи мало-помалу помрачились. Я удивился, почему в его маршруте не предусмотрен Лондон. Оказалось, что Лулу хорошо знал его, ибо провел там два года в качестве ученика частного пансиона.

– Тем не менее, – сказал он, – хорошо бы включить в программу еще и Лондон. Я бы уж сыграл штучку со стариком и в разгар путешествия махнул бы оттуда в Париж к Заза!

– Да вы же не будете с ней разлучаться!

– Верно! – крикнул он. – И это всем штучкам штучка! А я придумал какую-то ерунду, которая с ней и в сравнение не идет. Pardon. От всего сердца прошу Прощения. Штучка в том-то и состоит, что я упиваюсь новыми впечатлениями и в то же время остаюсь подле

Заза. Подумать только, что я должен соблюдать осторожность и не могу отсюда осведомляться о Радикюле, Фрипон и Миниме, но в то же время буду спрашивать о них с Занзибара. Разумеется, это нельзя объединить, хотя объединение двух личностей на большом расстоянии друг от друга и состоится. Послушайте, Круль, ситуация требует, чтобы мы с вами выпили на брудершафт! Надеюсь, вы не против? Когда я разговариваю сам с собой, я тоже не обращаюсь к себе на «вы». Так решено? Выпьем по этому случаю! Твое здоровье, Арман, я хочу сказать – Феликс, или, вернее, Лулу. Запомни, ты не смеешь из Парижа спрашивать, как поживают Клосман и Аделаида, только с Занзибара! Иначе я возьму да и не поеду на Занзибар, а значит, и ты тоже. Но все равно, где бы я в основном ни находился, а из Парижа мне надо исчезнуть. Ты замечаешь, как ясно я мыслю? Нам с Заза надо сматываться; я уж употреблю такое жульническое выражение. Разве мазурики не говорят «сматываться»? Ну, да откуда тебе, джентльмену, а теперь еще вдобавок молодому человеку из семьи, это знать! Надо объявить домовладельцу, что я съезжаю, и то же самое проделать с квартирой Заза. Мы переберемся куда-нибудь в предместье – в Булонь или в Севр, и то, что от меня останется – немало, конечно, ибо этот остаток будет с Заза, – обзаведется другим именем, логика требует, чтобы я назвался Крулем; так или иначе, а мне необходимо изучить твою подпись, надеюсь, что на это ловкости у меня хватит. Там, в Версале или еще где-нибудь подальше, куда я путешествую, мы с Заза сошьем себе гнездышко, жульническое и веселое... Но, Арман, я хочу сказать – дорогой Лулу, – он постарался как можно шире раскрыть свои маленькие глазки, – ответь мне, ради бога, на такой вопрос: на что мы с тобой будем жить?

Я отвечал, что, едва затронув этот вопрос, мы уже разрешили его. У меня имеется банковский счет на двенадцать тысяч франков, который я и предоставляю в его распоряжение в обмен на кредитное письмо.

Маркиз был тронут до слез.

– Джентльмен! – воскликнул он. – Джентльмен с головы до пят! Если не ты, то я уж и не знаю, кто имеет право передавать привет Миниме и Радикюлю! Наши родители с восторгом передадут тебе от них ответный поклон. Последний бокал за джентльменов, которыми мы с тобой являемся!

Наша встреча здесь наверху так затянулась, что мы пересидели часы затишья. Поднялись мы, только когда уже спустилась легкая, теплая ночь и терраса вновь начала наполняться народом. Несмотря на мои протесты, он оплатил оба обеда и четыре бутылки лафита.

– Вместе, считайте все вместе! – крикнул он метрдотелю. – Мы одно существо в двух лицах. Наше имя Арман де Крулоста!

– Слушаюсь, – отвечал метрдотель с всепрощающей улыбкой, которая тем легче далась ему, что на чай он получил сумму поистине невероятную.

Веноста довез меня в фиакре до моего квартала. По дороге мы условились относительно новой встречи, когда я должен был вручить ему свои наличные деньги, а он мне свое кредитное письмо и оба билета.

– Bonne nuit, a tantot, monsieur le marquis![158 - Ну, а сейчас спокойной ночи, господин маркиз! (франц.)] – воскликнул он с хмельной веселостью, пожимая мне руку. Я впервые услышал из его уст это обращение, и от мысли о единстве реальности и видимости, которую мне даровала жизнь, претворившая видимость в реальность, меня обдало холодком восторга.

Как жизнь изобретательна, как она умеет осуществлять наши детские мечты, делать их из расплывчатых и туманных, твердыми и осязаемыми! Разве моя мальчишеская фантазия не предвосхитила очарования инкогнито (которое я теперь вкушал, в течение нескольких дней продолжая выполнять обязанности кельнера) еще в ту далекую пору, когда никто и понятия не имел о том, что я принц Карл? Забавная и сладостная пора! Теперь она стала действительностью, в той мере и степени, в какой я на целый год – о том, что будет по окончании этого срока, я старался не думать – становился обладателем дворянской грамоты маркграфа! Упоительное сознание! Я наслаждался им от минуты пробуждения до самой ночи и снова так, что никто из окружающих в доме, где я играл роль кельнера в голубом фраке, ровно ни о чем не подозревал.

Снисходительный читатель! Я был очень счастлив. Я ценил и любил в себе светскую манеру, которая себялюбиво сообщает видимость любви к окружающим. Какого-нибудь дурня это тайное сознание, возможно, заставило бы выказывать непокорство и дерзость в отношении, вышестоящих и чванливое недружелюбие к малым сим. Я же никогда еще не был так обаятельно учтив с посетителями ресторана; голос мой, когда я говорил с ними, никогда не звучал так мягко и сдержанно; с теми же, кто считал меня за «своего брата», – с коллегами кельнерами и товарищами по дортуару на верхнем этаже, – я никогда не был столь весел и мил, как в те дни, для меня окрашенные прелестью тайны и пронизанные улыбкой, которая, впрочем, скорее ее стерегла, чем выдавала; стерегла, хотя бы уж из чистого благоразумия, ибо, как знать, разве не могло случиться, что носитель «моего» нового имени на следующее утро, протрезвев и образумившись, пожалел о нашем уговоре и решил от него отказаться. Я был достаточно осторожен, чтобы с бухты-барахты не бросать работы у моих хлебодателей; хотя, собственно, серьезных оснований для тревоги у меня не было. Очень уж радовался Веноста найденному – впрочем, найденному сначала мною, а потом уже им – разрешению вопроса, а притягательная сила Заза была мне порукой неизменности побуждений маркиза.

Я не обманулся. Наш торжественный сговор имел место десятого июля, а следующая, уже заключительная встреча должна была состояться не ранее двадцать четвертого. Но мы свиделись уже семнадцатого или восемнадцатого, так как он со своей подругой пришел обедать в «Сент-Джемс» и, осведомившись о том, не передумал ли я, подтвердил непоколебимость своего решения.

– *Nous persistons, n'est-ce pas?*[159 - Мы остались при своем решении, правда? (франц.)] – прошептал он, когда я ставил перед ним тарелку, на что я ответил столь же решительным, сколь и дискретным: – *C'est entendu*[160 - это дело решенное (франц.)].

Я служил ему с почтительностью, собственно говоря, скорее свидетельствующей о самоотвержении, и несколько раз из благодарности величал Заза, которая не удержалась от того, чтобы лукаво не подмигнуть мне, «*madame la marquise*».

После этого я, уже не боясь совершить легкомысленный поступок, объявил мсье Махачеку, что семейные обстоятельства вынуждают меня не позднее первого августа покинуть службу. Он об этом и слышать не хотел, говорил, что я просрочил время для предупреждения, что он не может без меня обойтись, что после такого самовольного ухода меня уже никто не возьмет на работу, грозился не заплатить мне жалованья за текущий месяц и так далее. Достиг он этим только того, что я, притворившись, будто он пронял меня своими доводами, почтительно ему поклонился, но про себя решил уйти из

«Сент-Джемса» еще до первого числа, то есть немедленно. Ибо если мне и казалось, что время до начала моего нового и высшего существования тянется нестерпимо долго, то на самом деле его уже оставалось в обрез для подготовки к путешествию и приобретению гардероба, соответствующего моему новому положению в свете. Я твердо знал: пятнадцатого августа мой пароход «Кап Аркона» выходит из лиссабонской гавани – и решил, что еще за неделю до того должен прибыть в столицу Португалии, из чего читатели видят, как я был ограничен в сроках для приготовлений и покупок.

Обо всем этом я тоже договорился с путешественником-домоседом, когда после перевода моего наличного капитала на его, вернее, на мое имя, я, уже живший в те дни в своей частной комнате, посетил его хорошенькую трехкомнатную квартирку на улице Круа де Пти Шан. Из отеля я ушел в тихий предутренний час, с презрением оставив там свою ливрею и нимало не сокрушаясь о пропавшем жалованье за последний проработанный мною месяц. Мне потребовалось известное усилие воли, чтобы назвать лакею, отворившему дверь у Веносты, свое изношенное, давно уже опротивевшее мне имя, и утешило меня только сознание, что я называюсь им в последний раз. Луи встретил меня с шумливой приветливостью и первым делом вручил мне циркулярно-кредитное письмо, столь необходимое для нашего путешествия: сложенный вдвое лист, одна часть которого являлась собственно денежным документом, то есть подтверждением банка, что путешествующий клиент имеет право востребовать любую сумму, не превышающую указанной в документе; на второй имелся список корреспондирующих банков в городах, которые намеревался посетить получатель. В книжечке имелось и место для образца подписи последнего, уже заполненное Луи все в той же легко усвоенной мною манере. Затем он передал мне не только билеты до Лиссабона и далее до Буэнос-Айреса, но – славный малый – еще и прощальные подарки: плоские золотые часы с ремонтуаром, к ним изящную платиновую цепочку, а также черную шелковую *chatelaine* для вечернего костюма с выгравированными золотом инициалами «Л.д.В.» и еще одну золотую цепочку со спичечницей, ножичком, карандашом и миниатюрным золотым портсигаром, которая по тогдашней моде тянулась из-под жилета в задний карман брюк. Все это было очень мило, но затем наступил поистине торжественный момент, когда он надел мне на палец заказанную им точную копию своего кольца-печатки с выгравированным на малахите фамильным гербом – ворота замка с грифами и сторожевыми башнями по бокам. Этот акт, это пантомимическое «будь, как я» живо напомнили мне знакомые каждому ребенку истории с переодеванием и достижением высокого сана, так что я почувствовал себя взволнованным до глубины души. Но глазки Лулу смеялись плутоватее, чем обычно, свидетельствуя о том, что он не намерен упускать ни одной подробности этой шутки, которая сама по себе, независимо даже от цели, ею преследуемой, безмерно его забавляла.

Мы обсудили еще многое, выпив при этом не одну рюмочку бенедиктина и куря превосходные египетские сигареты. Вопрос о почерке его больше ни в какой мере не заботил, но он очень одобрил мое намерение пересылать ему с дороги по новому, уже установленному адресу (Севр, Сена и Уаза, улица Бранка) письма, которые будут приходить ко мне от родителей, чтобы я мог уже от него, пусть с опозданием, узнавать кое-какие подробности из жизни семьи или знакомых; все их предусмотреть заранее, конечно, не представлялось возможным. Затем его осенило, что он ведь как-никак художник, а значит, и мне хотя бы время от времени придется что-то писать или зарисовывать. И как же я, *nom d'un nom*[161 - черт возьми (франц.)], с этим справлюсь!

– Не стоит унывать из-за таких пустяков, – сказал я и попросил у него альбом, в котором на грубой бумаге то мягким карандашом, то мелом было набросано несколько ландшафтов, женских головок и эскизов полуобнаженной или обнаженной натуры, для которых ему явно сидела, или, вернее, лежала, Заза. Что касается набросков головок, выполненных, я бы сказал, с не совсем оправданной смелостью, то он сумел придать им

известное сходство – не слишком большое, но все же. Зато ландшафты маркиза отличались совсем уж бесконтрольной призрачностью и расплывчатостью очертаний, объяснявшейся, впрочем, довольно просто: все линии, едва намеченные, были вдобавок еще подчищены и, если можно так выразиться, втерты одна в другую; было то художественным приемом или шарлатанством, этого я решать не берусь, но зато я тотчас решил, что как бы там это кропанье ни называлось, а я сумею сделать не хуже. Я попросил у него мягкий карандаш и палочку с почерневшим от долгого употребления фетровым наконечником, при помощи которой он сообщал нездешнюю таинственность своей продукции, и, несколько секунд поглядев в пустоту, довольно-таки неумело изобразил сельскую церковь и рядом с ней наклоненные бурей деревья, причем я уже во время работы при помощи фетрового наконечника сообщил этой детской мазне отпечаток гениальности. Луи несколько опешил, когда я показал ему свое творение, но в то же время обрадовался и поспешил заверить меня, что я могу, не робея, называть себя художником.

К чести его надо сказать, что он от души сокрушался над тем, что у меня уже не оставалось времени съездить в Лондон и заказать себе у его поставщика, знаменитого портного Поля, необходимые костюмы, фрак, визитку, cutaway[162 - сюртук (англ.)] и к нему брюки в узенькую полоску, а также темные и светло-синие куртки, и был приятно поражен тем, как точно я знал, что из полотняного и шелкового белья, всевозможной обуви, шляп и перчаток мне нужно еще приобрести для достойной экипировки. Многое я успел купить в Париже, и хотя мне следовало бы еще заказать здесь несколько костюмов, я решил не затевать этой канители на том приятном основании, что всякий более или менее сносный готовый костюм сидел на мне как изделие первоклассного портного.

Приобретение кое-каких мелочей, а главное белого тропического гардероба, я решил отложить до Лиссабона. Веноста вручил мне для последних парижских покупок еще несколько сот франков из денег, которые родители оставили ему в качестве «подъемных», и к ним добавил сотню-другую из полученного от меня капитала. В силу свойственной мне порядочности я обещал вернуть ему эти деньги из своих дорожных сбережений. Он еще передал мне свой альбом, карандаши и палочку с фетровым наконечником, а также коробку визитных карточек с нашим именем и его нынешним адресом; затем мы обнялись, покатываясь со смеху; он похлопал меня по спине, пожелал мне как можно полнее насладиться новыми впечатлениями и отпустил меня в широкий мир.

Еще две недели с небольшим, благосклонный мой читатель, и я уже катил навстречу этому миру в украшенном зеркалами одноместном купе норд-зюйд-экспресса; приятно было в отлично выутюженном костюме из английской фланели и в лакированных ботинках со светлыми гетрами, закинув ногу за ногу, расположиться на сером плюшевом диване и, прислонившись головой к кружевным антимакассарам на его удобной спинке, смотреть в окно. Свой туго набитый сундук я сдал в багаж, ручные чемоданы из телячьей и крокодиловой кожи с монограммами «Л.д.В.» и девятизубчатой короной лежали в сетке у меня над головой.

Мне не хотелось что бы то ни было делать, даже читать. Сидеть и быть тем, кем я был, – можно ли придумать что-нибудь лучше? Лирическая нега овладела моей душой, но не прав будет тот, кто подумает, что это счастливое состояние было вызвано исключительно или преимущественно тем, что я сделался столь знатной персоной. Нет, изменение и обновление моего поношенного «я», возможность сбросить с себя надоевшую мне оболочку и влезть в новую – вот что переполняло меня счастьем. И тут мне пришло в голову, что такая перемена бытия не только чудодейственно освежает, но еще и дарит меня радостным забвением, ибо теперь мне надо было изгнать из памяти все

воспоминания, связанные с жизнью, которой я больше не жил. Сидя здесь, я уже не имел на них права; и, сказать по правде, то была небольшая потеря. Мои воспоминания? Нет, нет, совсем не потеря то, что они уже не мои. Трудновато только, пожалуй, заменить их теми, которые мне сейчас подошли, ибо этим последним недоставало точности. Странное ощущение ослабевшей, я бы даже сказал, опустевшей памяти охватило меня в моем роскошном уголке. Я обнаружил, что ничего не знаю о себе, кроме того, что мое детство прошло в Люксембургском замке, и лишь два-три имени, вроде Радикюля и Миними, сообщали известную реальность новому моему прошлому.

Более того, чтобы представить себе замок, в стенах которого я вырос, я должен был призывать на помощь изображения английских замков на фарфоровых тарелках, с которых некогда, во времена моего низменного существования, я счищал остатки, а это уже походило на недопустимое вторжение отринутых воспоминаний в те, что отныне мне подошли.

Вот мысли и соображения, роившиеся в мозгу мечтателя под торопливый ритмический стук поезда, и, надо сказать, мысли, отнюдь не неприятные. Напротив, мне казалось, что эта внутренняя пустота, эта расплывчатая неопределенность воспоминаний в своей меланхолии наилучшим образом сочетается с моим видным общественным положением, и я даже был доволен, что все это находит свое отражение в моем взгляде – задумчиво-мечтательном, слегка тоскливом взгляде аристократа.

Поезд вышел из Парижа в шесть часов. Когда сумерки сгустились и в вагоне зажегся свет, мое купе показалось мне еще элегантнее. Кондуктор, человек уже в годах, тихонько постучавшись, спросил разрешения войти и, получив таковое, почтительно приложил руку к фуражке; возвращая билет, он снова откозырял. Этому славному человеку, на лице которого были написаны честность и добропорядочность, при исполнении своих обязанностей приходилось соприкасаться с представителями самых различных слоев общества, в том числе с подозрительными элементами, и сейчас ему было приятно приветствовать в моем лице благовоспитанного аристократа, самый вид которого производит облагораживающее действие. И право, этому кондуктору уже нечего было тревожиться о моей участи, когда я перестану быть его пассажиром. На сей раз и я вместо участливых расспросов о его семейном положении только благосклонно ему улыбнулся и кивнул сверху вниз; он же, как человек консервативных взглядов, от такой милости, надо думать, преисполнился преданности, граничащей с готовностью защищать меня собственной грудью.

Официант, разносивший билетки на обед в вагон-ресторане, тоже дал знать о себе деликатным стуком в дверь. Я взял у него номер, и так как вскоре уже зазвонил гонг, возвещавший начало обеда, то я, чтобы немного освежиться, вынул из сетки свой несессер, изобилующий самыми различными дорожными принадлежностями, поправил галстук перед зеркалом и пошел по вагонам в ресторан, где корректнейший метрдотель гостеприимным жестом тотчас же пододвинул мне стул.

За этим же столиком усердствовал над закуской пожилой господин изящного сложения, несколько старомодно одетый (насколько мне помнится, на нем был высокий стоячий воротничок), с седоватой бородкой, который в ответ на мое учтивое «добрый вечер» поднял на меня свои звездные глаза. В чем была эта «звездность», я сказать затрудняюсь. Может быть, его зрачки были особенно светлы, излучали мягкое сияние? Конечно, но разве поэтому я назвал его взгляд «звездным»? Ведь когда мы говорим, к примеру, о радужной оболочке глаза – это звучит привычно и является обозначением физиологическим, сказать же, что у человека радужный взор, – уже оценка его морального своеобразия; так обстояло дело и с его звездными глазами. Взгляд их не сразу от меня оторвался; этот взгляд, пристально следивший за тем, как я усаживался, и

державший в плену мой взгляд, поначалу, собственно, не выражал ничего, кроме добродушной серьезности, но вскоре в нем блеснула какая-то одобрительная, вернее поощряющая улыбка, сопровождаемая легкой ухмылкой рта над бородкой. Пожилой господин ответил на мое приветствие с большим опозданием, когда я уже сел и взялся за меню. Получилось, как будто я пренебрег этой необходимой учтивостью и звездоглазый наставительно опередил меня. Поэтому я непроизвольно повторил:

– Bon soir, monsieur[163 - добрый вечер, мсье (франц.)].

Он же дополнил свой взгляд словами:

– Желая вам приятного аппетита. – И еще добавил: – Впрочем, ваша молодость неоспоримо свидетельствует о наличии такового.

Думая про себя, что человек со звездными глазами может позволить себе роскошь вести себя несколько необычно, я ответил ему улыбкой и легким наклоном головы, хотя мое внимание в этот миг уже сосредоточилось на сардинах и салате, которые мне подали. Мне хотелось пить, я заказал бутылку эля, и мой седобородый визави, не убоившись упрека в непрошеном вмешательстве, снова выразил мне свое одобрение.

– Весьма разумно, – сказал он. – Весьма разумно пить вечером крепкое пиво. Пиво успокаивает и помогает заснуть, тогда как вино обычно действует возбуждающе и разгоняет сон, кроме тех случаев, когда уж очень сильно напьешься.

– Это совсем не в моем вкусе!

– Я так и думал. В общем, нам ничто не мешает по желанию продлить свой ночной отдых. В Лиссабоне мы будем только около полудня. Или вы едете не до конца?

– Нет, я еду до Лиссабона. Надо признаться, его долгий путь.

– Вероятно, вы впервые совершаете столь длинное путешествие?

– Расстояние от Парижа до Лиссабона, – сказал я, уклоняясь от прямого ответа, – лишь ничтожное расстояние по сравнению с тем, которое мне предстоит покрыть.

– Смотрите-ка! – воскликнул он шутливо, делая вид, что поражен моими словами. – Вы, значит, намерены всерьез проинспектировать нашу звезду и ее нынешнее население?

В сочетании со своеобразием его глаз то, что он назвал землю звездой, показалось мне особенно странным. А слово «нынешнее» применительно к «населению» сразу пробудило во мне ощущение большого, неизмеримого пространства. Кроме того, в его манере говорить и в мимике было что-то от разговора взрослого с ребенком, пусть смысленным, но ребенком, что-то мягкое и дразнящее. Зная, что я выгляжу еще моложе своих лет, я на это не обиделся.

Он отказался от супа и празднично сидел напротив меня, только время от времени наливая себе в стакан виши, что ему приходилось проделывать очень осторожно, так как вагон сильно качало. Занятый едой, я на минуту удивленно поднял глаза от тарелки, но не стал вдумываться в его слова. Он же, видимо, не желая, чтобы разговор иссяк, начал снова:

– Итак, сколь бы далекий путь вам ни предстоял, к началу его не надо относиться легкомысленно только из-за того, что это начало. Вы приедете в очень интересную страну, с большим прошлым, страну, которой обязаны благодарностью все любители

путешествий, ибо в давние времена много путей было открыто ею. Лиссабон (надеюсь, вы не ограничитесь только беглым его осмотром) был некогда богатейшим городом мира благодаря своим первооткрывателям; жаль, что вы не побывали в нем пять веков назад, он бы предстал перед вами окутанный благоуханиями заморских пряностей, лопатами загребающий золото. Увы, история значительно уменьшила его далекие и прекрасные владения. Но страна и люди – вы в этом сами убедитесь – остались обаятельными. Я говорю о людях, потому что в любостранствии заложена немалая доля тоски по неведомой человечности, страстного желания заглянуть в чужие глаза, в чужие лица, порадоваться иной стати, иным обычаям и нравам. Так это или не так, по-вашему?

Что мне было ему ответить? Я согласился с его суждением и с тем, что любостранствие в конечном счете лишь своего рода любознательность.

– В стране, которую вы завтра увидите, – продолжал он, – вам встретится весьма занятное своей пестротой смешение рас. Смешанным, как вам, конечно, известно, было еще коренное население Португалии – иберийцы и кельты. А в течение двух тысячелетий финикийцы, карфагеняне, римляне, вандалы, свевы и вестготы, но главным образом арабы, мавры, немало потрудились, чтобы создать тот тип, который вы увидите, с весьма привлекательным добавлением негритянской крови, крови чернокожих рабов, которых во множестве ввозила Португалия, когда еще владела всем африканским побережьем. Поэтому не удивляйтесь известной специфичности волос, губ и меланхолическому животному взгляду, характерному для тамошних жителей. Но решительно преобладающим типом, вы сами это увидите, является мавританско-берберийский еще со времен так долго длившегося арабского господства. Из всего этого произросла не слишком мощная, но очень приятная порода людей: темноволосая, с чуть желтоватой кожей и довольно изящного сложения, с умными, красивыми карими глазами...

– Я буду очень рад все это увидеть, – сказал я и добавил: – Разрешите спросить, сами вы тоже португалец?

– Нет, нет, – отвечал он, – но я уже давно осел в Португалии. И в Париж ездил сейчас лишь на краткий срок, по делам, по служебным делам. Что бишь я хотел сказать? Ах, да, немного осмотревшись, вы обнаружите арабско-мавританское начало и в архитектуре, притом во всех городах. Что касается Лиссабона, то считаю долгом вас предупредить, что он очень беден историческими памятниками. Вы же знаете, этот город расположен в сейсмическом центре, и одно только страшное землетрясение прошлого столетия на две трети разрушило его. Теперь это, впрочем, опять весьма нарядная столица со множеством достопримечательностей, так что я даже не знаю, на какую из них указать вам в первую очередь. Пожалуй, прежде всего вам следует посетить наш ботанический сад на западной возвышенности. В Европе нет ему равных, так как в этом климате тропическая флора произрастает наравне с флорой средней полосы. Он изобилует араукариями, бамбуком, папирусом, юкками и всевозможными пальмами. Но этого мало, там вы увидите деревья, которые, собственно, не принадлежат к современной растительности нашей планеты, а именно – древовидный папоротник [164 - Древовидный папоротник – Растение каменноугольного периода. Современные тропические древовидные папоротники, ствол которых достигает 20 метров в высоту, не являются столь древними, как утверждает Кукук. Они впервые появляются не в каменноугольном периоде, относящемся к первичной эре истории земли (палеозою), а лишь в конце вторичной эры (мезозою) – в меловом периоде.]. Пойдите туда сейчас же по приезде и взгляните на это растение каменноугольного периода. Это вам не коротенькая история культуры, это древность самой Земли.

Меня опять охватило ощущение беспредельных пространств, которое его слова уже однажды у меня вызвали.

– Конечно, я немедленно туда отправлюсь, – заверил я.

– Вы уж простите, – счел он необходимым добавить, – что я навязываюсь вам со своими указаниями и как бы пытаюсь руководить вами. Но знаете, что я вспоминаю, глядя на вас? Морскую лилию.

– Это звучит более чем лестно.

– Потому что кажется вам названием цветка. Но морская лилия не цветок, а неподвижное животное морских глубин, относящееся к семейству иглокожих, да еще к самой древней его группе. Мы знаем множество таких окаменелостей. Эти неподвижные радиально-симметричные животные обычно имеют форму цветка или звезды. Нынешняя морская звезда, потомок морской лилии[165 - Морские звезды не являются «потомками» морских лилий: эти два класса иглокожих животных развились в кембрийском периоде (т.е. в начале палеозоя) из общих для них докембрийских, более примитивных предков, очень рано обособились друг от друга и образовали два самостоятельных ствола единого родословного древа. Описанная Кукуком смена стадий развития (прикрепленная личинка и свободно плавающая взрослая форма) характерна не для морских звезд, а для некоторых видов морских лилий: взрослые морские звезды – не плавающие, а медленно ползающие по дну животные.], только в молодости сидит на своем стебле в грунте. Позднее она освобождается, эмансипируется и плавает или ползает вдоль берегов. Простите меня, ради бога, за эту ассоциацию, но мне подумалось, что вы, подобно морской лилии, оторвались от стебля и отправились в инспекционную поездку. А давать советы путешественнику неопытному, право же, очень соблазнительно. Впрочем: Кукук.[166 - В лице профессора Антонио Хосе Кукука Томас Манн нарисовал обобщенный образ биолога-идеалиста начала XX века. Трудно сказать, почему автор окрестил его комической фамилией Кукук (что по-немецки значит кукушка). Быть может, он хотел этим подчеркнуть любовь профессора Кукука к разговорам о «недолговечности жизни», к предсказаниям скорых сроков гибели человечества; а ведь известно, что кукушке народ приписывает дар предсказывать, сколько лет кому положено прожить. Это предположение кажется тем более вероятным уже потому, что длительность отдельных геологических эпох и периодов Кукуком повсюду резко преуменьшается по сравнению не только с принятыми в наше время представлениями, но и с представлениями, господствовавшими в конце XIX и начале XX веков. Такое систематическое, а потому, надо думать, неслучайное «сокращение сроков жизни» как бы предназначено для удержания народов от борьбы за новый, справедливый миропорядок, рассчитанный на непрерывную череду поколений. Впрочем, очень вероятно, что Томасу Манну фамилия Кукук встретилась на обложке книги петербургского немца, врача Мартина Кукука, изданной в Лейпциге (на немецком языке) в 1907 году под претенциозным заглавием «Разрешение проблемы самопроизвольного зарождения жизни». Это предположение (вполне совместимое с ранее высказанным) кажется тем более соблазнительным, что Мартин Кукук, как и Антонио Хосе Кукук, в своих рассуждениях о происхождении жизни исходит из получивших в начале века громкую известность работ немецкого физика Лемана по жидким кристаллам. В биологических и палеонтологических пояснениях, даваемых Антонио Хосе Кукуком герою романа в вагоне и затем в музее, содержится много фактических ошибок, которые нельзя объяснить состоянием научной мысли начала века. Но прежде, чем остановиться на частностях, – несколько слов об эволюционной концепции Кукука. Философствующий биолог развертывает перед своим слушателем картину протекавшей на протяжении истории земли последовательной смены форм жизни, начиная с примитивных одноклеточных организмов и кончая появлением человека. В соответствии с общепринятыми эволюционными представлениями Кукук признает генетическую связь организмов, их происхождение друг от друга в процессе эволюции, все более и более возрастающее

усложнение их организации. Однако в своем объяснении эволюционного процесса Кукук явно придерживается идеалистических представлений. Его общая схема эволюции мира сводится к следующему: «Сотворение мира свершилось не один раз, а трижды: возникновение бытия из небытия, пробуждение жизни из бытия и рождение человека». Бытие для Кукука только «эпизод» в бесконечной череде небытия: «...первое содрогание бытия прорвалось из небытия благодаря некоему „да будет“, уже неизбежно вобравшему в себя „да преидет“. Точно так же и жизнь возникла из бытия благодаря новому фидеистическому „да будет“ творца, а когда природа в своем развитии дошла до человека, понадобилось еще и третье „да будет“. Кукуку явно не нравится учение о происхождении человека от обезьянообразных предков: „...не надо, – говорит он, – чтобы нас так уж ослепляло сходство его внутренних органов с органами человекоподобных обезьян, из-за этого и так было поднято слишком много шума“. Но в то же время он отнюдь не отрицает генетической связи человека с животным миром, с характерной, однако, оговоркой: „...человек произошел от зверя в той же мере, в какой органическое произошло от неорганического. Тут примешалось что-то еще“ (очевидно, все то же третье „да будет“). Эта общая мистико-идеалистическая концепция мира определяет и ту „теорию“ процесса эволюции органического мира, которую развивает Кукук. Ученый ни звуком не упоминает о теории естественного отбора Дарвина, дающей материалистическое объяснение приспособляемости животных и растений к условиям среды, предпочитая говорить: о „первозданной способности хлорофилла“, о том, что весь мир вымерших организмов можно рассматривать как „предварительные эксперименты для-создания... человека“, о том, что гигантские динозавры юрского периода были „досадливо отвергнуты природой“, о том, что совершенствуя строение „гигантского муравьеда“ и саблезубого тигра, „природа только подшучивала над обоими и, доведя своих детищ до предела их возможностей, взяла да и покинула их в беде“ и т.п. Такая система воззрений приводит Кукука, в конечном счете, к отрицанию причинного объяснения явлений природы: „Что, собственно, думает природа? Да ровно ничего. И человеку нечего о ней раздумывать, ему остается только дивиться ее деятельному равнодушию...“ Очевидно, что Томас Манн не разделял воззрений Кукука. Он намеренно столкнул своего авантюриста с ученым, подводившим „теоретическую базу“ под воззрения господствующих классов современного буржуазного мира, „живущего под знаком конца“.]

На мгновение я подумал, что с ним что-то неладно, но тут же понял: будучи намного старше меня, он тем не менее первый мне представился.

– Веноста, – поспешил я с ответным представлением и отвесил ему несколько кривой поклон, так как в этот момент мне слева подали рыбу.

– Маркиз Веноста? – переспросил он, слегка вздернув брови.

Я это подтвердил, но тоном почти что уклончивым.

– Люксембургской линии, я полагаю? Я имею честь быть знакомым с одной из ваших тетушек в Риме, графиней Паолиной Чентурионе, урожденной Веноста, итальянской линии, которая, как известно, в свойстве с венским семейством Чешенис и с Эстергази из Галанты. У вар, господин маркиз, где только нет кузенов и свойственников. Не удивляйтесь моей осведомленности, генеалогия и происхождение видов – мой конек, вернее, моя профессия. Профессор Кукук, – пояснил он в дополнение к своей фамилии, уже названной ранее. – Палеонтолог и директор Естественно-исторического музея в Лиссабоне, института, пока еще не пользующегося широкой известностью, основателем которого я являюсь.

Он достал из кармана бумажник и подал мне свою визитную карточку: я вынужден был

сделать то же самое и протянул ему свою, то есть одну из тех, которыми меня снабдил Лулу. На карточке Кукука я прочитал его крестное имя – Антонио Хосе, – титул, должность и домашний адрес в Лиссабоне. Что касается палеонтологии, то по разговорам Кукука я уже начал догадываться о его причастности к этой науке.

Оба мы прочитали карточки с одинаковым выражением почтительности и удовольствия и затем, обменявшись благодарственными кивками, засунули их в бумажники.

– Могу только сказать, господин профессор, – учтиво добавил я, – что мне очень повезло с выбором столика в вагон-ресторане.

– Я, со своей стороны, думаю то же самое, – отвечал он.

До сих пор мы беседовали по-французски. Теперь он спросил:

– Надо думать, что вы владеете немецким языком, маркиз Веноста? Ваша матушка, насколько мне известно, родом из Кобург-Готы, кстати сказать, и моего отечества. Урожденная баронесса Плеттенберг, если не ошибаюсь? Как видно, мне многое о вас известно. Итак, мы можем...

И как это Луи позабыл проинформировать меня, что его мать – урожденная Плеттенберг! Ну что ж, эта новость могла послужить обогащению моей памяти.

– Весьма охотно, – отвечал я, по его желанию переходя на другой язык. – Конечно же, я в детстве с утра до вечера болтал по-немецки, и не только с мамой, но еще и с нашим кучером Клосманом!

– А я, – возразил Кукук, – почти совсем отвык от своего родного языка и с наслаждением воспользуюсь случаем снова к нему приобщиться. Мне сейчас пятьдесят семь лет; в Португалию я приехал двадцать пять лет назад. В жилах моей жены, урожденной да Круц, течет кровь исконных жителей Португалии, а они, если уж приходится говорить на чужом языке, немецкому всегда предпочитают французский. Наша дочка, несмотря на нежные чувства, которые она ко мне питает, в этом смысле тоже не идет навстречу своему папе и наряду с португальским предпочитает очаровательно болтать по-французски. Да и вообще она очаровательное дитя. Мы ее зовем Зузу.

– А не Заза?

– Нет, Зузу. От Сюзанны. А Заза – от какого же это имени?

– Честное слово, не знаю. Уменьшительное Заза случайно встретилось мне в артистических кругах.

– Вы возвращаетесь в артистических кругах?

– Да, и в артистических. Я сам несколько причастен к искусству, занимаюсь живописью, графикой. Мой учитель – профессор Эстомпар, Аристид Эстомпар из Академии изящных искусств.

– О, ко всему вы еще и художник, очень приятно.

– А вы, господин профессор, вероятно, ездили в Париж по делам вашего музея?

– Вы угадали. Целью моей поездки было получение в зоопалеонтологическом музее

нескольких очень важных для нас частей скелета, черепа, ребер и предплечья давно вымершего вида тапиров, от которых, пройдя через множество ступеней развития, происходят наши лошади.

– Как? Лошадь происходит от тапира?

– И от носорога.[167 - И от носорога. – Лошадь не происходит от тапира или носорога. Лошадь, тапир и носорог – рано обособившиеся друг от друга самостоятельные ветви родословного древа непарнокопытных, развившиеся из общих для них доэоценовых предков. Eohippus – не родоначальник тапиров, а древнейшая вымершая форма лошади.] Да, да, ваша верховая лошадь, господин маркиз, прошла самые разнообразные стадии развития. Одно время; уже будучи лошадью, она имела лилипутские размеры. О, у нас имеется множество ученых названий для всех ее ранних и первобытных форм, названий с корнем «hippos», «конь», начиная с «Eohippos» – этого родоначальника тапиров, жившего в эпоху эоцена[168 - Эоцен действительно относится к «новейшей» эре истории земли (кайнозой); однако от эоцена нас отделяют не «несколько сот тысячелетий», как утверждает Кукук, а по меньшей мере 50–60 миллионов лет.].

– Эоцена? Обещаю вам, профессор Кукук, запомнить это слово. Когда началась эта эпоха?

– Недавно. Это уже новые времена земли; нас отделяет всего несколько сот тысячелетий от поры возникновения непарнокопытных. Вам как художнику будет интересно узнать, что у нас работают специалисты, крупные мастера своего дела, которые по найденным скелетам наглядно и живо реконструируют вымершие виды животных, а также и первобытного человека.

– Человека?

– Да, также и человека.

– Человека эпохи эоцена?

– Ну, тогда вряд ли существовал человек. Нельзя не признать, что его возникновение для нас все еще несколько туманно. Науке точно известно только, что его развитие завершилось значительно позднее, вместе с развитием млекопитающих[169 - ...его развитие завершилось значительно позднее, вместе с развитием млекопитающих... – Кукук сам говорит, что человек вряд ли существовал в эоцене. В настоящее время считается, что человек выделился из животного мира как самостоятельный вид около миллиона лет назад (не ранее начала четвертичного периода). Между тем млекопитающие впервые появляются около 200 миллионов лет назад.]. Посему человек, такой, каким мы его знаем, – существо позднейшего происхождения, и библейский генезис правильно видит в нем вершину творения. Только что по библии этот процесс носит несколько скоропалительный характер. Органическая жизнь на земле, по самому скромному счету, существует пятьсот пятьдесят миллионов лет[170 - Органическая жизнь на земле... – Поскольку уже в архейской эре (до протерозоя и палеозоя), несомненно, существовали какие-то примитивные организмы, продолжительность жизни на земле составляет (по современным подсчетам) не 550, а по меньшей мере около 1500 миллионов лет.]. Прежде чем возник человек, надо признаться, прошло немало времени.

– Я потрясен тем, что вы рассказываете, профессор.

Я не лгал. Я действительно был потрясен и захвачен уже с первой минуты, и чем дальше, тем больше. Я с таким напряженным интересом вслушивался в слова этого человека, что

почти позабыл о еде. Передо мной ставили металлические блюда под колпачками, я что-то накладывал себе на тарелку, даже подносил кусок ко рту, но, прислушиваясь к словам Кукука, забывал положить его в рот, челюсти мои не двигались, нож и вилка оставались праздными у меня в руках, а я все смотрел в его лицо, в его звездные глаза. Не знаю даже, как определить жадность, с которой моя душа впитывала все, что он говорил, от первого до последнего слова. Не слушай я его с таким неотступным вниманием, разве мог бы я еще сегодня, после стольких лет, воспроизвести эту застольную беседу почти дословно в основных ее пунктах? Да что там, совсем дословно! Он говорил о любопытстве и новолюбии как существеннейшем ингредиенте любостранствия, и уже в этих его словах, насколько мне помнится, для меня прозвучало что-то странно волнующее, всего меня перебудоражившее. И вот это треволнение чувств, это затрагивание потаеннейших фибр моего существа, по мере того как он говорил и рассказывал, перерастало в хмельную, безмерную замороженность, хотя сам рассказчик все время оставался спокойным, суховатым, сдержанным, а иногда на его губах даже мелькала улыбка...

– Предстоит ли ей, то есть жизни, еще такой же долгий срок, как тот, который она уже оставила позади себя, этого сказать никто не может. Правда, цепкость ее неимоверна, особенно на низших ступенях развития. Ведь споры некоторых бактерий в течение полугода выдерживают довольно-таки неуютную температуру мирового пространства – минус двести градусов – и остаются живы.

– Это поразительно!

– И тем не менее возникновение и продолжение жизни связано с определенными и достаточно строго ограниченными условиями, которые не всегда имелись и не всегда будут иметься налицо. Время обитаемости звезды лимитировано. Она не всегда порождает жизнь и не всегда будет ее порождать. Жизнь – это эпизод, и в масштабе эонов эпизод весьма кратковременный.

– Это меня тем более привязывает к таковой, – сказал я. Слово «таковая» я употребил просто от волнения и потому, что мне хотелось в этом случае выразиться книжно, сугубо интеллигентно. – Существует такая песенка, – добавил я в пояснение, – «Радуйся жизни, друг, гаснет лампы свет!» Я ее слышал еще в детстве и всегда любил, но после ваших слов о «кратковременном эпизоде», она, конечно, приобретает куда более растяжимое значение.

– А как заторопилось органическое, – продолжал Кукук, – развивать свои виды и формы, словно зная, что лампада не вечно будет гореть. И прежде всего это относится к ранней его поре. В кембрии растительный мир еще очень скуден: морские водоросли[171 - ... морские водоросли – ничего другого там не встретишь. – Помимо широкого развития водорослей и бактерий, в кембрии констатировано появление первых наземных простейших растений – псилофитов. Что касается животного мира, то в кембрии были представлены не только все типы беспозвоночных, но, по всей вероятности, и первые, наиболее примитивные позвоночные животные. Наземные позвоночные и насекомые появляются в каменноугольном периоде, т.е. не 50, а примерно 250 миллионов лет назад (даже в конце XIX века отдаленность от нас каменноугольного периода исчислялась в 185 миллионов лет). Млекопитающие, как уже было указано, возникают в триасовом периоде мезозоя, а птицы позже – в юрском периоде.] – ничего другого там не встретишь. Жизнь, да будет вам известно, берет свое начало из соленой воды, из теплого океана. Но животный мир с самого начала представлен там не только одноклеточными животными, но и устрицами, червями, иглокожими, – иначе говоря, всеми видами, за исключением позвоночных. Похоже, что из пятисот миллионов лет понадобилось всего около пятидесяти миллионов, для того чтобы позвоночные вышли из воды на сушу,

местами тогда уже возникшую. Тут уж эволюция и разветвление видов пошли в таком темпе, что через двести пятьдесят миллионов лет Ноев ковчег был до отказа набит всякой тварью, включая и пресмыкающихся; не существовало в ту пору еще только птиц и млекопитающих. И все это благодаря единственной идее, которую в изначальные времена возымела природа и которой она неотступно орудовала вплоть до человека...

– Умоляю вас, поясните же мне эту идею.

– О, это всего-навсего идея сосуществования клеток. Наитие – не оставлять в одиночестве прозрачно-слизистый комочек прасущества, элементарного организма, а сначала из немногих, позднее же из миллионов и миллионов таковых создавать высшие формы жизни – многоклеточное животное, крупные особи, состоящие из плоти и крови. То, что мы зовем плотью, а религия уничижительно именует слабостью, греховностью, причастностью греху, – не что иное, как такое вот скопление органически слаженных малых особей, иначе – многоклеточная ткань. С подлинным рвением осуществляла природа свою единственную, свою основную идею, иногда даже с чрезмерным. Несколько раз она при этом впадала в излишества и потом каялась в них. Так, уже создав млекопитающих, она допустила такую избыточность жизни, как кит величиной с два десятка слонов, – чудовище, которое не продержишь и не пропитаешь на земле, – и отослала его обратно в море, где оно теперь, гигант с недоразвитыми задними конечностями, плавниками и маслянистыми глазками, вряд ли себе на радость служит добычей китобойной промышленности, в неудобном положении питает молоком своих детенышей и заглатывает мелких рачков. Но еще много раньше, в начале средних веков земли, в триасовый период, задолго до того, как первая птица прорезала крыльями воздух или дерево распушило свою листву, существовали чудовищные пресмыкающиеся, динозавры – мальцы уже совсем неподобающих размеров. Такой индивид, высотой с высоченный зал и длиной с железнодорожный состав, весил сорок тысяч фунтов. Шея у него была точно пальма, а голова по сравнению с таким туловищем – до смешного маленькая. Это непомерно разросшееся тело, надо думать, отличалось беспримерной глупостью, впрочем и добродушием, свойственным беспомощности.

– Следовательно, он был не так уж грешен, несмотря на преизбыток плоти.

– Да, по глупости... Что мне еще сказать вам об этом самом динозавре? Пожалуй, вот что: у него была склонность передвигаться в вертикальном положении[172 - ...у него была склонность передвигаться в вертикальном положении. – Описываемый Кукуком бронтозавр или диплодок (крупнейшие позвоночные, когда-либо жившие на земле) в действительности передвигались на четырех ногах. Вертикальный способ передвижения был свойствен большому числу других динозавров, значительно меньшего, однако, размера, чем диплодок и бронтозавр. Среди динозавров были как травоядные, так и хищники, и последние во всяком случае вовсе не отличались «добродушием».]

И Кукук обратил на меня свои звездные глаза, под взглядом которых я ощутил нечто похожее на замешательство.

– Да, – сказал я с деланной небрежностью, – на Гермеса эти господа, передвигающиеся в вертикальном положении, не очень-то походили.

– Почему вы вдруг вспомнили о Гермесе?

– Прошу прощения, но в моем детстве мифологии уделялось исключительное внимание. Учитель, проживавший у нас в замке Монрефюж, питал к ней такое пристрастие...

– О, Гермес! Элегантное божество. Я не пью кофе, – бросил он кельнеру, – принесите мне

еще бутылку виши. Элегантное божество, – повторил он. – И сложения пропорционального, не слишком велик, не слишком мал, самых человеческих масштабов. Некий древний зодчий говорил, что тот, кто хочет возводить здания, прежде всего должен познать совершенство человеческого тела, ибо в нем глубочайшая тайна пропорций. Поборникам мистической относительности угодно утверждать, что человек, а следовательно, и бог, созданный по его подобию, – по росту является серединой между миром титанов и пигмеев. Согласно их теории, наибольшее материальное тело вселенной – красная звезда-гигант – настолько же больше человека, насколько мельчайшая частица атома – нечто, долженствующее в диаметре быть увеличенным в сотни миллиардов раз, чтобы стать видимым, – меньше его.

– Вот и выходит, что бесполезно передвигаться в вертикальном положении, если в тебе не соблюдены пропорции.

– Весьма продувным малым, если верить преданиям, – продолжал мой сотрапезник, – должен был быть ваш Гермес с его эллинской пропорциональностью: посему клеточная ткань его мозга, если у бога позволительно предположить наличие такового, должно быть, имела особенно затейливые формы. Но если представить себе того же Гермеса не из мрамора, гипса или амброзии, но как живую человеческую плоть, то и у него мы обнаружим множество пережитков природной древности. Весьма примечательно, сколь первобытными остались руки и ноги человека в сравнении с его мозгом[173 - ...сколь первобытными остались руки и ноги человека... – В процессе эволюции человека как его конечности, так и его мозг претерпели громадные изменения: если руки человека превратились в тончайшее орудие для выполнения самых сложных трудовых процессов, то его мозг стал органом нашей познавательной деятельности. Поэтому очень трудно «измерить», насколько более «первобытными» остались руки и ноги человека по сравнению с его мозгом.]. В них сохранены все те кости, которые Имелись уже у простейших наземных животных.

– Поразительно, просто поразительно, господин профессор. Это уже не первое поразительное утверждение, которое я от вас слышу, но, пожалуй, одно из самых поразительных. Значит, у нас те же кости, что и у доисторических животных! Не то чтобы мне это было обидно, но меня это потрясает. Я уж не говорю о пресловутых Гермесовых ногах. Но возьмите к примеру прелестные округло-стройные руки женщины, которые, если нам посчастливится, обвивают нас, и вдруг, когда подумаешь...

– По-моему, мой милый маркиз, вы склонны к известному культу крайностей, – перебил меня Кукук. – Естественно отвращение высокоразвитого существа к безногому червяку, но что касается округло-стройной женской руки, то нам следует считать эту конечность не чем иным, как снабженным когтями крылом доисторической птицы или плавником рыбы.

– Хорошо, хорошо, теперь я всегда буду об этом думать, уверяю вас, без малейшей горечи или цинизма, а скорее даже с теплым чувством. Но говорят ведь, что человек происходит от обезьяны?

– Милый мой маркиз, давайте лучше скажем: человек – порождение природы и в природу уходит своими корнями. И не надо, чтобы нас так уж ослепляло сходство его внутренних органов с органами человекоподобной обезьяны, из-за этого и так было поднято слишком много шума. В голубых глазках свиньи, в ее ресницах и коже больше человеческого, чем в каком-нибудь шимпанзе, и обнаженное человеческое тело ведь тоже нередко напоминает свинью. А вот мозг наш по сложности своего строения ближе всего к мозгу крысы. Да и физиономически звериное вообще на каждом шагу проглядывает в людях. Там мы видим рыбу и лисицу, тут – собаку, тюленя, ястреба или

барана. С другой стороны, конечно, если взгляд наш способен это заметить, ведь и животные часто кажутся нам людьми, которых воля злого волшебника обрекла жить под личиной зверя. О, конечно, человек и зверь – родственные существа! Но если говорить о происхождении, то человек произошел от зверя в той же мере, в какой органическое произошло от неорганического. Тут примешалось что-то еще.

– Примешалось? Но что же, дозволейте мне спросить?

– Приблизительно то же, что примешалось, когда из небытия возникло бытие. Приходилось вам когда-нибудь слышать о празачатии?

– Во всяком случае, я жажду о нем услышать.

Он быстро огляделся вокруг и доверительным тоном, явно потому, что он обращался не к кому-нибудь, а к маркизу де Веноста, сообщил мне следующее:

– Сотворение мира свершилось не один раз, а трижды: возникновение бытия из небытия, пробуждение жизни из бытия и рождение человека.

Это свое заявление Кукук запил глотком виши, причем стакан ему пришлось держать обеими руками, так как вагон сильно трянуло. Публика к этому времени уже разошлась. Большинство кельнеров стояло без дела. Хотя после обеда, оставшегося почти нетронутым, я заказывал одну чашку кофе за другой, но свое все возраставшее возбуждение объясняю не этим. Подавшись вперед, я сидел и слушал своего необычного спутника, который рассказывал мне о бытии, о жизни, о человеке и о небытии, из которого все явилось и в которое все возвратится.

– Не подлежит сомнению, – говорил он, – что жизнь на земле не только относительно скоропреходящий эпизод, но такой же эпизод и бытие в бесконечной череде небытия. Не всегда существовало бытие и не всегда будет существовать. Поскольку настало начало бытия, настанет и его конец, а вместе с ним конец времени и пространства, ибо связь их скреплена только бытием. Пространство, – говорил он, – это не что иное, как взаимопорядок или взаимосоотнесенность материальных вещей. Без материальных вещей, которые его занимают, нет пространства, как нет и времени, ибо время – это последовательность событий, невозможная без наличия тел, продукт движения причин и следствий; сменяемость тел дает времени направление, без которого время не существует. Отсутствие времени и пространства есть утверждение небытия. Последнее во всех смыслах лишено протяженности, – это застывшая вечность, только мимолетно прерванная пространственно-временным бытием. Бытию дан срок больший, чем жизни, больший на зоны, но когда-нибудь, несомненно, кончится и оно, и так же несомненно, что концу будет соответствовать начало. Когда началось время свершения? Когда первое содрогание бытия прорвалось из небытия благодаря некоему «да будет», уже неизбежно вобравшему в себя «да прейдет»? Может быть, «когда» этого «будет» состоялось не так давно и «когда» этого «пройдет» уже недалеко; не исключено, что их разделяют всего несколько миллиардов лет... Тем временем бытие правит свое буйное пиршество в неизмеримых пространствах, которые являются его творением и в которых оно создает расстояния, цепенеющие от ледяной пустоты...

И он принялся рассказывать мне о гигантской арене этого пиршества, о вселенной – смертном дитяти вечного небытия, без числа насыщенном материальными телами, метеорами, лунами, кометами, туманностями, миллиардами звезд, взаимоупорядоченных действием своих полей притяжения, согнанных в кучи облаков, млечных путей и гигантских систем млечных путей, где каждый в отдельности путь состоит из неисчислимого количества пылающих солнц, планет, вращающихся вокруг

своей оси, масс разжиженного газа и холодных нагромождений железа, камня, космической пыли...

В волнении слушал я его, отлично сознавая, сколь почетна привилегия обогащаться такими сведениями, и этой привилегией я был обязан своему знатному происхождению, тому, что я был маркизом де Веноста и что у меня в Риме имелась тетушка графиня Центурионе.

– ...наш Млечный Путь, – донеслось до меня, – один из миллиардов млечных путей – почти уже у самого своего конца включает в себя, на расстоянии тридцати тысяч лет прохождения света от его середины, нашу локальную солнечную систему с ее гигантским, хотя относительно и вовсе не таким большим, раскаленным шаром, который мы зовем «солнце» в единственном числе, хотя оно лишь одно из многих солнц, и с планетами, находящимися в сфере его притяжения. Среди них и наша земля, для которой главная, но и хлопотная утеха – вращаясь вокруг своей оси со скоростью тысяча миль в час, в то же время вращаться вокруг солнца, проходя двадцать миль в секунду, и таким образом устанавливать для себя дни и ночи, – заметьте, именно для себя, – ибо существуют еще совсем другие дни и ночи. Планета Меркурий, например, ближайшая к солнцу, завершает свой круговорот за восемьдесят восемь наших дней и при этом лишь однажды оборачивается вокруг своей оси, так что для нее день и год одно и то же. Из этого вы можете заключить, что с временем обстоит так же, как и с весом: то и другое лишено общезначимости. Возьмем хотя бы белого спутника Сириуса – тело, всего в три раза превышающее объем нашей земли; на нем материя достигает такой плотности, что ее кубический дюйм у нас весил бы тонну. По сравнению с ней земная материя, наши скалы, наше человеческое тело – только легчайшая пена.

– Кружась вокруг солнца, – дано мне было услышать далее, – земля и ее луна кружатся еще и вокруг друг друга, и при этом вся наша местная солнечная система движется в рамках несколько более широкого, но все еще «местного», скопления звезд, движется, не окаймляя его, но так, что она, в свою очередь, с бешеной быстротой движется внутри Млечного Пути, который с немыслимой скоростью гонит вперед наш Млечный Путь вплоть до отдаленнейших его звезд, причем эти отдаленнейшие материальные комплексы бытия, обладающие таким проворством, что полет осколка гранаты по сравнению с их быстротой пребывает в состоянии покоя, разлетаются по всем направлениям небытия.

– Это вращение одного в другом и вокруг другого, эти туманы, уплотняющиеся в тела, этот огонь, пламя, стужа, взрывы, распыление, падение и гон, возникшие из небытия и пробуждающие небытие, для которого, может быть, было бы лучше, милее не пробуждаться и которое ждет нового сна, – все это бытие, называемое также природой, – оно едино везде и во всем. Я убежден, что все бытие, вся природа – это замкнутое единство, от простейшей неодушевленной материи до самой живой жизни, до женщины с округло-стройными руками, до быстроногого Гермеса. Наш человеческий мозг, наше тело и наши члены – мозаика из тех же простейших частичек, что образуют звезды, звездную пыль и темные облака туманностей, несущиеся в межзвездном пространстве. Жизнь, вызванная из бытия, как бытие некогда было вызвано из небытия, жизнь, это цветение бытия, состоит из тех же основных веществ, что и неодушевленная природа; нет у нее ни одной-единственной, которая была бы только ее собственностью. Нельзя даже сказать, что она четко и недвусмысленно отделяется от неодушевленного бытия. Граница между жизнью и безжизненностью подвижна. Клетка растения обладает естественной способностью при помощи солнечных лучей так перестраивать материи, относящиеся к царству минералов, что они в ней оживают. Первозданная способность хлорофилла^[174] - Хлорофилл (зеленый пигмент растений) представляет собой органическое соединение, близкое по своему химическому составу к красящему веществу (пигменту) гемоглобина в

крови животных. Как известно, важнейшая функция хлорофилла заключается в поглощении световой (солнечной) энергии, которую он трансформирует в химическую энергию веществ, образующихся в процессе фотосинтеза. В результате фотосинтеза растения из углекислого газа и воды образуют органические вещества, необходимые для их развития, роста и жизнедеятельности. Таким образом – в противоположность животным, не обладающим этой способностью, – растения могут преобразовывать неорганические вещества в органические. Это, собственно, и хочет сказать Кукук, прибегший к высокопарному термину «первозданная способность хлорофилла».] являет нам пример возникновения органического из неорганического. В обратных примерах тоже нет недостатка. Мы могли бы сослаться на образование камней из органических веществ, принадлежащих к животному миру. Говорят, сухопутные горы выросли в морях на большой глубине из скелетов крохотных живых существ. В мнимой полужизни жидких кристаллов одно природное царство наглядно переходит в другое[175 - ...одно природное царство наглядно переходит в другое... – Жидкими кристаллами немецкий физик Леман назвал в начале XX века такие жидкости, у которых некоторые физические свойства (например, преломление света) распределяются неодинаково по различным направлениям и плоскостям. Своеобразные физические особенности жидких кристаллов привели Лемана и некоторых других ученых к попытке провести аналогию между жидкими кристаллами и живым веществом клеток животных и растений и на этом пути искать разрешения проблемы возникновения живого из неживого. Позднейшие исследования показали несостоятельность выдвинутой Леманом аналогии.]. И когда природа, фиглярничая в неорганическом, хочет нас обмануть подобием органического, как, например, цветами на заледеневшем стекле, она тем самым поучительно демонстрирует неизменное свое единство.

– Органическое и само не может провести ясную границу между отдельными его царствами. Животное переходит в растительное[176 - Животное переходит в растительное... – Границу между растительным и животным миром действительно трудно провести, когда мы подходим к некоторым наиболее примитивно устроенным одноклеточным организмам. Однако рассуждение Кукука о том, что «животное переходит в растительное», основанное на чисто внешнем сходстве сидячих морских лилий, являющихся совершенно несомненными животными и достаточно высоко развитыми, с цветком, а также на факте питания насекомоядных растений животной пищей, отдает старинными представлениями XVII–XVIII веков (питание животной пищей – вторичное приспособление, наблюдающееся у некоторых высокоразвитых цветковых растений).] там, где оно сидит на стебле и принимает форму цветка, и растительное – в животное там, где оно ловит и пожирает насекомое, вместо того чтобы выпить жизненные соки минералов. Из животного, путем прямого от него происхождения, как принято считать (на самом же деле потому, что здесь примешалось нечто столь же неопределимое, как сущность жизни и происхождение бытия), вышел человек. Но момент, когда он уже был человеком, а не животным, или, вернее, уже не только животным, установить нелегко. Человек сохраняет в себе животное начало, как жизнь в себе сохраняет неорганическое, ибо в последней основе его строения, в атомах, он переходит в уже или еще не органическое. В самой же глубине, в невидимом атоме, материя улетучивается в имматериальное, нетелесное, ибо то, что движется там и надстройкой чего является атом – это почти вне бытия, так как не имеет своего места в пространстве или соотносительности с пространством, как то подобает добропорядочному телу. Из «почти еще небытия» образовалось бытие, и оно утекает в «почти уже небытие». Вся природа, начиная от самых ранних, почти еще имматериальных и простейших ее форм до наиболее развитых, всегда тяготела к концентрированию и сосуществованию: звездный туман, камень, червь и человек. То, что многие виды животных вымерли, что более не существует летающих ящеров или мамонтов, не мешает рядом с человеком существовать одноклеточным праживотным[177 - Современных нам одноклеточных нельзя называть «праживотными», ибо не они, а какие-то их прародичи дали начало другим более высоко организованным

типам растений и животных.] в их уже установившейся форме: инфузории, микробу – с одним отверстием для ввода, другими для вывода; на деле ведь большего и не требуется, чтобы быть зверем, да и для того, чтобы быть человеком, как правило, – тоже не больше.

Это была шутка, и довольно ядовитая. Кукук, видимо, счел нужным подпустить не лишнюю яда шутку в адрес такого светского молодого человека, как я, и, конечно, я засмеялся, дрожащей рукой поднося ко рту шестую, да нет, пожалуй, восьмую чашечку кофе. Я уже говорил и повторяю снова, что был охвачен необычайным волнением, ибо речи моего сотрапезника о бытии, жизни и человеке вызывали во мне напряжение чувств почти изнурительное. И как ни странно это звучит, но столь мощное напряжение чувств было близко к тому, или, вернее, было то самое, что я еще ребенком или полуребенком обозначал возвышенными словами «великая радость» – тайной формулой моей невинности для понятия, не имевшего другого имени и очень специфического, но вскоре расширившегося для меня до какой-то опьяняющей необъятности.

– Конечно, позади остался большой путь, – сказал Кукук, возвращаясь к своей шутке, – от *pithecanthropus erectus* до Ньютона и Шекспира – большой, широкий путь и, несомненно, идущий в гору. Но в человеческом мире все обстоит так же, как и в остальной природе. Здесь тоже все существует купно: все состояния культуры и нравов, все – от самого раннего до наипозднейшего, от предельно глупого до разумнейшего, от первобытного, глухого, дикого до высоко и тончайше развитого, – все это сосуществует; более того, случается, что тончайшее, устав от самого себя, влюбляется в первобытное и, точно во хмелю, вновь опускается до дикости. Но хватит об этом.

Впрочем, желая воздать должное человеку, он, Кукук, хочет мне, маркизу де Веноста, еще напомнить то, что и отличает *homo sapiens*[178 - человека разумного (лат.)] от всей остальной природы, как органической, так и простого бытия (и это, вероятно, и есть то, что «примешалось», когда человек вышел из животного состояния). Он имеет в виду знание о начале и конце, и я-де высказал самое человеческое, заметив, что меня и прельщает в жизни то, что она – только эпизод. Преходящее отнюдь не принижает бытия, напротив, оно-то и сообщает ему ценность, достоинство и очарование. Только эпизодическое, только то, что имеет начало и конец, возбуждает наш интерес и наши симпатии, ибо оно одухотворено брэнностью. Ею одухотворено все космическое бытие, тогда как вечное не одухотворено, и потому небытие, из которого оно возникло, недостойно наших симпатий.

Бытие – не благополучие, оно – утеха и бремя; все пространственно-временное, вся материя, пусть даже глубоко спящая, делит с ним эту утеху и это бремя, то ощущение, которое внушает человеку, способному к тончайшему восприятию, чувство всесимпатии.

– Да, всесимпатии, – повторил Кукук, опершись обеими руками о стол, чтобы подняться. При этом он взглянул на меня своими звездными глазами и кивнул мне.

– Спокойной ночи, маркиз де Веноста, – сказал он. – Мы с вами всех пересидели в вагон-ресторане. Пора идти спать! Надеюсь встретиться с вами в Лиссабоне! Если хотите, я для вас с удовольствием возьму на себя роль проводника по моему музею. Желаю вам крепко уснуть! И видеть во сне бытие и жизнь! И еще суматоху млечных путей, которые, поскольку они уже существуют, несут бремя и утехи своего существования. Пусть вам приснится также округло-стройная рука с древним костяком и полевой цветок, которому дано в солнечном эфире расщеплять безжизненное и приобщать его к своему живому телу! Не забудьте также увидеть во сне камень, мшистый камень, что уже тысячи и тысячи лет лежит на дне ручья, – чистый, студеный, омываемый пеной и водой. С симпатией приглядитесь к нему, с симпатией вашего бодрствующего бытия к бытию глубоко спящему, и от души приветствуйте его! Он благополучен, если бытие и

благополучие хоть как-то сочетаются. Спокойной ночи!

6

Я думаю, читатель поверит, что, несмотря на мое врожденное предрасположение ко сну и легкость, с какой я обычно возвращался в свободную и оздоровляющую отчизну бессознательности, в эту ночь я так и не уснул до утра, ворочаясь на своей мягкой и комфортабельной постели в купе первого класса. И что меня дернуло выпить столько кофе перед ночью, которую мне предстояло провести в торопливом, покачивающем и потряхивающем, то останавливающемся, то вдруг едущем в обратном направлении поезде? Ведь это значило добровольно лишиться себя сна, из которого меня, конечно, не выбила бы одна только вагонная тряска. О том, что эти шесть или восемь чашек кофе сами по себе тоже не ввергли бы меня в бессонницу, не будь они произвольным сопровождением захватывающей, до глубины души потрясшей меня беседы с профессором Кукуком, – говорить, конечно, не стоит, хотя тогда я знал это не менее твердо, чем знаю теперь; тонко чувствующий читатель (а только для такого я и пишу свои признания) поймет это без всяких пояснений.

Одним словом, в своей шелковой пижаме (пижама лучше ночной рубашки предохраняет тело от прикосновения к простыням, может быть недостаточно хорошо постиранным) я всю ночь провздыхал и проворочался с боку на бок, ища положения, которое помогло бы мне очутиться в объятиях Морфея; и когда дремота меня все-таки одолела, мне стала грезиться какая-то путаная чепуха, которую приносит с собой только сон, неглубокий и не дающий отдохновения. Верхом на скелете тапира я мчался по Млечному Пути, опознав его потому, что он и вправду был залит молоком, хлюпавшим под копытами костяного животного. Мне было жестко и неудобно сидеть на позвоночном столбе скелета, и я цеплялся руками за его ребра, но меня не переставало отчаянно трясти от норовистого бега этой твари, что, видимо, являлось отражением резких толчков быстроходного поезда. Но во сне я это себе объяснял тем, что не учился ездить верхом, и думал, что должен как можно скорее наверстать упущенное, если хочу слыть молодым человеком из семьи. Навстречу мне и с боков, хлюпая в молоке Млечного Пути, шныряли пестро одетые человечки – мужчины и женщины, миниатюрные, с желтоватым цветом лица и веселыми карими глазами; они кричали мне что-то на незнакомом языке – верно, по-португальски. Но одна из женщин вдруг крикнула по-французски: «Voilà le voyageur curieux»[179 - вот он, любопытный путешественник (франц.)], – и именно потому, что она знала по-французски, я догадался, что это Зузу, хотя ее обнаженные до плеч округло-стройные руки говорили о том, что она скорее – или в то же время – Заза. Я изо всех сил потянул на себя ребра тапира, чтобы он остановился и дал мне слезть, так как я страстно желал побеседовать с Зузу или с Заза о древнем костяке ее прелестных рук. Но, взбешенный столь неучтивым обращением, тапир стал лягаться и сбросил меня в молоко Млечного Пути, отчего темноволосые человечки, включая Зузу или Заза, разразились громким смехом, и в этом смехе мой сон растворился, чтобы уступить место столь же нелепым видениям хоть и спящего, но совсем не отдыхающего мозга. Так, например, я во сне карабкался на четвереньках по отвесному глинистому берегу моря, волоча за собой длинный, похожий на лиану стебель, с боязливым недоумением в сердце – кто я, человек или растение? Впрочем, в этом недоумении было для меня и что-то лестное, ибо оно связывалось с названием «морская лилия». И так далее.

Наконец, уже к утру, томительные сновидения исчезли; я проснулся лишь около полудня, почти перед самым Лиссабоном, так что о завтраке нечего было и думать – я едва-едва успел умыться и воспользоваться принадлежностями моего прекрасного несессера из крокодиловой кожи. Профессора Кукука я не встретил ни среди суетящейся толпы на

перроне, ни на площади перед вокзалом в мавританском стиле, на которую я вышел вслед за носильщиком, направляясь к открытому одноконному экипажу. День был светлый и солнечный, но не слишком жаркий. Молодой извозчик, взгромоздивший к себе на козлы мой сундук (носильщик получил его по багажной квитанции), право же, мог быть одним из тех человечков на Млечном Пути, которые потешались над моим падением с тапира: невысокого роста, с желтоватым цветом лица – в точном соответствии с описанием профессора Кукука, – с сигаретой в красиво изогнутых губах под закрученными кверху усиками, в круглой суконной шапочке на всклокоченных и низко свисающих длинными прядями волосах. Он недаром так бойко посматривал своими карими глазами: еще раньше, чем я успел назвать ему отель, в котором я заказал по телеграфу номер, он, сразу составив себе суждение о моей особе, назвал его: «Савой палас». Вот какого пристанища счел он меня достойным! Именно там должен был я остановиться, по его мнению, и я подтвердил это коротким: – C'est exact[180 - правильно (франц.)]. – C'est exact, c'est exact, – повторил он на ломаном языке, смеясь, ерзая на козлах и понукая лошадь. – C'est exact, – нараспев повторил он еще несколько раз за короткую дорогу до отеля. Мы быстро выехали из тесной улочки, и перед нами открылась широкая перспектива бульвара – авенида да Либердаде, одна из великолепнейших улиц, которую мне когда-либо приходилось видеть. Она состояла из элегантнейшей проезжей части, верховой дорожки посередине и двух отлично вымощенных роскошных аллей с цветниками, фонтанами и статуями по бокам. На этой прекрасной эспланаде и был расположен «Савой палас», поистине выглядевший как дворец. И насколько же по-иному приблизился я к нему, чем в свое время к отелю на улице Сент-Оноре!

Три или четыре грума и носильщики в зеленых фартуках тотчас же подскочили к моему экипажу, выгрузили сундук, схватили мой ручной чемодан, пальто, портплед с такой быстротой, словно мне была дорога каждая минута, и потащили все это в вестибюль. Я проследовал за ними в приемную с одной только тростью, украшенной набалдашником из слоновой кости, как человек, возвращающийся с недалей прогулки. В приемной никто не покраснел при моем появлении, никто не крикнул мне: «Отойдите в сторону! Отойдите же, говорят вам!» Напротив, когда я назвал себя, ответом мне явились приветливые улыбки, подобострастные поклоны, искательная просьба, если это не трудно, заполнить листок для приезжающих, о, разумеется, лишь самыми основными данными... Корректный господин в сюртуке, страстно заинтересованный вопросом – вполне ли приятно и благополучно сошло мое путешествие, поднялся вместе со мной на лифте на первый этаж, чтобы показать мне мои апартаменты, состоящие из гостиной, спальни и ванной комнаты, выложенной белым кафелем. Вид этих покоев, окнами выходящих на авенида, привел меня в восхищение, которое я, однако, счел необходимым скрыть от него. Удовольствие, более того, восторг, возбужденный во мне их величественной красотой, я свел к жесту снисходительного одобрения, с которым и отпустил моего проводника. Но, оставшись один в ожидании, пока принесут багаж, я стал оглядываться кругом с чисто детской радостью, которую мне, собственно, не следовало бы выказывать даже наедине с собой.

Больше всего меня восхищала отделка стен в гостиной: высокие лепные поля в золотом обрамлении – всегда нравившиеся мне бесконечно больше мещанских обоев – в сочетании с золотым орнаментом расположенных в нишах дверей придавали комнате дворцовое, царственное великолепие. Очень просторная, она была переделана аркой на большее и меньшее помещения; в последнем при желании можно было уютно накрыть стол на небольшое число гостей. Там, так же как и в большей ее половине, висела сверкающая хрустальная люстра, довольно низко спущенная с потолка, – на такие люстры я любил смотреть еще с детства. Мягкие ковры с широкой каймой – один из них колоссальный – устлали полы; между ними местами был виден до блеска начищенный паркет. Приятные для глаз картины украшали стены над роскошными дверями, а возле изящного комодика, на котором стояли часы и китайские вазы, стена была затянута

отлично сработанным гобеленом, изображавшим какое-то легендарное похищение. Прекрасные французские кресла окружали овальный столик с кружевной салфеткой под стеклом, на котором стояли ваза, полная изысканных фруктов, на случай если обитатель этих апартаментов пожелает освежиться, тарелочка с бисквитами и граненая полоскательница. Видимо, это был знак внимания со стороны директора отеля, так как между двумя апельсинами торчала его визитная карточка. Имелась здесь и горка, за стеклом которой стояли очаровательные фарфоровые фигурки – галантно изогнувшиеся кавалеры и дамы в фижмах, у одной из них сзади порвалась юбка, обнажив аппетитную округлость, и дама, обернувшись, с величайшим изумлением созерцала свою наготу; торшеры с шелковыми абажурами; бронзовые канделябры в виде изящных фигурок на высоких постаментах, располагающая к отдыху оттоманка с множеством подушек и бархатным покрывалом завершала обстановку, ласкавшую мой жадный взор не меньше, чем роскошная спальня, выдержанная в серо-синих тонах, где стояла кровать под балдахин, а рядом с ней, как бы приглашая к краткому предварительному отдохновению, простирало пухлые руки мягкое кресло, – с ковром во весь пол, заглушавшим шум шагов, с полосатыми обоями матово-синего цвета, успокоительно действующего на нервы, с высоким трюмо, фонарем из молочного стекла под потолком, с широкими дверцами белого шкафа, ручки которых блестели в полумраке...

Принесли мой багаж. Тогда еще у меня не было камердинера, хотя впоследствии я, правда периодически, и нанимал таковых. Я положил в шкаф кое-что из необходимых вещей, повесил два или три костюма, принял ванну и, как всегда, с величайшей тщательностью занялся своим туалетом. Я проделывал это не менее заботливо, чем гримируются актеры, хотя, кстати сказать, к помощи косметики не прибегал даже в зрелом возрасте: меня от этого избавляла моя исключительная молодость. Переодевшись в чистое белье и соответствующий здешнему климату костюм из легкой светлой фланели, я спустился в ресторан и, испытывая сильнейший голод после обеда, который не доел в поезде, заслушавшись Кукука, и завтрака, который проспал, с наслаждением воздал должное поданным мне рыбе в раковине, бифштексу и превосходному шоколадному суфле. Несмотря на усердие, с которым я все это поедал, мысли мои все еще возвращались к вчерашнему разговору, вселенским своим обаянием глубоко запавшему мне в душу. Воспоминание об этом разговоре было для меня высокой радостью, сочетавшейся с очарованием моей новой, изящной жизни. Еще больше, чем вкусный завтрак, меня занимал вопрос – не разыскать ли мне сегодня же Кукука, может быть даже нанести ему визит, и не затем только, чтобы уговориться с ним относительно посещения музея, но главным образом, чтобы познакомиться с Зузу.

Решив все же, что это будет уж слишком откровенным вторжением, я пересилил себя и отложил посещение семейства Кукук на завтра. Вдобавок я еще чувствовал себя не совсем выспавшимся и подумал, что сегодня мне будет лучше ограничить свою деятельность осмотром города. После кофе я пустился в путь. Взяв извозчика на площади перед отелем, я велел ему везти себя на праса до Коммерчо, где находился мой банк, тоже «Банко до Коммерчо»; там я намеревался взять по своему циркулярно-кредитному письму известную сумму денег для расплаты по счетам отеля и на прочие текущие расходы. Прадо до Коммерчо – величавая и скорее тихая площадь, одной своей стороной смотрит на гавань – глубокую бухту в устье реки Тахо, с других же трех сторон застроена аркадами и сводчатыми переходами, где располагаются учреждения, таможни, главный почтамт, разные министерства, а также операционные залы банка, в котором я был аккредитован. В этом банке мне пришлось иметь дело с чернобородым благовоспитанным и респектабельным господином. Он почтительно принял мои документы, немедленно занялся ими, быстро занес что-то в свои книги и с учтивым поклоном вручил мне перо для подписи на бланке получателя. И, право же, мне не было надобности коситься на подпись Лулу, стоявшую под одним из документов, чтобы в точности воспроизвести ее и с любовью и удовольствием начертать свое звучное имя

буквами, склоняющимися в левую сторону и заключенными в красивый овал росчерка.

– Оригинальная подпись, – не удержавшись, заметил чиновник.

Я улыбнулся и пожал плечами.

– Своего рода наследственность, – в моем тоне прозвучало как бы извинение. – Так подписывается уже не одно поколение де Веноста.

Он почтительно склонил голову, и я покинул банк, с бумажником, плотно набитым деньгами.

Оттуда я зашел на почтамт и отправил домой, в замок Монрефюж, депешу следующего содержания: «Шлю тысячи приветов и сообщаю о своем благополучном прибытии сюда, в „Савой палас“. Полон впечатлений, о которых надеюсь очень скоро рассказать в письме. Могу уже сообщить об известном изменении своего образа мыслей, прежде имевшем не совсем правильное направление. Ваш благодарный Лулу». Отдав дань сыновней почтительности, я прошел под аркой, или, вернее, триумфальными воротами, воздвигнутыми на Торговой площади, напротив выхода к гавани, и ведущими на одну из наряднейших улиц города – руа Аугуста, где мне предстояло выполнить некое великосветское обязательство. «Ведь, конечно, – думал я, – будет вполне уместно и вполне в духе моих родителей, если я зайду с визитом в люксембургское посольство, помещающееся на этой самой улице, в бельэтаже очень солидного доходного дома». Сказано – сделано. Не спрашивая, принимает ли сейчас дипломатический представитель моего отечества, некий господин де Гюйон, или его супруга, я просто вручил открывшему мне двери лакею две карточки, написав на одной из них свой адрес. У этого лакея, человека уже пожилого, были кудрявые седые волосы, серьги в ушах, толстые губы и меланхолический животный взгляд, который не только навел меня на размышления о смешанной крови, текущей в его жилах, но и привлек мою симпатию. На прощание я приветливее, чем положено, кивнул отпрыску эпохи колониального процветания и всемирной монополии на пряности.

Снова выйдя на руа Аугуста, я пошел вверх по этой оживленной и суетливой улице, к площади, которую портье в гостинице отрекомендовал мне как одну из самых великолепных, – к праса де Дон Педро Куарто или, по-народному, – О Рочо. Для большей наглядности я должен заметить, что Лиссабон обрамлен холмами, местами довольно высокими, на которых справа и слева виднеются прямолинейные улицы нового города и белые особняки аристократических предместий. Я знал, что где-то там, в высших сферах, находится и дом профессора Кукука, а потому то и дело смотрел наверх и даже спросил одного полицейского (я всегда любил поговорить с полицейскими), скорее жестами, чем словами, где находится руа Жуан де Кастильюш, значившаяся на карточке Кукука. Он и вправду указал мне рукой на эти белые виллы и на своем языке, столь же мне непонятном, как тот, который я слышал во сне, пролопотал что-то насчет трамвая, канатной дороги и мулов, видимо, прикидывая, как мне лучше туда добраться. Я по-французски поблагодарил его за эти сведения, в данный момент для меня еще не столь неотложные, он же отдал мне честь, приложив руку к своему тропическому шлему в знак окончания сего краткого, но обильного жестами и дружелюбного собеседования. До чего же отраднo принимать такие изъявления почтительности от облаченного в незамысловатый, но щегольской мундир стража общественного правопорядка!

Мне хотелось бы, сообщив более широкое значение этому моему возгласу, заметить, что счастлив тот человек, которого добрая фея с колыбели наградила незаурядной восприимчивостью к отрадному, даже в самых скромных его проявлениях. Правда, с другой стороны, этот дар свидетельствует о повышенной чувствительности, являющейся

собой противоположность тупости, и, следовательно, приносит много огорчений тому, кто им обладает. И все же я убежден, что польза от радости жизни, которую он с собой приносит, перевешивает и ты не остаешься внакладе, если тут может быть речь о накладе; вот этот дар чувствительности к малейшей, даже самой обыденной приятности и заставлял меня всегда считать имя Феликс, к которому с такой горькой иронией относился крестный Шиммельпристер, мое первое и настоящее имя, как бы нарочно придуманным для меня.

Как прав был Кукук, считая нервозное любопытство к еще невиданным человеческим особям главным ингредиентом любостранствия! Проходя по этой суматошной улице, я с искренней симпатией смотрел на черноволосых людей с оживленно бегающими глазами, как все южане, руками иллюстрировавших свою речь, и всей душой стремился вступить с ними в личный контакт. Превосходно зная название площади, к которой я направлялся, я все же считал возможным время от времени останавливать кого-нибудь из прохожих – будь то ребенок, женщина, солидный господин или простой матрос, – спрашивая, как она называется, и, покуда они мне отвечали неизменно учтиво и подробно, наблюдал за их мимикой, вслушивался в чужой язык, в несколько экзотические гортанные голоса; затем мы с наилучшими чувствами расходились в разные стороны. Далее я положил непомерно большую милостыню в чашку слепого – об этом прискорбном обстоятельстве извещала висевшая у него на груди дощечка, – который сидел на тротуаре, прислонившись к стене одного из домов, и еще великодушнее наградил обратившегося ко мне старика с медалью на лацкане, но в рваных башмаках и без манишки. В ответ он выказал страшное волнение, даже всплакнул и поклонился мне с видом, красноречивее слов говорившим: я тоже принадлежал к более высокому общественному кругу, и вот до чего меня довели человеческие слабости.

Когда я очутился на площади О Рочо с ее двумя бронзовыми фонтанами, обелиском и мостовой, волнообразно выложенной мозаикой, у меня явилось еще больше поводов обращаться с расспросами к фланирующим или праздно греющимся на солнышке обывателям относительно строений, живописно вздымавшихся в синеву позади домов, обрамлявших площадь, руин какой-то готической церкви и нового здания, оказавшегося муниципалитетом, вернее – ратушей. Южную сторону праса замыкал фасад театра, две другие представляли собой сплошной ряд магазинов, кафе и ресторанов. Удовлетворив наконец под предлогом любознательности свою жажду общения с этими детьми чужой страны, я зашел в одно из кафе, уселся за столик и спросил чаю.

За соседним столиком полдничала компания из трех человек, которая тотчас же привлекла к себе мое, разумеется заботливо скрытое, внимание. Две дамы – одна уже зрелого возраста, другая совсем молоденькая, по-видимому мать и дочь, – и господин средних лет с очками на орлином носу, у которого волосы из-под шляпы-панамы живописно свисали на воротник. Он ел мороженое и держал на коленях, видимо из рыцарских побуждений, два или три аккуратно перевязанных свертка; несколько таких же свертков, явно только что из магазина, лежали на столе перед дамами.

Делая вид, что я поглощен созерцанием то играющих на солнце струй ближайшего фонтана, то церковных руин там, наверху, я нет-нет да и поглядывал на своих соседей. Мое любопытство в одинаковой степени возбуждали и мать и дочь; я был уверен, что такова их взаимосвязь. И при этом представлении совсем различная прелесть обеих женщин восхитительнейшим образом сливалась воедино – чувство для меня весьма характерное. Выше я рассказывал о потрясении, которое испытал юный бродяга, увидев со своего места под уличным фонарем прелестную и богатую парочку – брата и сестру, – на мгновение показавшуюся на балконе гостиницы «Франкфуртское подворье». При этом я подчеркнул, что в отдельности ни он, ни она не вызвали бы во мне того восторга, который я испытал от сознания, что это брат и сестра, от их очаровательного

двуединства. Психологу будет интересно, что эта склонность к двойному восхищению, эта способность поддаваться очарованию двойственного на сей раз обратилась уже не на брата и сестру, но на мать и дочь. Мне это, во всяком случае, всегда казалось интересным. Но тут-то и необходимо добавить, что мою внезапную влюбленность еще больше разожгло предположение, уже через несколько минут мелькнувшее у меня в уме, что здесь случай шутит со мной презабавную шутку.

Молодая особа лет восемнадцати, не больше, в простом и свободном платье из белой в голубую полоску материи, перехваченном таким же кушаком, на первый взгляд показалась мне до странности похожей на Заза. Но тут моему перу вменяется в обязанность вывести слова «только что». Точь-в-точь Заза, только что ее красота – но, пожалуй, в применении к ней это слово звучало слишком гордо и могло быть отнесено скорее к ее матери (сейчас я поясню, что мне хочется этим сказать) – была, если можно так выразиться, доказательнее, откровеннее и наивнее, нежели красота подруги Лулу, в которой все было немножко feu d'artifice[181 - фейерверк (франц.)], чуть-чуть на фуфу, и не подлежало слишком пристальному рассмотрению. Здесь же была положительность (если можно перенести слово, взятое из мира морально-этического в любовно-чувственный мир), ребяческое прямодушие в глазах, которое впоследствии не раз меня озадачивало...

«Другая Заза», но настолько другая, что я еще и сейчас спрашиваю себя, не было ли это сходство только обманом зрения, в действительности же его не существовало? Может быть, мне только казалось, что я его вижу, ибо я хотел его видеть, а хотел потому, что – я знаю, как это странно звучит – все время искал двойника Заза. В этом пункте я как-то сам в себе не уверен. Разумеется, в Париже мои чувства не вступали в конкуренцию с чувствами милого Лулу; я отнюдь не был влюблен в его Заза, хотя ей и нравилось строить мне глазки. Но, может быть, влюбленность в нее перешла ко мне с моей новой личностью, и я, так сказать, задним числом в нее влюбившись, возмечтал встретить вторую Заза на чужбине? Вспоминая, как я вздрогнул, услышав от профессора Кукука о его дочери и ее имени, схожем с именем Заза, я не считаю себя вправе признать эту теорию вовсе несостоятельной.

Сходство? Восемнадцать лет и черные глаза – это уж само по себе сходство, особенно когда хочешь его увидеть; только здесь глаза не щурились так кокетливо и не поблескивали из-под ресниц, но когда, суженные чуть толстоватыми нижними веками, они не озарялись сиянием сдержанного смеха, то в них было что-то суровое, испытующее и мальчишеское, такое же, как в голосе; до меня несколько раз донеслись отдельные слова и восклицания, и голос ее звучал совсем не серебристо, а тоже скорее сурово и несколько грубовато, без тени жеманства, честно и прямодушно, как голос мальчика. А с носиком дело обстояло и совсем неважно: у Заза нос был вздернутый, у этой же девушки – очень тонко очерченный, но с немного слишком плотными крыльями. Рот, о, рот был похож! Это я еще и сейчас берусь утверждать с полной уверенностью: губы у той и у другой (у «другой» пунцовые, несомненно, от природы) всегда были чуть-чуть приоткрыты так, что под слегка вздернутой верхней губкой виднелись зубы; углубление пониже рта и прелестная линия подбородка, сбегавшая к нежной шее, тоже чем-то напоминали Заза. В остальном все было разное; характерно парижское здесь обернулось иберийско-экзотическим прежде всего благодаря высокому черепаховому гребню, который скреплял зачесанные кверху с затылка темные волосы. Ото лба, оставляя его открытым, они шли встречной волной, но две пряди ниспадали на уши, в чем тоже было что-то южное, испанское. В ушах у нее были серьги, – не длинные, покачивающиеся подвески из черного янтаря, как у матери, но прилегающие, хотя и довольно массивные опаловые диски, оправленные мелким жемчугом, в сочетании со всем остальным тоже выглядевшие – довольно экзотично. Цвет лица у Зузу – я тотчас же назвал ее этим именем – имел слегка желтоватый оттенок, как и цвет лица матери, весь облик которой,

впрочем, носил совершенно иной характер – импозантный, чтобы не сказать величественный.

Выше ростом, чем ее обворожительная дочь, уже утратившая стройность, но отнюдь не полная, в изысканно простом платье из кремового полотна, у ворота и на рукавах изрезанного наподобие кружев – к нему она носила длинные черные перчатки, эта женщина еще не достигла возраста матроны, но в темных ее волосах, видневшихся из-под изогнутой по тогдашней моде большой соломенной шляпы с цветами, уже мелькали серебряные нити. Черная, расшитая серебром бархотка на шее очень шла к ней, оттеняя горделивую посадку головы; весь ее облик был проникнут подчеркнутым достоинством, достоинством, граничащим с сумрачностью, с жестокостью. Все это отражалось на ее довольно крупном лице с высокомерно поджатыми губами, трепещущими крыльями носа и двумя суровыми складками меж бровей. Жесткость вообще характерна для южан, хотя многие ее начисто не замечают, замороженные представлением, что юг вкрадчиво мягок и приторен, а жесткость свойство севера, – в корне порочная идея. «Видимо, древняя иберийская кровь, – подумал я, – значит, с примесью кельтской. А возможно, что здесь есть еще доля финикийской, карфагенской, римской и арабской. Да, с такой дамой каши не сварить». И еще я подумал, что под крылышком этой матери дочка защищена, пожалуй, надежнее, чем под рыцарственным покровительством любого мужчины.

Тем более меня порадовало, что, надо думать, из соображений благоприличия, при посещении общественного места они все же находились под мужским покровительством. Очкастый и длинноволосый господин сидел всего ближе ко мне, можно сказать, плечом к плечу со мной, так как свой стул он поставил боком к столу, и я все время видел его резко очерченный профиль. Мне всегда противно смотреть на длинные волосы у мужчин, так как рано или поздно они неминуемо засалят воротник, но тут я преодолел свое отвращение и, кинув виноватый взгляд на обеих дам, обратился к их спутнику со следующими словами:

– Простите, сударь, за смелость иностранца, к сожалению, не владеющего языком вашей страны и потому лишенного возможности объясниться с кельнером. Еще раз прошу простить меня, – при этом мой взгляд снова робко, точно я и смотреть-то на них не решался, скользнул по дамам, – за дерзкое вторжение! Но мне очень, очень нужно получить кое-какие сведения. Дело в том, что приятный долг, не говоря уж о собственном моем желании, предписывает мне явиться с визитом в один из домов верхней части города на rua Жуан де Кастильюш. Упомянутый дом – я позволяю себе заявить об этом, так сказать, в качестве удостоверения моей благонадежности – принадлежит выдающемуся лиссабонскому ученому, профессору Кукуку. Не откажите в любезности хотя бы вкратце проинформировать меня о том, как добираются в верхнюю часть города?

Какое счастье уметь изысканно и любезно выражаться, обладать даром красивой речи; этот дар добрая фея вложила мне в колыбель своей нежной рукой, и как же он оказался мне необходим, для того чтобы осуществить задуманное и обнародовать свою исповедь! Мне самому понравилось мое обращение к очкастому господину, хотя на последних словах я запнулся из-за того, что молодая девушка, услышав название улицы, а затем и имя профессора Кукука, весело хихикнула, вернее – рассмеялась, хотя и негромко. Признаться откровенно, я даже сконфузился: ведь я затеял весь этот разговор лишь для того, чтобы подтвердить свои еще смутные предположения. Сеньора укоризненно покачала головой и величаво-вразумляюще поглядела на слишком резвую дочь, но затем и сама не смогла сдержаться – улыбка промелькнула на ее суровых губах под едва заметной тенью усиков. Длинноволосый, конечно, опешил, так как – я берусь это утверждать – в противоположность дамам до сих пор вообще не замечал моего

присутствия, но тем не менее учтиво ответил:

– Прошу вас, сударь. Для того чтобы добраться туда, существуют различные способы, но я не все из них решаю рекомендовать вам. Можно, например, взять фиакр, хотя некоторые из улиц по дороге наверх очень круто поднимаются в гору и местами седоку приходится идти пешком за экипажем. Лучше уж воспользоваться вагончиком, запряженным мулами, которые без труда берут эти подъемы. Но мы, местные жители, обычно отдаем предпочтение канатной дороге; станция ее находится почти рядом, на уже знакомой вам, вероятно, руа Аугуста. Канатная дорога быстро и удобно доставит вас почти до самой руа Жуан де Кастильюш.

– Превосходно, – отвечал я. – Это все, что мне нужно. Не знаю, как и благодарить вас сударь. Я безусловно последую вашему совету. Еще раз покорнейше благодарю.

И я плотнее уселся на своем стуле с видом, явно свидетельствующим о том, что больше я ему докупать не собираюсь. Но малютка – мысленно я уже звал ее Зузу, – ничуть не испугавшись грозных и предостерегающих взглядов матери, продолжала откровенно потешаться, так что сеньора в конце концов была вынуждена обратиться ко мне с разъяснением.

– Простите, сударь, девочке это искреннее веселье, – сказала она звучным альтом, жестко выговаривая по-французски. – Дело в том, что я мадам Кукук с руа Жуан де Кастильюш, это моя дочь Сюзанна, а это господин Мигель Хуртадо, научный сотрудник мужа, и я, наверно, не ошибусь, предположив, что беседую со спутником дона Антонио Хосе – маркизом де Веноста. Мой муж по приезде рассказал нам о встрече с вами...

– Я счастлив, мадам, – воскликнул я с непритворной радостью, отвешивая поклон ей, молодой девушке и господину Хуртадо. – Какая очаровательная игра случая! Конечно же, я – Веноста, по пути из Парижа сюда наслаждавшийся обществом вашего супруга. Должен признаться, что никогда еще я не путешествовал с такой для себя пользой. Беседа с господином профессором поистине возвышает душу...

– Не удивляйтесь, господин маркиз, – вдруг заговорила юная Сюзанна, – что ваш вопрос рассмешил меня. Вы слишком много спрашиваете. Я еще на площади заметила, что вы останавливаете каждого третьего прохожего и о чем-то осведомляетесь. А теперь вы вздумали осведомляться у дна Мигеля относительно нашего местожительства...

– Ты ведешь себя нескромно, Зузу, – перебила ее мать, и у меня было очень странное чувство, когда я впервые услышал это уменьшительное имя, которым мысленно уже давно называл ее.

– Извини меня, мама, – отпарировала малютка, – но в молодости что ни скажешь – все нескромно; маркиз, молодой человек, наверно, не старше меня, тоже был немножко нескромен, затеяв разговор от столика к столику. А кроме того, я даже и не сказала того, что собиралась сказать. Мне хотелось заверить маркиза, что папа по приезде вовсе не ринулся с места в карьер рассказывать о встрече с ним, как это можно было вывести из твоих слов. Он успел рассказать нам кучу всяких интересных вещей, прежде чем вскользь упомянул о некоем господине де Веноста, с которым он вместе ужинал...

– Дитя мое, – неодобрительно покачав головой, заметила урожденная да Круц, – правда тоже не должна быть нескромной.

– Бог мой, мадемуазель, – сказал я, – это правда, в которой я никогда не сомневался. Я и не воображал, что...

– Очень хорошо, что вы ничего не воображали...

Мапан: – Зузу!

Малютка: – Молодой человек, сhere мапан, который носит такое имя и по чистой случайности еще и недурен собой, на каждом шагу подвергается опасности невесть что о себе вообразить.

Тут уж оставалось только засмеяться. Господин Хуртадо тоже разделил общую веселость. Я сказал:

– Мадемуазель Сюзанна, видимо, недооценивает куда большую опасность невесть что о себе воображать, на каждом шагу грозящую девушке с ее внешностью. Тем более что случай мадемуазель Сюзанны еще осложнен вполне естественной гордостью таким рара и такой мапан (поклон в сторону сеньоры).

Зузу покраснела, видимо, за мать, которая и не подумала краснеть, а может быть, из ревности к ней, но тут же с поразительным самообладанием выкарабкалась из этой мгновенной неловкости. Она мотнула головкой в мою сторону и равнодушно констатировала:

– Какие у него красивые зубы.

В жизни я не встречал подобной прямолинейности! Зузу, пожалуй, заслуживала бы порицания за несколько излишнюю задиристость, если бы на возмущенное: «Zouzou, vous etes tout a fait impossible»[182 - Зузу, вы совершенно невозможны (франц.)] сеньоры не ответила:

– Да он же их все время показывает! Значит, ему приятно это слышать. И вообще такие вещи вовсе не к чему замалчивать. Молчание вредно. А констатация факта не вредит ни ему, ни кому-либо другому.

Своеобразное существо! Своеобразное и несколько выпадающее из рамок общепринятого, а также из окружающей ее светской и национальной среды. Это мне уяснилось многим позднее. Мне еще только предстояло узнать, с какой почти фанатической настойчивостью эта девушка руководствовалась в жизни своей примечательной сентенцией: «Молчание вредно».

Разговор как-то конфузливо прервался. Мадам Кукук да Круц легонько барабанила по столу кончиками пальцев. Господин Хуртадо теребил свои очки. Я первый нарушил молчание:

– Нам остается только признать педагогические таланты мадемуазель Сюзанны. Она была совершенно права уже в первом случае, заметив, что смешно предполагать, будто уважаемый господин Кукук начал свой отчет о поездке с упоминания о моей особе. Я готов побиться об заклад, что в первую очередь профессор рассказал о приобретении, ради которого, собственно, и ездил в Париж, то есть об отдельных частях скелета некоего очень интересного, но, к сожалению, давно вымершего вида тапира, жившего в достопочтенную эпоху эонов.

– Вы угадали, маркиз, – подтвердила сеньора. – Именно об этом нам прежде всего и рассказал дон Антонио, так же как, видимо, и вам. И мсье Хуртадо, наш любезный спутник, больше чем кто бы то ни было, обрадовался этому приобретению, ибо оно сулит

ему интересную работу. Я представила вам мсье Хуртадо как научного сотрудника моего мужа, но у него есть еще и другая специальность. Мсье Хуртадо не только делает для нашего музея превосходнейшие чучела всевозможных современных животных, но по окаменелым останкам в высшей степени убедительно восстанавливает облик давно вымерших существ.

«А, вот откуда они, эти волосы до плеч! – подумал я. – Но так ли уж это необходимо?»

Вслух же я сказал:

– Бог мой, мсье Хуртадо! Право же, все не могло сложиться счастливее! О вашей замечательной деятельности мне много рассказывал профессор, и вдруг такая удача, с первых шагов в этом городе я уже имею честь познакомиться с вами...

И что же на все это изволила сказать фрейлейн Зузу, глядя куда-то в сторону? А вот что:

– Какая радость! Советую вам броситься ему на шею! Мы, видно, не идем ни в какое сравнение с господином Хуртадо, если знакомство именно с ним привело вас в столь неумеренный восторг. А между прочим, маркиз, по вашему виду никак не скажешь, что вы интересуетесь наукой. Круг ваших интересов, несомненно, ограничивается балетом и лошадьми...

Конечно, на ее речи не следовало обращать внимания, но я тем не менее ответил:

– Лошади? Во-первых, сударыня, наша лошадь очень и очень связана с тапиром эоцена. Во-вторых, и балет может навести человека на научные размышления, стоит только вспомнить о первобытном костяке хорошеньких ножек, которые там выделяют всевозможные антраша. Простите мне эту вольность, но вы первая заговорили о балете. В остальном вы, конечно, вправе видеть во мне вертопраха, человека самых низменных интересов, начисто безразличного ко всему высокому, к космосу и трем первотворениям, к всесимпатии. Этого вам никто запретить не может, но только... что, если вы ошибаетесь?

– Теперь, Зузу, – вмешалась тапан, – пора объяснить, что ты совсем не то хотела сказать.

Но Зузу как воды в рот набрала.

Зато польщенный господин Хуртадо поспешил сгладить ее выступление.

– Мадемуазель, – сказал он, – любит поддразнивать, господин маркиз. Мы, мужчины, должны с этим мириться и, конечно, охотно миримся. Меня она тоже вечно дразнит, зовет набивальщиком – впрочем, я некогда и в самом деле был им. Я зарабатывал себе на жизнь тем, что набивал чучела почивших домашних фаворитов – канареек, попугаев и кошек, снабжая их прехорошенькими стеклянными глазками. Впоследствии я перешел на дермопластику – от ремесла к искусству – и уже не нуждаюсь в мертвых зверях, чтобы порадовать посетителей музея видом мнимо живых созданий. В таком деле, кроме искусных рук, нужно умение наблюдать и внимательно изучать природу, этого я не отрицаю. И все эти качества – в той мере, в какой они у меня имеются, – я поставил на службу нашему естественно-историческому музею. Уже целый ряд лет, разумеется не один, а еще с двумя художниками этого жанра, я работаю для созданной Кукуком институции. Чтобы воссоздавать животных иных времен, я хочу сказать – земной древности, необходимо, разумеется, иметь в наличии точные анатомические отправные данные, на основе которых логически строится общий облик. Поэтому я так и радуюсь,

что профессору удалось раздобыть в Париже необходимейшие нам части костяка. По ним я дополню все остальные. Это животное было не крупнее лисы и безусловно имело по четыре сильно развитых пальца на передних лапах и по три на задних...

Хуртадо даже вспотел от столь долгой речи. Я от души пожелал ему удачи в этом интереснейшем начинании и высказал сожаление, что не увижу его результатов, так как мой пароход уходит в Буэнос-Айрес уже через неделю. Зато я хочу увидеть как можно больше того, что им уже создано. Профессор Кукуй был так великодушен, что предложил сам быть моим экскурсоводом по музею. Вот я и хлопочу, чтобы точнее договориться о дне и часе этой экскурсии.

– Договориться мы можем, не сходя с места, – заявил Хуртадо. И добавил, что если завтра утром, часов в одиннадцать, я возьму на себя труд подойти к музею на риа да Прата, в двух шагах отсюда, то профессор вместе со своим скромным сотрудником будут уже на месте, и он, Хуртадо, почтет за честь присоединиться к нашей «экскурсии».

Чего же лучше! Я протянул ему руку в знак того, что считаю дело решенным, дамы отнеслись к нашему уговору более или менее благожелательно: сеньора улыбнулась снисходительно, Зузу – насмешливо. Тем не менее в последовавшем еще кратком разговоре она опять не обошлась без того, что господин Хуртадо назвал поддразниванием. Из этого разговора я узнал, что дон Мигель встретил профессора на вокзале, отвез его домой и, отобедав вместе с семейством Кукук, вызвался сопровождать дам по магазинам и, наконец, завел их отдохнуть в это кафе, куда они, по местному обычаю, не могли бы явиться без сопровождающего мужчины. Поговорили мы и о предстоящем мне кругосветном путешествии – своеобразном подарке родителей своему единственному сыну, к которому они, конечно, питают слабость.

– C'est le mot[183 - это правильное слово (франц.)], – вставила Зузу. – Это несомненная слабость.

– Я вижу, что вы продолжаете воспитывать во мне скромность, мадемуазель.

– Тщетный труд, – отпарировала она.

Мать наставительно заметила:

– Молодой девушке, дитя мое, следует отличать благопристойную сдержанность от ершистости.

И все же именно эта ершистость давала мне надежду в один прекрасный день – как ни мало их было в моем распоряжении – поцеловать ее обворожительно вздернутые губки.

Сама мадам Кукук укрепила меня в этой надежде, по всей форме пригласив меня отобедать у них на следующий день. Хуртадо между тем вслух размышлял, на какие же достопримечательности ему следует указать мне, принимая во внимание мое столь ограниченное время. В результате он порекомендовал мне насладиться удивительным видом на город и реку из общественного парка Пасею да Эстрелья, посмотреть бой быков, который должен состояться в ближайшие дни; сказал несколько слов о монастыре Белем – чуде архитектурного искусства – и о дворце Цинтра. Я, в свою очередь, признался, что больше всего меня влечет в ботанический сад, где, как я слышал, имеется растительность, относящаяся скорее к каменноугольной эпохе, чем к современной флоре нашей планеты, а именно древовидный папоротник. Я так заинтересован этим растением, что, если не говорить о естественно-историческом музее, хочу отправиться первым делом именно в ботанический сад.

– Это не более как приятная прогулка, – заметила сеньора, – и даже не дальняя. – Самое простое, по ее мнению, будет, если я после осмотра музея приду на rua Жуан де Кастильюш пообедать en famille[184 - в семейном кругу (франц.)], а потом, независимо от того, захочет дон Антонио Хосе пойти с нами или не захочет, мы все вместе отправимся на этот ботанический променад.

Что ее величаво-любезное предложение было принято с учтивым изъяснением благодарности, говорить не приходится. Никогда еще я так не радовался завтрашнему дню, уверял я. После того как уговор состоялся, все встали с мест. Господин Хуртадо спросил счет и расплатился за себя и за дам. Не только он, но и мадам Кукук и Зузу на прощанье пожали мне руку.

– A demain, – услышал я еще раз.

Даже Зузу сказала:

– A demain. Grace a l'hospitalite de ma mere[185 - До завтра. Благодаря гостеприимству моей матери (франц.)], – язвительно добавила она. И затем, потупившись: – Я не люблю действовать по указке и потому сразу не сказала вам, что вовсе не хотела быть к вам несправедливой.

Я так опешил от этого внезапного смягчения ее колкости, что даже назвал ее Заза.

– Mais, mademoiselle Zaza...[186 - Но, мадемуазель Заза... (франц.)]

– Заза! – Она прыснула и повернулась ко мне спиной.

Мне пришлось кричать ей уже вслед:

– Зузу! Зузу! Excusez ma bevue, Je vous en prie![187 - Извините меня за эту оговорку, очень вас прошу! (франц.)]

Возвращаясь к себе в гостиницу мимо мавританского вокзала по узенькой rua до Прансипе, соединяющей О Рочо с авенида да Либердаде, я все время бранил себя за эту злополучную обмолвку. Заза! Заза – та существовала сама по себе, подле своего влюбленного Лулу, а не под крылышком горделивой матери-иберийки, что составляло существенную разницу!

7

С rua Аугуста до Лиссабонского музея Ciencias Naturaes, что на rua да Прата, и в самом деле рукой подать. Фасад музея невзрачен – ни колонн, ни широкой торжественной лестницы. Входишь и, еще не пройдя турникета, возле которого за столиком с кипами фотографий и открыток сидит кассир, оказываешься в зале, поражающем своей огромностью, где тебя обступают волнующие картины природы. Там, например, посередине устроен напоминающий сцену помост, весь заросший травой, позади которого темнеет лесная чаща, частично нарисованная, частично воссозданная из настоящих стволов и листвы. Перед нею, словно только что вышедший оттуда, стоял на стройных, близко поставленных ногах белый олень в царственном уборе своих широко разветвленных рогов. Полный достоинства и в то же время пугливой чуткости, он глядел на входящего блестящими, спокойными, но внимательными глазами, повернув вперед

отверстия настороженных ушей. Верхний свет в зале падал прямо на лужайку и на трепетную фигуру этого существа, осторожного и гордого. Казалось, стоит сделать еще шаг – и он одним прыжком исчезнет в лесной чаще. Робость этого одинокого создания там, наверху, заставила оробеть и меня. Я стоял, не смея двинуться с места, и даже не сразу заметил сеньора Хуртадо, который, заложив руки за спину, дожидался меня возле помоста. Он двинулся мне навстречу, сделал знак кассиру, что я прохожу безвозмездно, и со словами дружеского приветствия повернул передо мной турникет.

– Вас, господин маркиз, как я вижу, поразила встреча с нашим белым оленем. Вполне понятно. Отличный экземпляр. Нет, нет! Не я поставил его на ноги. Это сделано другим, еще до моего знакомства с музеем. Господин профессор ждет вас. Разрешите мне...

Но ему пришлось, улыбаясь, подождать еще минуту-другую, ибо я ринулся к дивной фигуре оленя, чтобы хорошенько рассмотреть ее вблизи, благо на самом деле он не мог обратиться в бегство.

– Это не чубарный олень, – пояснил Хуртадо, – а олень, принадлежащий к классу благородных рыжих оленей, среди которых иногда встречаются и белые. Впрочем, я, вероятно, рассказываю знатоку то, что ему давно известно. Вы, маркиз, ведь, надо полагать, охотник?

– Только от случая к случаю и по обязанности. Но здесь мне, право же, и на ум не идет охота. Я, кажется, не мог бы выстрелить по такому зверю. Он какой-то... легендарный. А вместе с тем – надеюсь; что я не ошибаюсь, сеньор Хуртадо, – олень ведь просто жвачное животное.

– Разумеется, господин маркиз. Так же, как его родичи – северный олень и...

– И корова. Ведь это даже заметно. Легендарное существо, а между тем это заметно. Он белый, в виде исключения, и ветвистые рога делают его похожим на царя лесов, его бег – воплощенная грация. Но туловище выдает его семейную принадлежность, против которой, впрочем, не приходится возражать. Если попристальнее взглядеться в его туловище и круп, невольно думаешь о лошади; но лошадь – она нервнее, хотя, как известно, и происходит от тапира. Вообще же олень представляется мне коронованной коровой.

– Вы критический наблюдатель, господин маркиз.

– Критический? Нет, нет, несколько. У меня только есть известное чутье к формам и характерам жизни, природы – вот и все. Я их чувствую, интересуюсь ими. У жвачных животных, насколько я знаю, удивительнейший желудок. В нем несколько отделений, и из одного такого отделения они выбрасывают уже съеденную пищу обратно в пасть. И вот лежат себе и с наслаждением вновь и вновь пережевывают эти душистые комки. Вы, может быть, скажете, что негоже носить корону лесного царя тому, в ком укоренилась столь скверная семейная привычка. Но я чту природу во всех ее проявлениях, «и мне ничего не стоит мысленно перевоплотиться в жвачное животное. В конце концов существует же всесимпатия.

– Без сомнения, – согласился оторопевший Хуртадо. Он был несколько смущен моей высокопарной манерой выражаться; как будто можно в другой манере говорить о том, что подразумевается под всесимпатией. Но так как от смущения у него сделался вид унылый и поникший, то я поспешил ему напомнить о хозяине дома.

– Вы правы, маркиз. А я не смею вас здесь дольше удерживать. Прошу налево...

Слева по коридору находился кабинет Кукука. Он поднялся от письменного стола при нашем появлении, снял очки для работы со своих звездных глаз, и мне почудилось, будто я вижу эти глаза во сне. Приветствуя меня наисердечнейшим образом, он выразил удовольствие по поводу того, что случай уже свел меня с его женой и дочерью, а также по поводу состоявшегося между мной и ими уговора о сегодняшней встрече.

Несколько минут мы просидели за его столом, покуда он меня расспрашивал, где я остановился и каковы мои первые впечатления от Лиссабона. Затем он предложил:

– Не приступить ли нам к осмотру, маркиз?

Так мы и сделали. В большом зале перед оленем теперь стояли школьники, десятилетние ребята; учитель рассказывал им об этом животном. Они с одинаковым почтением глядели то на оленя, то на своего наставника. Затем их повели вокруг зала, где вдоль стен стояли стеклянные ящики с коллекциями бабочек и насекомых. Мы около этих коллекций не остановились и прошли направо, в анфиладу комнат самой различной величины, где должно было получить полное, даже чрезмерное удовлетворение «почитание природы во всех ее проявлениях», которым я хвалился, – так плотно эти помещения были набиты созданиями, когда-либо вышедшими из ее лона, являя проникнутому «симпатией» взору все: от самых жалких и робких попыток до гармонически развитого и в своем роде совершенного. За стеклом был воссоздан кусок морского дна, где кишела первобытная органическая жизнь, еще растительная и временами принимавшая непристойные формы. А рядом хранились поперечные разрезы раковин из самых нижних слоев земли со следами сгнивших миллионы лет назад безголовых моллюсков, которым они служили защитой. Глядя на скрупулезную обработку внутренности этих раковин, оставалось только удивляться, до чего же искусна была природа уже в те доисторические времена.

Нам встречались отдельные посетители; они приобрели по общедоступной цене входные билеты и теперь бродили без всякого руководства, довольствуясь пояснительными надписями на португальском языке, которыми были снабжены экспонаты: скромное положение в обществе не давало им права на особое внимание. Они с любопытством оглядывались на нашу маленькую группу, видимо принимая меня за иностранного принца, которого с почетом встречает дирекция музея. Не стану отрицать, что мне это было приятно, к тому же я остро ощущал неизъяснимую прелесть контраста между моей изысканной элегантностью и чудовищной первобытностью окаменелых экспериментов природы, с которыми я успел уже познакомиться, – всех этих древнейших раков, головоногих, плеченогих, баснословно древних губок и морских звезд.

Больше всего волновала мое воображение мысль, что эти первые попытки, во всех своих, даже самых абсурдных проявлениях не лишены собственного достоинства и самоцели, были, так сказать, предварительными экспериментами для создания меня, то есть человека, и это определило ту сдержанно-подтянутую осанку, с которой я представлялся голокожим, остромордым морским ящерам; модель одной такой твари длиной в пять метров плавала в стеклянном бассейне. Этот голубчик, в натуре нередко превосходивший длину модели, был пресмыкающимся, но с рыбьим телом и несколько напоминал дельфина, хотя последний и принадлежит к классу млекопитающих. И вот это существо, валандающееся между двух классов, таращило на меня глаза, тогда как мои глаза, хотя профессор Кукук продолжал говорить о нем, уже устремлялись в два следующих помещения, где, пересекая их, высилась за бархатными поручнями гигантская фигура – динозавр в натуральную величину. Музеи и выставки, как правило, слишком много предлагают нашему вниманию, тогда как тихое, углубленное созерцание какого-нибудь одного из этого великого множества выставленных предметов куда

больше говорило бы уму и сердцу. Вот и получается, что едва подойдешь к одному экспонату, как твой взор уже находит следующий и твое внимание рассредоточивается; и так в продолжение всего осмотра. Впрочем, все это я говорю на основании однократного опыта, ибо впоследствии мне уже не доводилось посещать столь поучительные заведения.

Что касается непомерного существа, досадливо отвергнутого природой и столь тщательно восстановленного здесь на основании раскопанных останков, то в этом здании, собственно, не имелось ни одного зала, подходящего ему по размерам, ибо в нем – прости его господи! – было сорок метров длины. И хотя динозавру отвели два разделенных аркой помещения, но он уместился в них лишь благодаря тому, что все его члены были отлично и умело распределены по обоим залам. В одном мы прошли мимо изогнувшегося гигантского голокожего хвоста, задних ног и небольшой части пузатого туловища; в следующем возле передней части этого животного был водружен древесный ствол – или, может быть, каменный столб? – на который бедняга, слегка приподнявшись не без чудовищной грации, опирался одной ногой, а его нескончаемая шея с малюсенькой головкой в печальном раздумье – если можно раздумывать воробьиным мозгом – склонялась к этой ноге.

Я был потрясен видом динозавра и мысленно говорил ему: «Не огорчайся! Конечно, ты был отвергнут природой, так сказать, скинут со счетов, но, вот видишь, мы тебя восстановили, мы еще думаем о тебе». Но даже на этом прославленнейшем экспонате музея мое внимание не могло целиком сосредоточиться, так как его отвлекали другие в высшей степени интересные предметы. Подвешенный к потолку, парил в воздушном пространстве летающий ящер, распростав свои кожанные крылья, а рядом, казалось, летела только что вышедшая из пресмыкающихся доисторическая птица с хвостом и когтистыми крыльями. Были тут и не живородящие, но яйцекладущие млекопитающие и тупорылые гиганты муравьеды^[188 - ...но яйцекладущие млекопитающие и тупорылые гиганты муравьеды...] – Это, конечно, недоразумение. Костный панцирь имелся не у «гигантских муравьедов», а у так называемых глиптодонтов – громадных вымерших броненосцев Южной Америки, имевших около 3 метров в длину. Ископаемые муравьеды вообще неизвестны. Путаница, вероятно, объясняется тем, что вымершие глиптодонты, мегатерии (наземные ленивцы) и другие неполнозубые являются родичами современных маленьких броненосцев, древесных ленивцев и муравьедов.], которых природа предусмотрительно оснастила панцирем из толстых костяных щитков на спине и боках. Но не обделила она и алчного их пожирателя – саблезубого тигра^[189 - Саблезубые тигры охотились не на глиптодонтов, а главным образом на мастодонтов и мамонтов, толстую кожу которых они кололи и резали своими громадными верхними клыками.], дав ему такие могучие челюсти и клыки, что, с хрустом раскусывая костяной панцирь, он мог вырывать у муравьеда огромные куски его, надо думать, превкусного мяса. Чем больше и защищенное делался строптивый хозяин, тем мощнее развивались челюсти и зубы гостя, который в предвкушении трапезы вскакивал ему на спину. Но когда наконец, рассказывал Кукук, климат и растительность сыграли злую шутку с гигантским муравьедом и он уже больше не находил скромного своего пропитания, то в не менее тяжелом положении оказался и саблезубый тигр; после столь долгого яростного соревнования он заодно со своими челюстями и сокрушительными клыками захирел и окончил земное существование. Он делал все, чтобы не отстать от быстрого роста муравьеда и не утратить способности бойко разгрызать его панцирь. Тот же, со своей стороны, никогда не стал бы так огромен и не заковался бы в столь толстую броню, не будь охотников полакомиться его мясом. Но если природа хотела защитить его этим все более непробиваемым панцирем, то зачем она непрестанно укрепляла челюсти и клыки его врага? Значит, она стояла и за того и за другого, или, вернее, ни за того, ни за другого, а только подшучивала над обоими и, доведя своих детищ до предела их возможностей, взяла да и покинула их в беде. Что, собственно, думает природа? Да ровно ничего.

И человеку нечего о ней раздумывать, ему остается только дивиться ее деятельному равнодушию и при этом направо и налево дарить свои чувства, когда он в качестве почетного гостя бродит среди бесконечно разнообразных ее созданий, модели которых, сработанные руками господина Хуртадо, наполняют музей профессора Кукука.

Мне были представлены мохнатый мамонт с загнутыми клыками, уже более не существующий, и носорог, закутанный в толстую складчатую кожу, который еще существует, хотя это и кажется невероятным. С ветвей склонялись и смотрели на меня неправдоподобно большими блестящими глазами полуобезьяны и ночная обезьянка, которая навеки осталась в моем сердце, такие, не говоря уж о глазах, у нее были прелестные ручонки, разумеется унаследовавшие свой костяк от древнейших сухопутных животных; и лемур с глазами, как площадки, с тонкими длинными пальчиками, которые он сжимал на груди, и необыкновенно разросшимися в ширину плоскими пальцами на задних конечностях. Природа, казалось, хотела рассмешить нас этими пальцами, но я воздержался даже от улыбки, глядя на них, ибо слишком уж очевидно все это восходило ко мне, хотя и в замаскированном, жалостно карикатурном виде.

Но разве я в силах воздать хвалу всем зверям, показанным в музее: птицам, вьющим гнездо цаплям, сумрачным совам, тонконогим фламинго, грифам и попугаям или крокодилу, тюленям, саламандрам и бородавчатым жабам – одним словом, всему ползающему и летающему! Никогда мне не забыть одной лисички с лукавой мордочкой; и всех их – лису, рысь, ленивца и росомаху, даже ягуара на дереве, косившегося на меня зелеными лживыми глазами, ягуара, чья пасть свидетельствовала о том, что ему назначена кровавая, лютая роль, – всех мне хотелось ласково погладить по голове, что я и делал время от времени, хотя трогать экспонаты руками запрещалось. Но я-то мог позволить себе такую свободу. Мои спутники не без удовольствия смотрели, как я подал руку медведю, вставшему на дыбы, и ободряюще похлопал по плечу шимпанзе.

– Ну, а человек, – сказал я. – Господин профессор, вы же сулили мне человека. Где он?

– В подвале, – отвечал Кукук. – Если вы все уже достаточно рассмотрели здесь, то давайте спустимся к нему.

– Вы, наверно, хотели сказать «поднимемся», – сострил я.

Подвал освещался искусственным светом. Там, где мы проходили, в стенах за стеклом были устроены маленькие театры, пластические сцены в натуральную величину из ранней поры человечества, и перед каждой из них мы останавливались, выслушивая комментарии хозяина дома, иногда же, по моему настоянию, возвращались к уже пройденной, даже если мы раньше долго простояли перед ней. Благосклонный читатель, вероятно, помнит, как я в юности рылся в портретах предков, стремясь разыскать истоки своей незаурядно благообразной внешности, обнаружить первые намеки на меня самого. Изначальное, укрепившись, всегда возвращается в жизни, и я целиком погрузился в созерцание, как вдруг с бьющимся сердцем почувствовал, что мой пытливый взгляд наткнулся на нечто, целящееся в меня из бесконечной туманной дали. Боже милостивый, кто ж это там такие – маленькие, волосатые, испуганно сбились в кучку и, видно, обсуждают на шелкающем и воркующем праязыке, как им быть, как перебиться на этой земле, заполненной более сильными, лучше вооруженными существами? Что же? В ту пору уже произошло отделение человека от животного или еще нет? Произошло, произошло, без всякого сомнения! За это говорили боязливая отчужденность и беспомощность волосатых человечков в чуждом мире, для которого они не были снабжены ни рогами, ни челюстями, разрывающими мясо, ни клыками, ни, наконец, костяными панцирями или железными крючковатыми клювами. И все же, по твердому

моему убеждению, они уже знали и, присев на корточки, потихоньку говорили друг другу, что созданы из более благородного материала, нежели все остальные.

Перед нами открылась обширная пещера. В ней высекали огонь неандертальцы – коренастые люди с тяжелыми затылками, но уже безусловно люди. Хотел бы я посмотреть, как великолепнейший из лесных королей сумел бы высечь огонь! Королевской осанки для этого мало, тут должно примешаться что-то еще. Особенно тяжелым, срезанным затылком отличался старшина клана с лицом, заросшим волосами, и сутулой спиной; одно колено у него было ободрано до крови, руки непомерно длинны по его росту; одна из них держала за рога оленя, которого он убил и только что втащил в пещеру. Все они были короткошеи, длинноруки и уж очень не стройны, эти люди у огня: мальчик, почтительно взиравший на кормильца и добытчика, женщина, вышедшая из глубины пещеры с младенцем, который сосал ее грудь. Но вот что интересно: младенец выглядел совершенно так же, как выглядят грудные младенцы в наши дни, вполне современный ребенок и значительно превышающий уровень, достигнутый взрослыми, но, подрастая, он, видимо, должен был спуститься до них.

Я все смотрел и смотрел на неандертальцев, а потом никак не мог оторваться от чудака, который много сотен тысячелетий назад, скорчившись в пустой пещере, с непостижимым усердием покрывал ее стены изображениями буйволов, газелей и прочего зверья, а также людей, на него охотящихся. Его собратья, верно, и вправду охотились, а он сидел здесь, писал на стене цветными соками[190 - ...писал на стене цветными соками... – Для идеалиста Кукука рождение искусства есть акт появления гениальной личности, которая в силу каких-то внутренних стимулов начала рисовать, резать на кости и пр. В действительности рисунки первобытных людей каменного века имели в их глазах магическое значение: отправляясь на охоту, рисовали животных, на которых предстояла охота, бросали в изображения дротики (а иногда и изображали эти дротики вонзившимися в тело животного) и тем «обеспечивали» себе удачную охоту.], и его испачканная левая рука, которою он во время работы опирался о скалу, оставила на ней множество отпечатков, мелькавших среди изображений. Долго смотрел я на него, и когда мы уже двинулись дальше, меня потянуло обратно к усердному чудаку.

– Да у нас есть еще один такой, – сказал Кукук, – тот режет по камню по мере своих сил все, что ему мерещится.

И правда, склоненный над камнем и настойчиво режущий по нему, он тоже был очень трогателен. Но боевым, отважным был тот, кто за стеклом театрала с собаками и копьём наступал на дикого кабана, в свою очередь изготовившегося к бою по-животному яростно, но, разумеется, и боязливо. Два пса курьезной, ныне уже не встречающейся породы (профессор Кукук назвал их болотными шпицами), которых приручил человек эпохи свайных построек, вспоротые клыками, уже валялись в траве, но кабану приходилось иметь дело со многими, меж тем как их господин, целясь, уже поднял копьё, и так как исход схватки не подлежал сомнению, то мы пошли дальше, предоставив кабана его злосчастной судьбе.

Теперь нам открылся прекрасный приморский ландшафт, среди которого рыбаки занимались своим бескровным, но хитроумным ремеслом: льняными сетями вытаскивали из моря богатый улов. Но уже чуть поодаль все выглядело совсем по-иному, чем виденное нами доселе: значительнее, знаменательнее, нежели у неандертальцев, у охотника за дикими кабанами, у рыбаков, выбирающих сети, и даже у ретивых чудаков. Множество каменных столбов выстроилось на берегу моря; они вздымались вверх, словно колонны огромного зала, ничем не накрытого, с небом вместо крыши. За ними простиралась равнина, и на краю света вставало багряное, пылающее солнце. В этом открытом зале стоял мужчина могучего сложения и, воздев руки, протягивал солнцу

охапку цветов. Где такое видано? Этот человек был не старик, не мальчик, а мужчина в расцвете сил. И то, что он был зрел и силен, сообщало его действию особую, проникновенную нежность. Он и те, что жили вокруг него и по каким-то им одним ведомым причинам именно его избрали отправлять это таинство, еще не умели строить и накрывать строения крышей; они умели только, громоздя камень на камень, складывать столбы на куске земли, где вершил таинство могучий человек. Немудреные эти столбы не могли дать повода к высокомерию. Лисья или барсучья норы, не говоря уже о гнезде птицы, свидетельствуют о большем хитроумии и мастерстве. Но они служили только определенной цели – быть пристанищем и местом для выведения потомства. Пространство, уставленное столбами, не служило ни пристанищем, ни местом для выведения потомства. По замыслу оно было выше и, не предназначенное для житейского потребления, подымалось до высот благородной потребности, а это значило, что в природе появился кто-то, кому пришла мысль с любовью преподнести охапку цветов восходящему солнцу.

Голова моя горела, словно в жару, от напряженного вглядывания во все, что стояло вокруг, предъявляя одинаковые права на мое любвеобильное сердце. Потом я услышал, как профессор сказал, что мы все уже осмотрели и пора подыматься наверх, а потом еще и на гору на руа Жуан де Кастильюш, где дамы Кукук уже ждут нас к завтраку.

– Право, можно было позабыть обо всем на свете за этим осмотром, – сказал я, хотя ни на минуту ни о чем не забывал и, напротив, считал, что хождение по музею – лишь подготовка ко вторичному свиданию с матерью и дочерью, так же как разговор с профессором Кукуком в вагон-ресторане был подготовкой к осмотру музея.

– Господин профессор, – сказал я, пытаюсь произнести нечто вроде заключительной речи. – За свою сравнительно короткую жизнь я видел не так уж много музеев, но что ваш музей один из самых захватывающе интересных – для меня не подлежит сомнению. Страна и город обязаны вам благодарностью за то, что вы создали его, я – за ваше личное руководство осмотром. Благодарю и вас от всего сердца, господин Хуртадо. Ну кто бы еще мог так замечательно восстановить этого беднягу динозавра или вкусного гиганта муравьеда? Но как ни прискорбно мне уходить отсюда, а все-таки мы не имеем права заставлять сеньору Кукук и мадемуазель Зузу нас дожидаться. Мать и дочь – это предмет, достойный размышления. Брат и сестра, конечно, тоже обаятельное сочетание. Но мать и дочь, я говорю это открыто, хотя рискую показаться уж слишком восторженным, мать и дочь – самое обаятельное двуединство на нашей планете.

8

Итак, передо мной открылись двери дома, где жил человек, до глубины души потрясший меня своими разговорами, дома на горе, к которому я, находясь в нижнем городе, уже не раз обращал своей взоры и который стал для меня еще привлекательнее благодаря нечаянному знакомству с его обитательницами – матерью и дочерью. Канатная дорога, расхваленная господином Хуртадо, и вправду быстро и удобно доставила нас наверх, почти к самой руа Жуан де Кастильюш, так что через несколько шагов мы уже стояли перед виллой Кукуков – домиком, выкрашенным белой краской, как почти все дома здесь на горе. Перед ним зеленел небольшой газон с клумбой посередине, внутри же он оказался скромным жилищем ученого, по своим размерам и убранству являвшим резкий контраст с роскошью моего жилья в этом городе, так что я не без чувства снисхождения рассыпался в похвалах великолепному виду из окон домика и уюту его комнат.

Правда, вскоре это чувство, заглушенное другим, еще более ярким контрастом, уступило

место даже некоторой робости, а именно при появлении хозяйки дома сеньоры Кукук да Круц, которая приветствовала нас, вернее меня, на пороге своей маленькой скромной гостиной с таким достоинством, словно ее окружало величие княжеских чертогов. Впечатление, накануне произведенное на меня этой женщиной, при новой встрече еще усилилось. Она позаботилась о том, чтобы предстать передо мной в другом туалете. Сегодня на ней было платье из прелестного белого муара с изящно скроенной и очень пышной юбкой, узкими, заложенными в складки рукавами и черным бархатным шарфом на высокой талии. Старинный золотой медальон украшал ее шею цвета слоновой кости, которая своим чуть желтоватым оттенком, так же как и ее большое строгое лицо меж покачивающихся серег с подвесками, мягко контрастировала со снежной белизной платья. В пышных черных волосах, завитых надо лбом в несколько локонов, сегодня, когда она была без шляпы, явственно поблескивали серебряные нити. Но зато как безупречно сохранилась стройная прямизна ее фигуры с высоко вскинутой головой и глазами, почти усталыми от гордости и смотревшими на мир из-под полуопущенных век. Не скрою, эта женщина заставляла меня робеть, но благодаря тем же особенностям, что внушали мне робость, и бесконечно меня привлекала. Величие, доходившее почти до сумрачности, не было достаточно обосновано ее положением супруги ученого, хотя бы и очень заслуженного. Здесь проступало наружу некое кровное, расовое высокомерие, носившее несколько животный характер и именно потому такое волнующее.

Я, конечно, искал глазами Зузу, более близкую мне по возрасту и кругу интересов, нежели сеньора Мария-Пиа. Это имя я услышал из уст профессора, наливавшего нам портвейн из окруженного бокалами графина, который стоял в гостиной на столе, покрытом плюшевой скатертью. Впрочем, долго мне ждать не пришлось. Не успели мы пригубить свой аперитив, как вошла Зузу и поздоровалась сперва с матерью, затем, вполне по-приятельски, с господином Хуртадо и уже напоследок со мной – явно из педагогических целей, чтобы я о себе не возомнил. Она явилась прямо с теннисной площадки в сопровождении молодых людей, имена которых звучали вроде Куна, Коста и Лойе. Одного она похвалила за игру, о других отозвалась довольно уничижительно, из чего я сделал вывод, что себя она считает отличной теннисисткой. Затем через плечо осведомилась, играю ли я в теннис; но так как в свое время во Франкфурте я только жался к забору, глядя, правда очень сосредоточенно, на игру элегантных молодых людей, да иногда, чтобы немножко подработать, бегал за далеко отлетавшими мячами и бросал их игрокам или даже клал им на ракетку, к чему и сводился весь мой теннисный опыт, – я поспешил ответить, что в свое время дома, в замке Монрефюж, считался неплохим игроком, но потом совершенно забросил теннис.

Она пожала плечами. О, как я радовался, что вновь вижу ее волосы, ниспадающие на уши, ее вздернутую верхнюю губку, сверкающие зубы, обворожительную линию подбородка и шеи и чувствую на себе суровый, пытливый взгляд ее черных глаз под ровными бровями! На ней было простое полотняное платьице с кожаным кушаком и короткими рукавами, почти не закрывавшими ее сладостных рук, рук, казавшихся мне еще прелестнее, когда она подымала их, чтобы поправить золотую змейку в волосах. Конечно, расовое величие сеньоры Марии-Пиа производило на меня огромное впечатление, но мое сердце билось для ее обворожительной дочери, и идея, что Зузу – это Заза или будущая Заза Лулу Веносты, пустившегося в путешествие, все более укреплялась в моем мозгу, хотя я прекрасно отдавал себе отчет в неимоверных трудностях, возникавших на пути такого оборота событий. Ну разве достанет шести или семи дней, которые были в моем распоряжении, чтобы сломить такое равнодушие и запечатлеть поцелуй на этих губках, на этой восхитительной руке (с первобытным костяком)? В ту минуту мне и пришло на ум во что бы то ни стало продлить слишком короткий срок, изменить программу своего путешествия, пропустив один-другой пароход и таким образом, надо думать, все же преуспеть в отношениях с Зузу.

Какие только нелепые идеи не проносились в моей голове! Матримониальные намерения моего оставшегося дома «я» каким-то образом зароились у меня в мозгу. Мне вдруг стало казаться, что самое для меня лучшее – обмануть своих люксембургских родителей, предписавших мне это путешествие «для отвлечения», жениться на восхитительной дочке профессора Кукука и в качестве ее супруга остаться в Лиссабоне; при этом мне было совершенно очевидно, что полнейшая зыбкость моего двойственного существования не позволяет мне шутить такие шутки с действительностью, и это сознание причиняло мне боль. Но, с другой стороны, как же мне было отрадно предстать перед новыми друзьями в ранге, соответствующем моей тонкой субстанции!

Тем временем мы перешли в столовую, казавшуюся маленькой от несоразмерно огромного и украшенного аляповатой резьбой орехового буфета. Профессор занял председательское место; меня посадили рядом с хозяйкой дома; Зузу с господином Хуртадо сели напротив нас.

Весь во власти своих матримониальных и, увы, запретных мечтаний, я не без тревоги наблюдал за таким соседством. Мысль, что этот длинноволосый и обворожительное дитя – Зузу предназначены друг для друга, не давала мне покоя. Но мало-помалу я убедился в том, что отношения их носят самый непринужденный, дружеский характер, и волнение мое улеглось.

Немолодая горничная с густыми курчавыми волосами подавала к столу отлично приготовленные блюда. Завтрак состоял из всевозможных закусок (в том числе необыкновенно вкусные местные сардины) и бараньего жаркого, на десерт были поданы безе со сбитыми сливками, а затем еще фрукты и печенье с сыром. Все это полагалось запивать подогретым красным вином, которое дамы мешали с водой, профессор же вообще к нему не притрагивался. Он почему-то счел нужным заметить, что их скромный домашний стол, конечно, не может соперничать с кухней отеля «Савой палас», а Зузу, не дав мне даже рта раскрыть, воскликнула, что я волен был выбирать, где мне сегодня завтракать, и, конечно, не мог надеяться, что для меня здесь станут особенно хлопотать. Положим, для меня похлопотали, но этот пункт я обошел молчанием и начал с того, что ни малейших оснований сожалеть о кухне моего отеля у меня не имеется, что я счастлив сидеть за столом в столь избранном семейном кругу и никогда не забуду, кому я обязан этой радостью и честью. Тут я поцеловал руку сеньоры, но смотрел я при этом на Зузу.

Она ответила мне твердым взглядом из-под чуть принахмуренных бровей, губы у нее были приоткрыты, ноздри трепетали. Я с удовольствием отметил, что душевное спокойствие, характерное для ее обхождения с доном Мигелем, отнюдь не переносилось на обхождение со мной. Она не сводила с меня глаз, не скрываясь, наблюдала за каждым моим движением и откровенно прислушивалась к каждому моему слову, заранее готовая вспыхнуть и сказать какую-нибудь колкость; при этом она ни разу даже не улыбнулась, а только изредка отрывисто и презрительно выдыхала воздух через нос. Короче говоря, мое присутствие побуждало ее к какой-то своеобразной ершистости, даже раздражительности. И кто поставит мне в упрек, что эта, пусть враждебная, заинтересованность в моей особе казалась мне более приятной и обнадеживающей, нежели безразличие!

Разговор, который велся по-французски, хотя мы с профессором изредка обменивались двумя-тремя немецкими словами, и вращался вокруг музея, впечатлений, внушивших мне чувство всесимпатии, а также предстоящего нам посещения ботанического сада, вскоре коснулся темы архитектурных достопримечательностей в окрестностях Лиссабона, которыми мне советовали ни в коем случае не пренебрегать. Я уверял, что меня снедает любопытство и что я ни на минуту не забываю о совете моего достоуважаемого спутника не ограничиваться беглым осмотром Лиссабона, но выкроить

побольше времени для основательного ознакомления с ним. Хотя с временем-то у меня как раз и обстоит туговато – в моем маршруте не предусмотрена длительная задержка в Лиссабоне, – но теперь я уже начинаю прикидывать, как бы мне продлить свое здешнее пребывание.

Зузу, которой нравилось высказываться обо мне в третьем лице, как будто меня здесь и не было, язвительно заметила, что принуждать m-r le marquis к основательности просто жестоко. По ее мнению, это значило бы действовать наперекор всем моим привычкам, без сомнения смахивающим на привычки мотылька – порхая от цветка к цветку, высасывать капельки сладости.

– Как это приятно, – отвечал я, подделываясь под тон ее речей, – что мадемуазель так старается, хотя и не всегда успешно, проникнуть в мой характер, и тем более приятно, что она говорит обо мне в столь поэтических образах.

Тут она еще ядовитее заметила, что когда чья-нибудь особа излучает столько блеска, то о ней волей-неволей приходится говорить в поэтических образах. Из этих слов явствовало, что она сердится и упорно настаивает на однажды уже высказанном утверждении: «вещи надо называть своими именами» и «молчание вредно». Профессор и господин Хуртадо рассмеялись, а мать попыталась сдержать строптивую дочку, укоризненно покачав головой. Что касается меня, то я торжественно поднял свой бокал и протянул его к Зузу, она же, смешавшись от злости, схватилась было за свой, но, покраснев, отдернула руку и опять надменно выдохнула воздух своим прелестным носиком.

Разговор снова завертелся вокруг моих дорожных планов, грозивших так безжалостно сократить срок моего пребывания в Лиссабоне, но главным образом вокруг семейства аргентинских скотопромышленников, с которым мои родители свели знакомство в Трувиле и которое теперь с гостеприимным нетерпением поджидало меня на своем ранчо. Я выложил о них все сведения, которые мне успел сообщить Веноста-домосед. Эти люди, собственно, носили обыкновеннейшую фамилию Мейер, но звались еще и Новаро, ибо таково было имя детей фрау Мейер от первого брака – сына и дочери. Родом из Венесуэлы, рассказывал я, она совсем еще девочкой вышла замуж за видного аргентинского чиновника, который был убит во время революции 1890 года. После годичного траура она отдала свою руку богачу консулу Мейеру и вместе с маленькими Новаро последовала за ним в его городской дом в Буэнос-Айресе, а затем и в расположенное высоко в горах ранчо «Приют», ставшее почти постоянным местопребыванием всего семейства. Весьма значительная вдовья пенсия госпожи Мейер после ее второго замужества перешла к детям, так что эти молодые люди, если не ошибаюсь, погодки семнадцати и восемнадцати лет, были теперь не только единственными наследниками богатого Мейера, но и обладателями собственного состояния.

– Сеньора Мейер, вероятно, красавица? – поинтересовалась Зузу.

– Мне это неизвестно, мадемуазель. Но раз ей удалось так скоро обзавестись новым женихом, то надо полагать, что она недурна собою.

– То же самое, по-вашему, надо полагать и о ее детях, этих самых Новаро? Как, кстати, их зовут?

– Я не припомню, чтобы родители называли мне их имена.

– Бьюсь об заклад, что вам очень не терпится узнать их.

– Зачем?

– Не знаю, только вы с нескрываемым интересом говорили об этой парочке.

– Этого я за собой не заметил, – отвечал я, уязвленный в глубине души. – Я ведь не имею ни малейшего представления об этих молодых людях, но не буду отрицать, что двуединый образ брата и сестры всегда представлялся мне обаятельным.

– Сожалею, что мне пришлось предстать перед вами одинокой и в единственном числе.

– Во-первых, – с поклоном отвечал я, – в единственности тоже немало обаяния.

– А во-вторых?

– Во-вторых? Я нечаянно сказал «во-первых». И никакого «во-вторых» не знаю. Разве что, конечно, существуют и другие очаровательные комбинации, кроме сестры и брата.

– Па-та-ти-па-та-та!

– Не надо так говорить, Зузу, – вмешалась мать в нашу словесную перепалку. – Что подумает маркиз о твоём воспитании?

Я поспешил заверить, что мои мысли о мадемуазель Зузу не так-то легко выбить из уважительной колеи. С завтраком как раз было покончено, и мы перешли пить кофе в гостиную. Профессор объявил, что не может принять участия в нашей ботанической прогулке, так как должен вернуться к себе в музей. Мы все вместе спустились в город, но на авенида да Либердада он с нами распрощался, с искренней теплотой пожав мне руку – надо думать, в знак благодарности за живой интерес к его музею. Он сказал, что я очень приятный, очень желанный гость в его доме и останусь таковым на все время моего пребывания в Лиссабоне. Если у меня выберется время и я захочу «тряхнуть стариной» и сыграть партию-другую в теннис, то его дочь с удовольствием введет меня в местный клуб теннисистов.

Зузу с воодушевлением подтвердила его слова.

Еще раз пожимая мне руку, он с добродушно-снисходительным видом кивнул в ее сторону, как бы и меня прося о снисхождении.

С того места, где мы распрощались с профессором, и правда было рукой подать до волнистых холмов, среди которых по берегам прудов и озер, в гротах и на залитых солнцем отлогих склонах раскинулись знаменитые насаждения – цель нашего похода. Двигались мы в различном порядке; иногда дон Мигель и я шли по бокам сеньоры Кукук, а Зузу быстро шагала впереди. Потом я вдруг оказывался один подле горделивой дамы; Зузу и Хуртадо мелькали в отдалении. Случалось нам оставаться и вдвоем с Зузу, так что за нами или перед нами шествовала сеньора с дермопластиком, который, впрочем, чаще шел возле меня, стремясь растолковать мне особенности здешнего ландшафта, чудеса этого растительного мира, и, признаюсь, так мне было всего приятнее, конечно, не из-за «чучельщика» и его объяснений, а потому, что пресловутое «во-вторых», которое я так рьяно отрицал, являлось мне тогда в обворожительном сочетании матери и дочери.

Здесь будет уместно заметить, что природа, какой бы обольстительной и достопримечательной она ни была, не может занять наше внимание, если оно целиком обращено на «человеческое». Несмотря на все свои претензии, она – только кулисы, декорация. Но надо отдать ей справедливость: здесь она действительно заслуживала

всяческого признания. Гигантские кониферы[191 - Кониферы – хвойные.], достигавшие пятидесяти метров в высоту, повергали меня в изумление. Местами этот очаровательный уголок земли, изобиловавший веерными и перистыми пальмами из всех частей света, своей буйно переплетающейся растительностью напоминал девственный лес. Экзотические тростники, бамбук и папирус окаймляли искусственные озерца, по водам которых плавали пестроперые утки. То тут, то там в темной зелени мелькали густые околоцветники, из которых вздымались огромные початки бутонов. Древовидные папоротники – эта древнейшая растительность земли – местами образовывали путаные и неправдоподобные рощи с неистово разросшимися корнями и стройными стволами, над которыми вздымались листья, густо обсыпанные коричневыми спорами.

– На земле насчитывается очень мало уголков, – заметил Хуртадо, – где еще произрастают древовидные папоротники. Вообще же папоротнику, не знающему цветения, да, собственно, и не имеющему семян, народные поверья с древнейших времен приписывают таинственные и чудесные свойства, и прежде всего способность любовной ворожбы.

– Фу! – фыркнула Зузу.

– Что вы хотите этим сказать, мадемуазель? – осведомился я. – Я просто удивляюсь, почему деловито научное упоминание о «любовной ворожбе», ничуть не уточненное, у вас вызвало столько эмоций. Какое из этих двух слов возмутило вас? Любовь или ворожба?

Она не отвечала, только смерила меня гневным взглядом и даже сделала какое-то угрожающее движение головой.

Тем не менее вышло так, что я очутился рядом с нею, и мы пошли следом за зверевосстановителем и расово гордой татап.

– Любовь и сама по себе ворожба, – сказал я. – Что ж удивительного, что первобытные люди, так сказать, люди папоротниковой эпохи, которые, конечно, имеются и сейчас, ибо на земле все существует одновременно и вперемешку, пробовали ворожить при помощи папоротниковых листьев?

– Это непристойная тема, – оборвала она меня.

– Любовь? Как жестоко вы это сказали! Красота вызывает любовь. Чувства и мысли тянутся к ней, как венчик цветка к солнцу. Не думаете же вы исчерпать красоту вашим односложным восклицанием?

– По-моему, это пошлость – при красивой внешности наводить речь на красоту.

Такая прямота заставила меня ответить следующее:

– Вы очень злы, сударыня. Неужели же человека с благопристойной внешностью следует карать, лишая его права на восхищение? По-моему, безобразие скорее заслуживает кары. Я лично, из врожденного уважения к свету, на который мне предстояло явиться, всегда воспринимал уродство как своего рода пренебрежительное к нему отношение и, образуясь, порадел о том, чтобы не оскорблять его взгляда. Вот и все. Я считаю это признаком внутренней дисциплинированности. Вообще же тому, кто сидит в стеклянном домике, не пристало бросаться камнями. Вы сами так красивы, Зузу, так обворожительны ваши волосы, спущенные на маленькие ушки. Я не могу досыта наглядеться на них, Зузу, и даже успел уже их зарисовать.

Я не солгал. После завтрака в нише моего элегантного салона, куря сигарету, я пририсовал к изображениям нагой Заза, сделанным рукою Лулу, спущенные на уши локоны Зузу.

– Что! Вы позволили себе меня зарисовать? – сквозь зубы прошипела она.

– Ну да, с вашего разрешения, вернее, без оногo. Красота – это не частная собственность, а всеобщее достояние, достояние сердца. Она не может помешать возникновению чувств, ею возбуждаемых, и не может запретить попытки воссоздать ее.

– Я хочу видеть этот рисунок.

– Не знаю, можно ли это сделать, вернее, хватит ли у меня на то смелости.

– Меня это не касается. Я требую, чтобы вы передали мне ваш рисунок.

– Это не один, а множество рисунков. Я подумаю, когда и где мне можно будет их вам показать.

– «Когда» и «где» как-нибудь устроится. О «можно» и речи нет. Сделанное вами за моей спиной – все равно моя собственность, а то, что вы сейчас сказали о «всеобщем достоянии», – это уж просто... бесстыдство.

– Меньше всего я хотел обидеть вас, и я в отчаянии, если вы считаете мой поступок невоспитанным. Я сказал «достояние сердца», и разве же это не так? Красота беззащитна перед нашими чувствами. Пусть они ее не затрагивают, не волнуют, ни в какой мере ее не касаются, а все-таки она перед ними беззащитна.

– Вы что, не можете подыскать другую тему для разговора?

– Другую тему? Весьма охотно! Или, вернее, не охотно, но с легкостью. Например, – я заговорил громко и нарочито «светским» голосом, – разрешите узнать, не знакомы ли вам и вашим уважаемым родителям господин и госпожа де Гюйон, то есть люксембургский посланник и его супруга?

– Нет, какое нам дело до Люксембурга.

– Вы опять правы. Но я обязан был нанести им визит. Я знал, что это будет приятно моим родителям. Теперь мне остается ждать приглашения на завтрак или на обед в посольство.

– Желаю вам веселиться.

– Все это я делаю не без умысла. Мне хотелось бы при посредстве господина де Гюйона быть представленным ко двору.

– Этого только недоставало! Значит, вы еще и царедворец!

– Если вам угодно так это назвать. Я долго жил в буржуазной республике, и как только выяснилось, что мой путь лежит через королевство, я про себя решил добиться аудиенции у монарха. Можете называть это ребячеством, но я испытываю прямо-таки потребность склониться так, как склоняются только перед королем, и в разговоре то и дело прибегать к обращению «ваше величество». «Сир! Прошу ваше величество принять всеподданнейшую благодарность за милость, оказанную мне вашим величеством...» – и

так далее. Еще больше бы мне хотелось получить аудиенцию у папы, и со временем я ее непременно себе исхлопочу. Там ведь даже преклоняют колена – для меня это будет истинным наслаждением – и говорят: «Ваше святейшество».

– Вы, маркиз, кажется, собрались рассказывать мне о своей потребности в ханжестве.

– Не в ханжестве. В красивой форме.

– Па-та-ти-па-та-та! На самом деле вы просто хотите произвести на меня впечатление своими связями, приглашением в посольство, тем, что перед вами открыты все двери и что вы возвращаетесь в высших сферах.

– Ваша мама запретила вам говорить мне «па-та-ти-па-та-та». Вообще же...

– Мaman! – крикнула она так, что сеньора Мария-Пиа быстро обернулась. – Должна тебе сообщить, что я опять сказала маркизу «па-та-ти-пата-та».

– Если ты ссоришься с нашим юным гостем, – отвечала иберийка своим благозвучным, хотя и чуть глуховатым альтиом, – то я не позволю тебе больше идти с ним. Поди вперед с доном Мигелем. А я уж постараюсь занять маркиза.

– Позвольте вас заверить, madame, – сказал я, после того как состоялся этот обмен кавалерами, – что никакой ссоры и в помине не было. По-моему, нет человека, который бы не пришел в восхищение от очаровательной прямоты мадемуазель Зузу.

– Мы оставили вас в обществе этого ребенка на слишком долгий срок, милый маркиз, – отвечала царственная иберийка с качающимися подвесками в ушах. – Юность обычно слишком молода для юности. Общение со зрелостью для нее если не приятнее, то, во всяком случае, уместнее.

– Такое общение, разумеется, большая честь, – осторожно отвечал я, пытаюсь внести некоторую долю теплоты в это чисто формальное утверждение.

– Итак, мы закончим прогулку вдвоем с вами. Скажите, маркиз, было ли вам здесь интересно?

– В высшей степени. Я получил неопишуемое наслаждение. И одно мне ясно: никогда бы я не наслаждался так интенсивно, никогда бы не был так восприимчив к впечатлениям, ожидавшим меня в Лиссабоне, впечатлениям от вещей и людей, вернее – от людей и вещей, без той подготовки, которую даровала мне благосклонная судьба в лице вашего достоуважаемого сеньора супруга. Разговор, состоявшийся у нас в пути, если, конечно, можно назвать разговором, когда один из двух собеседников остается лишь восторженным слушателем, был той палеонтологической вспашкой, которая разрыхлила почву для восторженного восприятия этих впечатлений, и в первую очередь расовых. Ведь это от вашего супруга я узнал о прарасе, о том, как в самые различные эпохи вливалась в нее кровь других интереснейших рас и как в результате нашим глазам явились существа, горделивые по самой своей крови...

Я перевел дыхание. Моя спутница громко откашлялась, не утратив при этом величия осанки.

– И с тех пор, – продолжал я, – приставка «пра», le primordial[192 - первобытный (франц.)], не выходит у меня из головы. Это следствие палеонтологической вспашки, о которой я уже упоминал. Не будь ее, что значили бы для меня эти древовидные папоротники, даже

после того, как я услышал, что, по древнему поверью, они служат для любовной ворожбы. С того разговора все стало для меня значительным: вещи и люди... Я хочу сказать: люди и вещи...

– Подлинным объяснением такой восприимчивости, милый маркиз, собственно, является ваша юность...

– Как удивительно звучит в ваших устах слово «юность», сеньора! Вы выговариваете его с добротой зрелости. А мадемуазель Зузу только досадует на юность, тем самым подтверждая ваше замечание, что юность обычно слишком молода для юности. В известной мере это относится и ко мне. Юность сама по себе не вызвала бы во мне того восхищения, которое в эти дни переполняет мою душу. Мне выпало счастье лицезреть красоту в двойном аспекте – в полудетском ее цветении и в царственном величии зрелости...

Одним словом, я говорил чудо как красиво, и мое многословие отнюдь не заслужило порицания. Ибо, когда я стал прощаться у станции канатной дороги, которая должна была вновь доставить моих спутников на виллу Кукук, сеньора обронила, что надеется еще иметь случай увидеть меня до отъезда, и напомнила мне предложение дона Антонио «тряхнуть стариной» и сыграть в теннис с Зузу и ее друзьями по спортивному клубу. Мысль эта показалась мне довольно дельной.

И правда. Это была дельная, хотя и дерзновенная мысль. Я вопросительно взглянул на Зузу, и так как ее лицо и пожатие плеч возвестили мне строгий нейтралитет, делавший мое согласие не вовсе невозможным, то мы тут же на месте договорились послезавтра встретиться на теннисной площадке, после чего мне было предложено «на прощанье» вновь разделить трапезу с семейством Кукук. Склонившись к руке Марии-Пиа, а затем и ее дочери и обменявшись самым дружественным рукопожатием с доном Мигелем, я пошел своей дорогой, обдумывая, как сложится ближайшее мое будущее.

9

Лиссабон, 25 августа 1895 г.

Дорогие родители! Милая, милая мама! Уважаемый и любимый папа!

Довольно большой промежуток отделяет это письмо от телеграммы, в которой я извещал вас о своем прибытии сюда, так что боюсь, вы на меня уже сердитесь. И рассердитесь тем более – увы, я в этом уверен, – прочитав дату в начале письма, которая расходится с вашими ожиданиями, нашими совместными решениями и даже собственными моими намерениями. Вы, вероятно, думаете, что я уже десять дней нахожусь в открытом море, а я пишу вам все еще из первого города на моем пути, то есть из португальской столицы. Сейчас, дорогие мама и папа, я объясню вам как мое долгое молчание, так и нечаянные обстоятельства, которые привели к этой задержке, и надеюсь, что тем самым в корне пресеку ваше неудовольствие.

Началось все с того, что я познакомился в поезде с выдающимся ученым – неким профессором по имени Кукук, чьи речи, несомненно, захватили бы и потрясли вас не меньше, чем вашего сына.

Немец по рождению, о чем красноречиво свидетельствует его имя, из герцогства Кобург-Гота – как и ты, милая мама, – из хорошей семьи, хотя, конечно, не «из семьи», он избрал

своей специальностью палеонтологию, женился на здешней уроженке и, осев в Лиссабоне, стал основателем и директором естественно-исторического музея, который я осматривал под личным его руководством. Экспонаты этого музея взволновали меня до глубины души и в палеозоологическом и в палеантропологическом отношении (эти термины вам, конечно, знакомы). Кукук первый посоветовал мне не относиться легкомысленно к началу моего кругосветного путешествия только потому, что это начало, и не ограничиваться беглым осмотром Лиссабона. Он был прямо-таки огорчен, узнав, что в моем распоряжении имеется столь краткий срок для знакомства с тамошними достопримечательностями (назову хотя бы древовидный папоротник в Лиссабонском ботаническом саду, произраставший еще в каменноугольную эру).

Когда вы, дорогие мои родители, по своей доброте и мудрости предписали мне это путешествие, то, конечно, вы имели в виду не только отвлечь меня от вздорных замыслов (вы видите, я уже признаю их вздорными), которым я предавался по молодости лет, но расширить мой кругозор и таким образом завершить воспитание молодого человека. Так вот это последнее ваше намерение, несомненно, увенчается успехом благодаря тому, что я дружественно принят в семействе Кукук, ибо все три, вернее даже четыре его члена (к семейству следует причислить и научного сотрудника профессора – господина Хуртадо, дермопластика, если вам что-нибудь говорит это слово), конечно в очень различной степени, способствуют расширению моих горизонтов.

Признаться откровенно, дамы этого дома мне не очень по душе. Теплые отношения у меня с ними за все это время не установились и, по-моему, уже не установятся. Сеньора, урожденная да Круц, – истая иберийка, особа строгая, внушительная и уж очень высокомерная, хотя причины этого высокомерия мне, по правде говоря, не совсем ясны; дочка, моя ровесница или чуть помоложе меня – я никак не могу запомнить ее имени, – барышня, которую поневоле хочется причислить к семейству иглокожих, до того колюче она себя ведет. Упомянутый мною дон Мигель (Хуртадо), если я по неопытности не обманываюсь, в будущем, видимо, станет ее супругом, и, откровенно говоря, я не уверен, что ему можно позавидовать.

Нет, я ищу общества только хозяина дома – профессора Кукука и отчасти его ассистента, глубоко сведущего в мире животных, реконструктивному таланту которого многим обязан музей. Эти два человека, и в первую очередь, конечно, К., так широко способствуют моему образованию, столь многое открывают мне, что эти открытия и поучения, выходя далеко за пределы знакомства с Лиссабоном и его архитектурными достопримечательностями, касаются буквально всего бытия, из которого в результате празачатия возникла органическая жизнь, иными словами, охватывают все творение в целом, от камня до человека. Оба этих ученых, которые видят во мне (и по праву) нечто вроде морской лилии, отделившейся от своего стебля, то есть неопита-путешественника, нуждающегося в советах и поучении, и побудили меня, вопреки нашей программе, застрять в Лиссабоне, одобрения чему я и прошу у вас, дорогие родители, с сыновней почтительностью, хотя, если уж говорить начистоту, истинной причиной моей задержки явились все-таки не они.

Внешним поводом для нее послужило следующее. Я считал долгом вежливости и думал, что поступлю в соответствии с вашими желаниями, если, прежде чем покинуть Лиссабон, оставлю свою карточку у нашего дипломатического представителя господина де Гюйона и его супруги. Более того, я счел желательным выполнить эту формальность в первый же день моего приезда, но, принимая во внимание время года, не ждал от своего визита никаких последствий. Тем не менее через два или три дня мне в отель пришло приглашение от посланника отужинать у него в мужском обществе; видимо, этот ужин был намечен еще до моего приезда и должен был состояться почти в канун отбытия моего парохода. Таким образом, мне не понадобилось бы менять срок своего

пребывания здесь, даже если бы я хотел воспользоваться этим приглашением.

Я воспользовался им, дорогие мама и папа, и провел в нашем посольстве на руа Аугуста весьма приятный вечер. Желая доставить вам радость, не скрою, что на этом вечере я решительно пользовался успехом, который всецело отношу за счет полученного мною воспитания. Прием был устроен в честь румынского принца Иоанна-Фердинанда[193 - Иоанн-Фердинанд (1865—1927) – племянник и наследник бездетного короля Румынии Карла I; с 1914 года – король, участник (с 1916 г.) первой мировой войны и душитель молодой Венгерской советской республики в 1919 году.], молодого человека чуть постарше меня, который сейчас пребывает в Лиссабоне вместе со своим воспитателем полковником Цамфиреску. Приглашены были одни мужчины, потому что госпожа де Гюйон находится на португальской Ривьере, супруг же ее из-за ряда неотложных дел вынужден был прервать свой отпуск и возвратиться в столицу. Число гостей было ограничено – человек десять, не больше, и все же прием носил довольно торжественный характер: лакеи – в коротких штанах и в обшитых галунами ливреях, гости, в честь принца, – во фраках и при регалиях. Признаться, я с удовольствием смотрел на кресты и звезды этих сановитых людей, почти поголовно превосходивших меня годами, с удовольствием и даже не без известной зависти к столь почтенным украшениям на фраках. Впрочем, не льстя ни вам, ни себе, должен заметить, что я в своем неукрашенном фраке, едва переступив порог гостиной, уже завоевал симпатии хозяина дома и гостей не только своим именем, но достойной его непринужденной любезностью и светскостью.

За ужином в столовой с деревянными панелями, в кругу всех этих иностранных и отечественных дипломатов, военных и негодантов, среди которых находился австро-венгерский советник посольства в Мадриде некий граф Фестетих, живописно выделявшийся своей опушенной мехом национальной венгерской одеждой, сапогами с отворотами и кривой саблей, я оказался за столом между бородатым капитаном бельгийского фрегата и крупным португальским виноторговцем с усталым лицом, чьи величаво небрежные манеры свидетельствовали о немалом богатстве; общество для меня несколько скучноватое, ибо разговор довольно долго вращался вокруг политических и экономических предметов, так что я принимал в нем хотя и оживленное, но чисто пантомимическое участие. Но затем сидевший наискосок от меня принц с одутловатым скучливым лицом, заикаясь и пришепывая[194 - ...заикаясь и пришепывая... – Наследственный дефект речи представителей династии Гогенцоллернов-Зигмаринген, занимавшей румынский княжеский, позднее королевский престол с 1866 по 1947 год.], втянул меня в разговор о Париже, вскоре ставший всеобщим (ибо кому не хочется поговорить о Париже), в котором я, ободренный не слишком внятным бормотанием его высочества, позволил себе некоторое время играть первую скрипку. После ужина, когда мы уютно расположились в курительной комнате за кофе и ликерами, мне как-то само собой досталось место подле высокого гостя, по другую сторону которого сел хозяин дома. Безукоризненная, но и бесцветная внешность господина де Гюйона, его лысеющий череп, водянисто-голубые глаза и тонкие, вытянутые щипцами усы вам, несомненно, знакомы. Иоанн-Фердинанд почти совсем к нему не обращался, предоставив мне одному занимать свою особу, что, видимо, пришлось по вкусу нашему хозяину. Надо думать, что и мое неожиданное приглашение объяснялось желанием господина де Гюйона развлечь принца обществом сверстника, по своему рождению достойного составить ему компанию.

Надо сказать, что я и вправду превосходно занимал его, к тому же простейшими средствами, самыми для него подходящими. Я рассказывал принцу о своем детстве и отрочестве у нас в замке, о дряхлости нашего славного Радикюля и при этом воспроизводил его походку, а принц захлебывался от восторга, узнавая в нем незадачливую услужливость своего старого камердинера в Бухаресте, перешедшего к нему от отца. Рассказывал я, милая мама, и о невероятном жеманстве твоей Аделаиды и

под восторженное хихикание принца показал, как она старается не ходить, а парить, словно сказочная фея; о собаках – Фрипоне, о том, как он скрежещет зубами, когда у Миниме наступают известные периоды, и о ней самой с ее роковой склонностью, особенно опасной в болонке и не раз уже гибельно отражавшейся на твоих платьях, мама. В мужской компании я мог себе позволить рассказать об этом так же, как и о «зубовном скрежете» Фрипона – о, конечно, в самых изысканных выражениях. Оправданием мне послужили слезы, которые отпрыск королевского дома, задыхаясь от смеха, то и дело отирал со своих щек, слушая о деликатной слабости бедняжки Миниме. Есть что-то трогательное, когда такое косноязычное и потому как бы «заторможенное» существо предается буйной веселости.

Возможно, милая мама, ты почувствуешь себя уязвленной, что я выставил на потеху обществу слабое здоровье твоей любимицы, но эффект, которого я этим достиг, безусловно примирил бы тебя с такой нескромностью.

Все предались безудержному веселью, а принца просто скорчило пополам, так что крест, висевший у него на воротнике мундира, заболтался в воздухе. Меня наперебой стали упрашивать повторить рассказ о Радикюле, Аделаиде и Миниме. Венгерец с меховой опушкой так колотил себя ладонью по ляжке, что ему, верно, было очень больно, у дородного и за свое богатство усыпанного орденами звездями виноторговца от хохота отскочила пуговица на жилете, а на лице нашего посланника изображалось живейшее удовольствие.

Следствием всего этого было, что по окончании soiree[195 - званого вечера (франц.)], оставшись со мной наедине, он предложил представить меня его величеству королю Карлосу I[196 - Карлос I (1863—1918) – король Португалии с 1889 года. В 1910 году свергнут с престола в результате буржуазной революции, провозгласившей Португальскую республику.], который тоже в настоящее время находится в столице, о чем я мог судить по развешивающемуся над дворцом флагу Браганца[197 - Браганца – низложенная (в 1910 г.) династия португальских королей, незаконная ветвь угасшего (в 1580 г.) бургундского дома; укрепилась на португальском престоле с 1640 года после народного восстания, положившего конец испанскому владычеству (1580—1640) в Португалии. В 1859 году фамилия Браганца была унаследована сыновьями последней представительницы дома Браганца Марии II да Глория и ее мужа, саксонского герцога Фердинанда. Карлос I – внук последней Браганца.]. В какой-то степени он считает своей обязанностью, пояснил господин де Гюйон, представить монарху находящегося здесь проездом сына знатных люксембуржцев, к тому же – так он выразился – являющегося весьма «приятно одаренным» молодым человеком. Он просил меня иметь в виду, что благородная душа короля – душа художника, ибо его величество время от времени пишет маслом, и одновременно душа ученого – его величество любитель океанографии, то есть науки о море и населяющих его живых существах. Эта душа находится в состоянии несколько подавленном под влиянием политических забот, которые обрушились на его величество сразу же после вступления на престол шесть лет назад вследствие расхождения португальских и английских интересов по вопросу владений в Центральной Африке. В то время уступчивость короля восстановила против него общественное мнение, так что он был даже обрадован английским ультиматумом, позволившем португальскому правительству уступить требованиям Великобритании после официально заявленного протеста. Тем не менее в ряде португальских городов возникли досадные беспорядки, а в Лиссабоне пришлось даже подавлять республиканское восстание. И ко всему этому еще роковой дефицит португальских железных дорог, три года назад приведший к тяжкому финансовому кризису и к акту государственного банкротства, то есть к декретированному сокращению государственных обязательств на две трети! Такое стечение обстоятельств значительно повысило шансы республиканской партии и помогло радикальным элементам страны в их разрушительной работе. Его величеству

довелось, и не однажды, узнавать о том, что полиция своевременно напала на след заговорщиков, злоумышлявших против его особы. Мое представление ко двору, нарушив ежедневную рутину официальных аудиенций, могло бы благотворно подействовать на августейшего печальника. Господин де Гюйон добавил, что мне, со своей стороны, надо постараться, если к тому представится малейшая возможность, навести разговор на Миниме, доставившей сегодня вечером такое большое удовольствие бедному принцу Иоанну-Фердинанду.

Вы поймете, милые мама и папа, что для меня, при моих роялистских убеждениях и энтузиастическом стремлении (о котором вы, может быть, и не подозревали) склониться перед легитимным государем, предложение нашего посланника имело немалую притягательную силу. Этому проекту препятствовало только то досадное обстоятельство, что для исхлопотания аудиенции потребно было время от четырех до пяти дней, то есть больше, чем оставалось до отплытия «Кап Арконы». Что мне было делать? Желание предстать перед королем, воссоединившееся с увещаниями моего ученого ментора Кукука не ограничиваться беглым осмотром такого города, как Лиссабон, в последнюю минуту заставило меня решиться пропустить этот пароход, с тем чтобы уехать на следующем. Я отправился в пароходное агентство и там узнал, что на следующий пароход этой же линии – «Амфитрита», который должен отбыть из Лиссабона недели через две, почти все каюты уже разобраны и что вдобавок комфортабельностью он сильно уступает «Кап Аркона», так что ехать на нем мне как бы и не пристало. Тамошний клерк посоветовал дожидаться возвращения «Кап Арконы», которое состоится недель через шесть или семь, считая от пятнадцатого сего месяца, заявив о том, что я откладываю свою поездку до следующего рейса, и, следовательно, пробыть в Лиссабоне до конца сентября или даже до первых чисел октября.

Вы, дорогие родители, меня знаете. Не склонный долго колебаться, я согласился с предложением клерка, отдал необходимые распоряжения и, само собой разумеется, немедленно отправил корректнейшую телеграмму вашим друзьям Мейер-Новаро с извещением о задержке и с просьбой не ждать меня раньше октября. Таким образом, в моем распоряжении остался срок даже более длительный, чем тот, какого я желал для пребывания в Лиссабоне. Но да будет так! В отеле я, по правде говоря, устроен вполне сносно, а в поучительных развлечениях у меня здесь не будет недостатка до самого моего отбытия. Итак, смею ли я надеяться, что вы одобрите мой поступок? В противном случае я лишился бы душевного спокойствия. Но я думаю, что вы задним числом охотно дадите мне свое согласие, тем более услышав, как удачно для меня прошла теперь уже состоявшаяся аудиенция у его величества. Господин де Гюйон заблаговременно известил меня о всемилостивейшем изволении его величества и в собственном экипаже заехал за мной, чтобы везти меня во дворец, где внешняя и внутренняя стража благодаря его аккредитованности при дворе и парадному дипломатическому мундиру не только не остановила нас, но торжественно взяла на караул. По широкой лестнице с двумя кариатидами, в мучительно напряженных позах стоящими у ее подножия, мы поднимаемся в анфиладу приемных зал, уставленных бюстами прежних королей, изобилующую картинами и сияющими хрустальными люстрами, которая ведет в королевскую аудиенц-залу. Медленно проходим мы по этим покоем из одного в другой, и уже во втором из них нас останавливает дежурный чиновник гофмаршальской части и приглашает обождать. Если бы не роскошь, царившая вокруг, то все это походило бы на прием у знаменитого врача, который никак не может точно соблюсти часы, так как пациенты, задерживаясь у него в кабинете, задерживают тех, что идут вслед за ними. Эти покои были полны сановников, отечественных и иноземных, в мундирах и во фраках; стоя небольшими группами, они тихо переговаривались между собой или скучали, сидя на диванах вдоль стен. Каких я только здесь не насмотрелся плюмажей, орденов, золотого шитья. В каждой следующей зале посланник, обменявшись учтивым приветствием с тем или другим из знакомых ему дипломатов, спешил меня представить,

и так как я всякий раз наново убеждался в своем умении поддержать светский разговор (что мне было приятно), то время ожидания, минут сорок, если не больше, пролетело очень быстро.

Наконец флигель-адъютант, с шарфом через плечо и со списком в руке, попросил нас встать у двери, ведущей в кабинет его величества и охраняемой лакеями в пудренных париках. Оттуда навстречу нам вышел пожилой господин в мундире генерала королевской гвардии, видимо явившийся благодарить короля за какую-то милость. Адъютант вошел в кабинет, чтобы доложить о нас, и лакеи почти тотчас же распахнули золоченые створки двери.

Король, которому едва ли за тридцать, тем не менее лысоват и выглядит несколько обрюзгшим. В мундире оливкового цвета, с красными обшлагами и одним только орденом на груди, звездой, в центре которой орел держит в когтях державу и скипетр, он стоял у своего письменного стола. Лицо его покраснелось от непрерывных разговоров. Брови у него черные как смоль, но кустистые усы, на концах остро закрученные вверх, уже слегка начинают седеть. На наш низкий поклон он ответил заученно милостивым жестом и затем бросил на господина де Гюйона взгляд, в который ему удалось вложить немало лестной доверительности.

– Мой милый *ambassadeur*[198 - посланник (франц.)], рад, рад, как всегда... И вы тоже в городе? Знаю, знаю... *Ce nouveau traite de commerce... Mais ca s'arrangera sans aucune difficulte, grace a votre habilité bien connue...*[199 - Этот новый торговый договор... но все это легко устроить благодаря вашему всем известному умению... (франц.)] И так, наша милая мадам де Гюйон... чувствует себя превосходно. Как это приятно слышать! Очень, очень приятно!.. Что за юного Адониса вы привели ко мне?

Конечно, дорогие мои родители, вы поймете, что это восклицание было не более как шуточной и ни к чему не обязывающей куртуазностью. Правда, фрак очень идет к моей фигуре, кстати сказать, унаследованной от папы. Впрочем, вы не хуже меня знаете, что в моих щеках-яблоках и глазах-щелочках, которые я всегда с досадой созерцал в зеркале, при всем желании ничего мифологического не сыщешь. На царственную шутку я отвечал недоуменно веселым жестом, и король, словно стараясь загладить ее и предать забвению, поспешил милостиво добавить, не выпуская моей руки из своих рук:

– Мой милый маркиз, приветствую вас в Лиссабоне! Ваше имя мне хорошо знакомо, и я очень рад видеть у себя юного и знатного представителя страны, с которой Португалия, в значительной мере благодаря стараниям вашего спутника, пребывает в наилучших отношениях. Скажите мне, – на секунду он задумался, что именно я должен ему сказать, – что привело вас к нам?

Дорогие мама и папа, я не хочу хвалиться увлекательной, вполне достойной опытного царедворца, одновременно почтительной и непринужденной беседой, которую я вел с монархом. Скажу только для вашего успокоения, что я не был ни неловок, ни излишне развязен. Я рассказал его величеству о подарке, полученном мною от великодушных родителей, то есть о кругосветном путешествии, в которое я пустился из Парижа, постоянного моего местопребывания, и также сказал, что Лиссабон, его несравненная столица, является первой станцией на моем пути.

– Ах, вам, значит, нравится Лиссабон?

– *Sire, énormément! Je suis tout a fait transporté par la beauté de votre capitale qui est vraiment digne d'être la résidence d'un grand souverain comme Votre Majesté*[200 - Очень нравится, государь! Я захвачен красотой вашей столицы, поистине достойной быть резиденцией

такого великого государя (франц.)). Я намеревался пробыть здесь всего несколько дней, но быстро понял всю несостоятельность подобного намерения и поспешил изменить свои планы, чтобы иметь возможность хоть несколько недель пробыть в городе, из которого вообще немислимо уехать по доброй воле. Какой это город, государь! Какие авеню, парки, какие бульвары и виды! Личные мои связи привели к тому, что я прежде всего ознакомился с естественно-историческим музеем профессора Кукука – великолепнейшей институцией, ваше величество, для меня лично более всего примечательной своим океанографическим разделом, где всевозможные экспонаты наглядно поучают нас тому, что все живое возникло из морской воды. А затем чудеса ботанического сада, государь, Авенида парк, Кампо гранде, парк Пасею да Эстрелья с его дивным видом на город и реку... И что удивительного, если от этого идеального сочетания природы, благословенной небом и образцово обработанной человеком, увлажняется взор того, кто хоть чуть-чуть – да-да, хоть на самую малость – вправе мнить себя художником. Я должен признаться, что – о, конечно, мне далеко до вашего величества, чье мастерство в этом искусстве общеизвестно, – что в Париже я занимался изящными искусствами – рисовал и писал маслом в качестве усердного, хотя и не слишком преуспевшего ученика профессора Эстомпара из Академии изящных искусств. Но об этом, право же, не стоит распространяться. Говорить надо о том, что в лице вашего величества мы чтим властелина одной из прекраснейших стран мира, если не самой прекрасной. Едва ли на свете сыщется панорама лучше той, что открывается изумленному зрителю с высот королевского замка Цинтра на изобилующую хлебом, виноградниками и фруктовыми садами Эстремадуру...

Скажу вам по секрету, мои дорогие, что я еще не удосужился побывать ни «в замке, ни в монастыре Белем, об изящной архитектуре которого я тоже сказал несколько слов королю. А не удосужился потому, что большую часть своего времени провожу в клубе, куда меня ввели Кукуки, играя в теннис с весьма благовоспитанными молодыми людьми. Но все это не существенно! Перед королем я превозносил впечатления, которых еще не испытал, и его величество изволил заметить, что моя восприимчивость достойна всяческих похвал.

Это меня ободрило, и я продолжал со всем красноречием, на которое был способен, или, вернее, которое мне придала необычная ситуация, превозносить перед монархом Португалию и португальцев. Ведь в страну приезжаешь, говорил я, не только ради нее самой, но – и это, пожалуй, в первую очередь – ради людей, из некоей тоски – если можно так выразиться – по неведомой человечности. Из желания заглянуть в чужие глаза, в чужие лица... Я знаю, что говорю сбивчиво, но я имею в виду желание порадоваться иной стати, иным обычаям и нравам. Португалия – *a la bonne heure*[201 - в добрый час (франц.)], но португальцы, подданные его королевского величества – вот на ком сосредоточилось все мое внимание. Коренное кельтско-иберийское население, к которому мало-помалу примешалась финикийская, карфагенская, римская и арабская кровь, – какую очаровательную, пленяющую ум и сердце породу людей создало это смешение: мило горделивую, а иногда и облагороженную расовым высокомерием, невольно внушающим робость. Быть властителем народа столь обаятельного, право же, с этим можно только поздравить ваше величество!

– Очень, очень мило, – отвечал дон Карлос. – Благодарю вас за то, что вы с таким дружелюбием отнеслись к Португалии и португальцам. – Я было подумал, что этими словами он собирается закончить аудиенцию, и приятно удивился, когда он вдруг сказал: – Но почему мы, собственно, стоим? *Cher ambassadeur*[202 - милый посланник (франц.)], давайте все-таки присядем!

Без сомнения, он по началу намеревался провести аудиенцию стоя и, поскольку речь шла только о моем представлении, закончить ее в несколько минут. Если он ее продлил и

выразил желание расположиться поудобнее, то вы смело можете отнести это – я не хвалюсь, а хочу вас порадовать – за счет моего красноречия, видимо его позабавившего, да и вообще приятности всего моего tenue[203 - манеры себя держать (франц.)].

Король, посланник и я уселись в кожаные кресла возле мраморного камина с традиционными часами, канделябрами и восточными вазами на верхней доске. Кабинет короля – превосходно обставленная комната: в ней имеется даже два книжных шкафа со стеклянными дверцами, а пол покрыт персидским ковром гигантских размеров. По обе стороны камина в массивных золоченых рамах висят две картины. На одной из них изображен гористый пейзаж, на другой – цветущая долина. Господин де Гюйон, указав мне глазами на эти ландшафты, тут же перевел взгляд на короля, который как раз перешел к резному столику, чтобы взять с него серебряный ящичек для сигар. Я понял.

– Sire, – сказал я, – прошу прощения за то, что эти шедевры на минуту отвлекли мое внимание от августейшей особы вашего величества, поневоле приковав к себе мой взгляд. Позвольте мне рассмотреть их поближе. Да, вот это живопись! Вот это гений! Я не могу разобрать подписи, но обе картины, несомненно, сделаны рукой первого художника вашей страны!

– Первого? – улыбаясь, повторил король. – Смотря в каком смысле. Картины написаны мной. Вот эта, налево, – вид на Серра да Эстрелья, там у меня есть охотничий домик, а в этой, справа, я стремился передать настроение наших болотистых низменностей, где я частенько стреляю бекасов. Как видите, мне хотелось воссоздать прелесть полевых гвоздик, покрывающих наши долины.

– Мне кажется, я слышу их аромат, – отвечал я. – Бог мой, перед таким мастерством дилетанту остается только краснеть.

– Но его-то как раз и считают дилетантским, – отвечал дон Карлос, пожимая плечами, в то время как я, садясь на место, сделал вид, что с трудом отрываю глаза от его творений. – Король всегда будет слыть дилетантом. Каждому тотчас приходит на ум Нерон и его псевдоартистические претензии.

– Жалкие люди, – заметил я, – если они не в силах освободиться от такого предрассудка. Им следовало бы радоваться воссоединению высшего с высшим: блага высокого рождения с благоволением муз.

Его величество выслушал это с явным удовольствием. Августейший хозяин сидел, удобно развалясь, тогда как посланник и я, согласно этикету, избегали малейшего соприкосновения с выпуклыми спинками наших кресел.

Король сказал:

– Мне нравится, милый маркиз, радостная непосредственность, с которой вы воспринимаете мир, людей и произведения искусства, непосредственность и чудесная наивность, право же, достойная зависти. Она мыслима, пожалуй, только на одной общественной ступени, то есть именно той, на которой вы стоите. Уродство и горечь жизни открываются лишь в низах общества и на самой его верхушке. Они хорошо знакомы простолыдину и главе государства, непрестанно вдыхающему миазмы политики.

– Замечание вашего величества, – отвечал я, – более чем остроумно. Но я осмеливаюсь обратиться с покорной просьбой: не думайте, ваше величество, что я в блаженном упоении вижу только поверхность вещей, не пытаюсь проникнуть в их отнюдь не

радостные глубины. Я взял на себя смелость принести поздравление вашему величеству с завидным жребием – повелевать такой славной страной, как Португалия. Но я не настолько слеп, чтобы не видеть теней, которые хотят затмить эту радость, и знаю о тех каплях желчи и горечи, которые злоба подливает в золотой напиток вашей жизни. Мне известно, что и здесь, даже здесь – я бы предпочел сказать: неужто здесь? – нет недостатка в элементах, которые называют себя радикальными, наверно потому, что они, как полевые мыши, подтачивают корни общества: отвратительные элементы, если этим сравнительно мягким выражением можно передать чувства, которые они во мне вызывают, элементы, радующиеся любой неудаче, любому затруднению – политическому или финансовому, – испытываемому государством, и старающиеся на нем нажить капитал для своих гнусных целей. Они именуют себя народолюбцами, хотя все их отношение к народу состоит в том, что они разлагают его здоровые инстинкты, на его беду отнимают у него естественную веру в необходимость многоступенного общественного устройства. Чем они этого достигают? Тем, что пытаются привить ему абсолютно противоестественную, а потому антинародную идею равенства и при помощи плоской болтовни совращают его, уверяя, что необходимо или по крайней мере желательно (о возможности этого они умалчивают) снять различия рождения, крови, различия между бедными и богатыми, между знатью и чернью, то есть различия, во имя вечного существования которых природа объединяется с красотой. Одетый в лохмотья нищий вносит своим существованием ту же лепту в пеструю картину мира, что и вельможа, который кладет милостыню в его смиренно протянутую руку, стараясь из брезгливости избежать соприкосновения с ней. И поверьте мне, ваше величество, что нищий это понимает: он сознает своеобразное достоинство, определенное ему существующим миропорядком, и в глубине души не хочет быть ничем иным. Без злонамеренного подстрекательства он никогда не усомнился бы в своей живописной роли, и в его мозгу не зародились бы возмутительные идеи равенства. Равенства не существует, и люди знают это от рождения. Аристократизм – врожденное чувство. При всей своей молодости я успел в этом убедиться. Любому человеку, кто бы он ни был – клирик, член церковной или какой-нибудь другой иерархии, военной, например, – скажем, бравый унтер-офицер в казарме, – присуще инстинктивное ощущение субстанции, грубой или изысканной, ощущение материала, из которого он сделан. Хороши народолюбцы! Отнимают у простолюдина способность радоваться тому, что стоит над ним: богатству, благородным обычаям, жизненному укладу высшего общества, – и эту радость для него превращают в зависть, в алчность, в строптивость! Они отнимают у масс религию, которая держит их в счастливых рамках богобоязненности, и уверяют, что с переменой формы государственного управления, с падением монархии и учреждением республики изменится природа человека и на земле по мановению волшебного жезла установятся равенство и всеобщее счастье... Но я должен просить ваше величество не прогневаться на меня за сердечные излияния, которые я себе позволил.

Король, высоко вздернув брови, кивнул посланнику, чему тот очень обрадовался.

– Милый маркиз, – начал его величество, – вы высказали весьма похвальные убеждения, убеждения, не только достойные отпрыска старинного дворянского рода, но, разрешите мне это добавить, наилучшим образом рекомендующие вас лично. Да, да, я говорю то, что думаю. А пророс, вы упомянули о поджигательской риторике демагогов, об их умении словесно околпачивать народ. Увы, такое владение словом по большей части свойственно именно этому сорту люден – адвокатам, честолюбивым политикам, апостолам либерализма и врагам существующего строя. Наш режим почти не имеет красноречивых защитников. Слышать разумную, убедительную речь во славу добра – случай редкий и поистине благодетельный.

– Не умею выразить, – отвечал я, – сколь мне лестно и радостно слышать это слово «благодетельный» из уст вашего величества. Смешно, кажется, чтобы простой дворянин

мог благодетельствовать королю, но тем не менее признаюсь: именно таково было мое намерение. Спрашивается, каким же образом оно возникло? Из сочувствия, ваше величество. Сочувствие стало частью моего благоговения. Может, это слишком смело, но я все же дерзну сказать: ничто так не волнует душу, как эта смесь благоговения и сочувствия. То, что мне в моем неведении все же стало известно о печалях вашего величества, о враждебных выпадах, которым подвергается не только принцип, олицетворяемый вами, но и сама августейшая особа вашего величества, глубоко меня затрагивает, и я от всего сердца желаю вам почаще отвлекаться от этих огорчительных впечатлений. Такое отвлечение ваше величество, несомненно, ищет и находит в живописи. А теперь я еще с радостью услышал, что вы с любовью предаетесь охотничьей страсти...

– Вы правы, – сказал король. – Я не скрываю, что лучше всего чувствую себя вдали от столицы и политических происков, среди вольной природы – в полях и горах, где возле меня находятся только несколько близких мне и добропорядочных людей, на облове или когда мы гоним зверя. А вы тоже охотник, маркиз?

– Этого бы я не сказал. Конечно, охота – самое рыцарственное из всех развлечений, но оружие не моя страсть, и я только от случая к случаю принимаю приглашения на охоту. Наибольшее удовольствие при этом мне доставляют собаки. Трепещущие от страсти гончие, которых егеря едва удерживают на смычке, роют носом землю, машут хвостами, все мускулы у них напряжены. А горделиво-торжественный бег собаки, когда она, вскинув голову, несется к вам, держа в зубах птицу или зайца? О, это восхитительное зрелище! Одним словом, я большой любитель собак и с самого раннего детства привык к этим исконным друзьям человека. Проникновенный взгляд собаки, то, как она смеется с открытой пастью, когда ты шутишь с нею, – единственное животное, умеющее смеяться, – ее неуклюжие ласки, упругая красота ее движений, если это породистый пес, – все это согревает мне сердце! Происхождение собаки от волка или шакала стерлось в огромном количестве пород. Во всяком случае, теперь мы об этом так же мало думаем, как о происхождении лошади от тапира или носорога. Уже болотный шпиц в эпоху свайных построек ничем не напоминал своих предков, а кто вспомнит о волке при виде спаниеля, таксы, пуделя, шотландского терьера, который словно ходит на животе, или добродушнейшего сенбернара? Какое многообразие видов! У других животных этого не существует. Свинья – всегда свинья, корова и есть корова. Но как поверить, что датский дог величиной с большого теленка и крохотный пинчер – то же самое животное! Интересно, – продолжал я болтать, приняв несколько более непринужденную позу и даже откинувшись на спинку кресла (посланник не замедлил последовать моему примеру), – что эти существа, огромные или крохотные, не отдают себе отчета в своих размерах и во взаимном общении не считаются с ними. Ведь любовь – простите, ваше величество, что я позволил себе коснуться этой темы, – начисто стирает представление о подходящем или неподходящем. У нас в замке имеется русская борзая по имени Фрипон – пес с повадками вельможи и надменно-сонной физиономией, обусловленной ничтожной величиной его мозга. С другой стороны, есть там еще и Миниме, мальтийская болонка моей мамы, комочек белого шелка, едва ли больше моего кулака. Казалось бы, Фрипон должен понимать, что эта вечно дрожащая маленькая принцесса в определенном отношении ему не пара. Так нет же, его хоть и держат вдали от нее, но стоит только ее женственности активизироваться, и он начинает скрежетать зубами от безотчетной влюбленности, так что слышно в соседней комнате.

Король развеселился при упоминании о скрежете зубовном.

– Ах, – заспешил я с продолжением, – надо мне еще рассказать вашему величеству об этой самой Миниме, чудном создании, чья конституция находится в весьма опасном противоречии с ее любовью вечно лежать на коленях у моей матушки. – И тут, милая

мама, я воспроизвел, только гораздо лучше и с еще более комичной точностью, недавний рассказ о не раз повторявшейся трагедии на твоих коленях, испуганные возгласы, звонки, описал явление Аделаиды, невероятная жеманность которой только усиливается перед лицом разразившейся катастрофы, и ее вид, когда она уносит твою злополучную любимицу, а также старания нашего старика Радикюля, спешащего к тебе на выручку с лопаткой и ведром для золы.

Успех я имел беспримерный. Король держался за бока от смеха. И какая же это была радость видеть, как отягощенный заботами венценосец, в чьей стране существует мятежная партия, столь самозабвенно предается веселью. Не знаю, что подумали, слыша этот смех, дожидаящиеся аудиенции, но одно достоверно – его величество искренне наслаждался невинным развлечением, которое я ему доставил. Но наконец он все-таки вспомнил, что имя посланника, так и светившегося гордостью оттого, что представленный им юноша сумел угодить повелителю, и мое собственное имя отнюдь не последние во флигель-адъютантском списке, и поднялся с кресел, тем самым давая знак, что аудиенция окончена. Покуда мы откланивались, я услышал, хотя это и не предназначалось для моих ушей, дважды повторенное: «Charmant! Charmant!»[204 - Прелестен! Прелестен! (франц.)] – с которым монарх адресовался к господину де Гюйону. И вот, дорогие мои родители, то, что я сейчас скажу, надо думать, заставит вас мягче отнестись как к моим маленьким погрешностям против сыновнего пиетета, так и к самовольной задержке в Лиссабоне: ровно через два дня мне был вручен пакет из гофмаршальской части, вскрыв который я обнаружил нашейную звезду португальского ордена Красного Льва второй степени на алой ленте; так что отныне на официальных приемах я уже не буду появляться, как еще недавно у посланника, в ничем не украшенном фраке.

Я, конечно, понимаю, что подлинная ценность человека определяется не эмалью на его манишке, а тем, что у него в сердце. Но люди – вы знаете их дольше и лучше, чем я, – любят видимое, наглядное, осязаемые знаки достоинства, и я не браню их за это, сердцем понимая такое пристрастие, и поверьте, что только симпатия и любовь к ближним заставляют меня радоваться при мысли, что отныне мой Красный Лев второй степени будет тешить их детски наивное восприятие.

Итак, на сегодня хватит, дорогие мама и папа. Плут дает больше, чем имеет, и я надеюсь вскоре рассказать вам о новых впечатлениях, о дальнейшем познании мира, то есть о всем том, что стало мне доступно благодаря вашему великодушию. И если ответное письмо с сообщением о вашем благополучии еще успеет прийти по вышеуказанному адресу, то это сделает окончательно счастливым Вашего нежного и покорного сына

Лулу.

Это послание, тщательно написанное слегка склоняющимся влево почерком частично по-немецки, частично по-французски, – целая кипа маленьких бланков «Савой палас», – заканчивающееся окруженной овалом подписью, ушло к моим родителям в люксембургский замок Монрефюж. Я немало потрудился над ним, ибо был очень заинтересован в переписке с этими столь близкими мне людьми, и с превеликим нетерпением стал ждать ответа, который, как мне почему-то думалось, будет написан рукой маркизы. Над этим сочиненьицем я просидел много дней, и надо сказать, что оно, за исключением нескольких слегка затуманенных мест в начале, правдиво воссоздает события, даже в том пункте, где я говорю, что предложение господина де Гюйона представить меня ко двору совпало с моими заветными желаниями. Старательность, с которой писался этот лиссабонский отчет, я тем более вменяю себе в заслугу, что время для него мне приходилось отрывать от постоянного, уже с трудом удерживаемого в

границах благоприличия общения с семейством Кукук, общения, которое – кто бы мог это подумать – главным образом сводилось к спорту, до сих пор известному мне не лучше, чем и все остальные виды спорта, а именно к игре в теннис с Зузу и ее приятелями по клубу.

Для того чтобы согласиться на предложение сыграть партию в теннис и действительно прийти на корт, требовалось немало дерзости. Но на третий день, как и было условлено, в точно назначенный мне час, в безукоризненном спортивном костюме – белых фланелевых брюках с белым же поясом, в рубашке с отложным воротничком, поверх которой я надел для улицы синюю куртку, в бесшумных парусиновых туфлях на тонкой резиновой подошве, придающих танцевальную легкость походке, – я явился на расположенную вблизи от дома Зузу двойную площадку, которую в эти часы оставляли за ней и ее друзьями. На душе у меня было почти так же, как в свое время, когда я, волнуясь, но полный радостной решимости, предстал перед военной врачебной комиссией. Решимость – все. Воодушевленный своим спортивным костюмом и окрыляющими туфлями, я твердо решил не ударить лицом в грязь в игре, которую мне хоть и доводилось видеть, но в которой я никогда не участвовал.

Я пришел раньше времени и оказался один на корте. Там имелся домик, служивший для раздевания и хранения теннисных принадлежностей. Я вошел в него, снял куртку, взял ракетку, несколько штук прехорошеньких, белых как снег мячиков и, вернувшись на площадку, начал упражняться в манипулировании этими предметами. Легонько подкидывал мяч на пружинящей сетке ракетки, а когда он высоко подпрыгивал – ловил его в воздухе или всем известным движением, напоминающим легкое движение лопатой, поднимал с земли на ракетку. Чтобы размять плечи и испытать силу, необходимую для подачи, я посылал его обычным приемом или *back hand'ом*[205 - удар слева (англ.)] через сетку – весьма относительно, конечно, ибо большей частью мои мячи ударялись об нее, летели за черту противоположного поля или, если я становился слишком ретив, то и через проволочную ограду площадки.

Так, с удовольствием сжимая рукоятку чудесного орудия игры, носился я в *singl'e*[206 - партия в теннис один на один (англ.)] с невидимым противником, за каковым занятием меня и застала Зузу Кукук, появившаяся вместе с двумя партнерами, юношей и девицей, тоже с ног до головы в белом, которые, как выяснилось, были не братом и сестрой, а кузенком и кузиной. Его звали, кажется, Коста, а может – Куна, ее – если не Лопес, то Камозэс, точно я уже не помню.

– Смотрите-ка, маркиз тренируется соло. Это выглядит весьма любопытно, – насмешливо объявила Зузу и стала знакомить меня с обоими своими спутниками, очень изящными, но бесконечно уступающими ей в прелести, а затем и с подошедшими членами клуба, дамами и мужчинами: Салдаха, Виченте, де Менезес, Феррейра и как там их еще всех звали.

Игроков собралось уже двенадцать человек, включая меня, но четверо, болтая и смеясь, уселись на скамейку, добровольно взяв на себя роль зрителей. Остальные разошлись по площадкам. Зузу и я очутились друг против друга на одной из них. Какой-то долговязый юнец вскарабкался на место судьи, чтобы отмечать и объявлять, кому засчитывается удар, а также все ауты, геймы и сеты.

Зузу встала у сетки, я же, предоставив это место своей партнерше, зеленоглазой барышне с желтоватым цветом лица, отошел к задней черте и, придав своему телу максимально собранное положение, приготовился к игре. Первым подавал партнер Зузу, вышеупомянутый субтильный кузен, и надо сказать, что подача у него была сильная. Тем не менее первый мяч мне удалось отбить таким точным и низким ударом, что Зузу даже

снисходительно проговорила: «Ну что ж!» Но затем я наделал массу глупостей и, скрывая за суетливой беготней и прыжками полное свое неумение, сильно увеличил счет противника. Далее, с деланным хладнокровием и небрежностью играя игрока, я запускал отчаянные «свечи» и вообще проделывал с мячом какие-то немыслимые трюки, которые наряду с моими безбожными аутами или ударами в сетку возбуждали веселье зрителей, и все же в силу чистого наития мне часто удавались удары, странно не вязавшиеся с полным моим невежеством в этом виде спорта, отчего могло создаться впечатление, что я играю спустя рукава и не тороплюсь продемонстрировать свои способности. Я озадачивал партнеров и зрителей то невероятной стремительностью подачи, то тем, как я «гасил» мяч у сетки, то превосходнейшей отдачей с самых разных точек площадки – и всем этим я был обязан тому горению и подъему, которые испытывал в присутствии Зузу. Как сейчас вижу себя то принимающим труднейший драйв – одна нога у меня вытянута вперед, другая, согнутая в колене, почти касается земли, – вероятно, это была красивая картина, так как зрители наградили меня аплодисментами; то – взвившимся высоко в воздух, чтобы опять под аплодисменты и крики «браво» с силой отдать мяч, посланный маленьким кузенком и прошедший высоко над головой моей партнерши, а также в прочих невероятных, вдохновенных положениях, приносивших мне неожиданные удачи.

Надо сказать, что Зузу, игравшая умело, со спокойной корректностью, отнюдь не смеялась над моими промахами – когда, например, при подаче я, вместо того чтобы ударить ракеткой по мной же подброшенному мячу, ударял ею по воздуху, ни над прочими нелепыми выходками, но и никак не реагировала на неожиданные удачи и успех, который они мне приносили. Слишком уж случайные, эти лавры не могли помешать тому, что, несмотря на энергичную работу моей партнерши, через двадцать минут сторона Зузу уже насчитывала четыре выигранных гейма, а в последующие десять – и сет. Мы прекратили игру, уступив площадку ожидавшим своей очереди, и, разгоряченные, уселись на одну из скамеек.

– Игра маркиза не лишена занятности, – заметила моя желто-зеленая партнерша, которой я испортил немало крови.

– Un peu phantastique pourtant[207 - несколько фантастическая, однако (франц.)], – отозвалась Зузу, заинтересованная в моей репутации, так как она рекомендовала меня в клуб.

Но я чувствовал, что эта «фантастичность» не повредила мне в ее глазах. Я опять сослался на то, что давно не держал в руках ракетки, и выразил надежду, вновь обретя былую сноровку, стать достойным своих партнеров и противников. В то время как мы, уже переслав болтать, смотрели на игру тех, кто нас сменил, и радовались хорошим ударам, к нам подошел какой-то господин, некий Фиделио, и, обратившись по-португальски к кузену и желто-зеленой девице, отозвал их в сторону. Не успели мы остаться наедине с Зузу, как она спросила:

– Ну, а рисунки, маркиз? Где они? Вы же знаете, что я хочу посмотреть их и оставить себе.

– Помилуйте, Зузу, – отвечал я. – Не мог же я принести их сюда. Куда бы я их дел и как бы вам показал, ведь здесь нас каждую минуту могли бы застать врасплох...

– Это еще что за оборот – «застать врасплох»?

– Милая Зузу, ведь эти результаты моих мечтательных воспоминаний о встрече с вами не предназначены для глаз третьего, не говоря уже о том, что они вряд ли предназначены и для ваших глаз. Честное слово, я бы очень хотел, чтобы обстоятельства здесь, и у вас дома, и вообще везде давали нам больше возможности посекретничать.

- Посекретничать! Будьте добры выбирать выражения!
- Но вы же сами принуждаете меня к секретничанью, а между тем все складывается так, что это невозможно устроить.
- Я просто говорю, что вам нужно найти способ передать мне рисунки. Для этого вы достаточно ловки. Вы проявили ловкость в теннисе, я из деликатности назвала вашу игру фантастической, на деле вы часто мазали так, словно первый раз в жизни играли в теннис. Но ловким вы все-таки оставались.
- Как мне приятно, Зузу, слышать это из ваших уст...
- А, собственно, по какому праву вы называете меня Зузу?
- Да ведь вас никто не зовет иначе, а кроме того, я так полюбил это ваше имя. Я весь востепенулся, когда впервые его услышал, и тотчас же заключил его в свое сердце...
- Как можно заключить в сердце имя?
- Имя неразрывно связано с человеком, который его носит. Поэтому, Зузу, мне и было так радостно услышать из ваших уст – как приятно мне говорить о ваших устах! – снисходительный и отчасти даже похвальный отзыв о моей злополучной игре. Поверьте мне, если она выглядела хоть относительно сносно, то только в силу счастливого сознания, что ваши дивные черные глаза следят за мной.
- Очень мило. А известно ли вам, маркиз, что то, чем вы сейчас занимаетесь, называется ухаживанием? По оригинальности это сильно уступает вашей игре. Большинство здешних молодых людей рассматривает теннис как более или менее подходящий предлог для этого мерзкого занятия.
- Мерзкого, Зузу? Почему же? На днях я уже слышал, как вы называли любовь неприличной темой и при этом слове даже сказали «фу».
- Я и опять так скажу. Все вы противные, испорченные мальчишки, только и думающие о неприличном.
- О, если вы собрались уходить, вы лишаете меня возможности сказать несколько слов в защиту любви.
- Я и хочу лишить вас этой возможности. Мы уже слишком долго сидим здесь вдвоем. Во-первых, это не принято, а во-вторых (когда я говорю «во-первых», то у меня всегда есть наготове «во-вторых»), во-вторых, на вас не производит впечатления одиночное и в восторг вы приходите только от комбинированного.

«Она ревнует меня к своей матери», – не без удовольствия подумал я:

Зузу обронила «au revoir»[208 - до свиданья (франц.)] и удалилась. Ах, если бы и царственная мамаша ревновала меня к дочке! Это гармонировало бы с ревностью, которая нередко крылась в моем чувстве к одной из-за чувства к другой.

Расстояние от теннисной площадки до виллы Кукук мы прошли вместе с кузиной и кузенком, жившими чуть подальше. За завтраком, который, собственно, должен был быть прощальным, но теперь уже таковым не считался, на этот раз нас было четверо; Хуртадо

сегодня отсутствовал. Приправой к кушаньям служили шпильки, отпускаемые Зузу относительно моей игры в теннис, которой, судя по ее благосклонным расспросам, в известной мере интересовалась и донна Мария-Пиа; она особенно оживилась, когда Зузу удостоила упомянуть о двух-трех моих подвигах. Я говорю «удостоила», потому что Зузу цедила слова сквозь зубы и, словно сердясь, хмурила брови. Когда я упрекнул ее за это, она ответила:

– Сержусь? Конечно. Такие удары не вязались с вашим неумением играть. Это было противоестественно.

– Скажи лучше – сверхъестественно, – рассмеялся профессор. – По-моему, все объясняется галантностью маркиза, который хотел уступить вам победу.

– Вот и видно, что ты ничего не смыслишь в спорте, папочка, – злобно отозвалась она, – если думаешь, что галантность могла тут играть какую-нибудь роль, и слишком уж мягко объясняешь абсурдное поведение твоего дорожного знакомого.

– Папа вообще мягкий человек, – подытожила сеньора состоявшийся обмен мнениями.

Этот завтрак завершился прогулкой, как многие другие завтраки, на которые меня приглашали Кукуки в течение последующих недель. В дальнейшем поездки в окрестности Лиссабона следовали почти за каждым завтраком. Но об этом я скажу несколько позднее. Теперь же мне хочется еще только вспомнить о радости, которую я испытал, когда, недели через две после ухода моего письма, портье вручил мне письмо от моей матери, маркизы. Написанное по-немецки, оно гласило:

Виктория, маркиза де Веноста, урожденная фон Плеттенберг.

Замок Монрефюж, 3 сентября 1895 г.

Мой милый Лулу!

Твое письмо от 25-го прошлого месяца было своевременно вручено папе и мне, и теперь мы оба благодарим тебя за это, несомненно, интересное и подробное послание. Твой почерк, Лулу, всегда оставлявший желать лучшего, и сейчас не лишен известной манерности, но зато твой стиль стал заметно изящнее и округленнее, что я отчасти приписываю влиянию парижской атмосферы, все более заметно сказывающемуся на тебе; ведь парижане превыше всего ценят острое и меткое слово, а ты долго дышал парижским воздухом. Кроме того, видно, правду говорят, что любовь к красивой и благородной форме (а она всегда была тебе присуща, потому что мы заронили ее в твою душу) насквозь проникает человека, обуславливая не только его внешние манеры, но и всю его жизнь, а следовательно, простирается и на его способ выразиться как устно, так и письменно.

И все же я не верю, что ты действительно был так элегантно красноречив перед лицом его величества короля Карлоса, как ты это изображаешь в своем письме. Это, надо думать, эпистолярная вольность. Тем не менее ты доставил нам искреннее удовольствие, в первую очередь, конечно, высказанными тобой убеждениями: они столь же близки твоему отцу, сколь и его величеству королю Португалии. Мы оба полностью разделяем твою мысль о божественном предопределении земных различий между богатыми и бедными, знатными и простыми, а также о необходимости нищенства. Как могли бы мы благотворительствовать и совершать христианские добрые дела, если б на

свете не было бедных и несчастных?

Но это лишь в виде предисловия.

Не скрою – впрочем, ты ничего другого и не ожидаешь, – что твое достаточно своевольное решение отложить на столь долгий срок поездку в Аргентину вначале привело нас в некоторую растерянность. Но затем мы с ним примирились, ибо основания, которые ты приводишь, достаточно уважительны, и ты прав, говоря, что результаты оправдывают твой поступок. В первую очередь я, конечно, имею в виду награждение тебя орденом Красного Льва, которым ты обязан как милости его величества, так и личному своему обаянию. Папа и я от души поздравляем тебя с наградой. Это весьма почтенный орден, редко достигающийся человеку в столь юном возрасте, и хотя ты пожалован орденом второй степени, но, право же, второстепенным такое отличие назвать нельзя. Оно послужит к чести всей нашей семьи.

Об этом радостном событии мне рассказала и госпожа Ирмингард де Гюйон в письме, которое пришло почти одновременно с твоим; в нем подробно говорится о твоих успехах в обществе, известных ей со слов мужа. Она хотела порадовать мое материнское сердце и достигла цели. Но, не желая, конечно, тебя огорчить, замечу, что ее описания, вернее описания посланника, я читала не без некоторого недоумения. Шутником ты был всегда, но таких пародийных талантов и дара перевоплощения, позволившего тебе весь вечер потешать общество, и в том числе принца королевской крови, а также заставить смеяться почти уже не по-королевски обремененного заботами короля, – этого мы за тобой не знали. Но хватит! Письмо г-жи Гюйон подтверждает твои собственные сообщения, и я здесь еще раз замечу, что успех оправдывает средства. Прощаю тебе, дитя мое, что ты использовал для своих «представлений» подробности нашей домашней жизни, которые лучше было бы не предавать гласности. Я пишу тебе, а Миниме лежит на моих коленях, и я уверена, что она присоединилась бы к моей точке зрения, если бы ее умишко мог все это обнять и взвесить. Ты позволил себе крайние преувеличения и гротескные вольности и выставил свою мать в достаточно смешном свете, изображая, как она, вся перепачканная и чуть ли не в обмороке, лежит в кресле, а старый Радикюль спешит к ней на помощь с лопаткой и ведром для золы. Такого ведра я и в глаза не видывала, оно продукт твоего рвения во что бы то ни стало занять общество, но поскольку это рвение принесло столь отрадные плоды, я не в претензии, что мое достоинство понесло известный урон.

Конечно, рассчитанные на материнское сердце уверения госпожи де Гюйон, что ты повсюду считаешься писанным красавцем, даже образцом юношеской красоты, тоже в известной мере удивили нас. Ты, правда, недурен собой и, конечно, стараешься принизить свои внешние данные, с благодушной насмешкой над самим собою говоря, что у тебя щеки-яблоки и глазки-щелочки. Это, разумеется, не так. Но писанным красавцем ты считаться не можешь, и такого рода комплименты рассердили бы меня, если б я, как женщина, не знала, что желание нравиться делает человека красивее, как бы просветляет его изнутри, одним словом, является наилучшим средством *pour corriger la nature*[209 - чтобы исправить природу (франц.)].

Но что это я распространяюсь о твоей внешности, не все ли равно, хорош ты собой или только *passable*! [210 - недурен (франц.)] Дело ведь не в твоей красоте, а в твоём душевном здоровье, в том, чтобы ты избег опасности общественного крушения (нередко заставлявшей дрожать нас, твоих родителей). У нас камень свалился с души, когда из твоего письма и даже раньше – из твоей телеграммы – мы поняли, что это путешествие явилось наилучшим средством освободить твой дух из плена унижающих его желаний и проектов, показать их тебе в истинном свете, то есть как немыслимые и порочные, и заставить тебя позабыть о них, а заодно и о той особе, которая, к нашему ужасу, тебе все

эти желания внушила.

Судя по твоему письму, на помощь нам пришли еще и дополнительные обстоятельства. Я не могу не усматривать счастливого предопределения в твоей встрече с этим профессором и директором музея, чье имя звучит, правда, несколько смешно; то, что ты принят в его доме, тоже приносит тебе немалую пользу и способствует твоему исцелению. Развлечение необходимо человеку, а когда оно еще обогащает его блистательными знаниями, как в твоём случае – я сужу по упоминанию о морской лилии (растении мне незнакомом) и твоём кратком рассказе о происхождении собаки, и лошади, – то это тем более хорошо. Такие вещи служат украшением светской беседы и выгодно отличают молодого человека, который умеет непретенциозно и тактично вставить их в разговор, от тех, что располагают лишь спортивным лексиконом. Не сделай из этого вывода, будто мы недовольны, что ты возобновил заброшенную тобой игру в лаун-теннис, очень полезную для твоего здоровья.

Если общение с дамами Кукук, матерью и дочерью, о которых ты отзываешься не без иронии, для тебя менее интересно и поучительно, чем общение с хозяином дома и его помощником, то, полагаю, мне не надо напоминать тебе (хотя тем, что я это пишу, я уже тебе напоминаю), что, постоянно оставаясь рыцарем, как и подобает кавалеру, ты не должен дать им заметить такое твое равнодушие.

Итак, всего тебе хорошего, милый Лулу! Если через месяц или полтора, когда вернется «Кап Аркона», ты наконец отплывешь от берегов Европы, то мы вознесем молитвы господу о ниспослании тебе плавания, не мучительного для желудка. Из-за долгой задержки ты прибудешь в разгар аргентинской весны и, верно, испытаешь всю прелесть лета на противоположном полушарии. Надеюсь, ты заботаешься о соответствующем гардеробе? Я особенно рекомендую тебе легкую фланель, ибо она наилучшим образом предохраняет от простуды, которую, как это ни странно, иногда даже легче схватить в жару, чем в холодную погоду. Если тебе неостанет средств, имеющихся в твоём распоряжении, то положишься на меня, я уж всегда сумею добиться у твоего отца разумной и умеренной прибавки.

По прибытии в Аргентину передай самый, дружеский поклон господину консулу Мейеру и его супруге.

Благословляющая тебя татап.

10

Когда я вспоминаю об удивительно элегантных экипажах, блестящих лакированных викториях, фаэтонах и обитых шелком купе, временами находившихся в моем владении, меня умиляет ребяческая радость, которую мне доставлял разве что приличный экипаж, помесечно нанятый мною в Лиссабоне и почти всегда дожидавшийся меня у «Савой паласа», так что мне лишь изредка приходилось просить портье протелефонировать в контору наемных экипажей, чтобы его вызвать. Собственно, это была обыкновенная четырехместная пролетка, правда, с откидным верхом и, видимо, купленная конторой уже в подержанном виде у бывшего владельца. Лошади и экипаж выглядели вполне сносно, а приличествующую «собственному выезду» кучерскую одежду, то есть цилиндр с розеткой, синий сюртук и сапоги с отворотами, контора по моему требованию раздобыла за небольшую приплату.

Я с удовольствием садился в экипаж; ступеньку откидывал мальчик, помощник швейцара, а кучер, сняв цилиндр, кланялся мне с высоты козел. Экипаж был мне нужен не только для катанья в парках и за городом ради собственного удовольствия, но и для того, чтобы солидно подъезжать к тем высокопоставленным домам, куда меня наперебой приглашали после вечера у посланника и тем более после аудиенции у короля. Так, я получил приглашение от богача-винооторговца по фамилии Салдаха и его необыкновенно дородной супруги на garden party[211 - ужин в саду (англ.)] в их великолепном пригородном имении, где, поскольку летний сезон был уже на исходе и лиссабонцы начинали возвращаться в город, собралось действительно светское общество. Почти ту же компанию, только с некоторыми вариациями и менее многочисленную, встретил я на двух обедах; один из них давали греческий поверенный в делах князь Маврокордато и его классически прекрасная и при этом на редкость податливая супруга, другой – в голландском посольстве – барон и баронесса Фос ван Стинвик. Эти оказии давали мне возможность щегольнуть своим Красным Львом, с которым все меня поздравляли. На авенида мне теперь приходилось то и дело снимать шляпу, так как мои светские знакомства приумножились, но все это была чисто внешняя сторона жизни, вернее безразличная; подлинный же мой интерес был прикован к белому домику там, на горе, к двуединому образу матери и дочери.

Стоит ли говорить, что и экипажем я обзавелся прежде всего для них. Ведь таким образом я мог доставить им удовольствие загородных поездок, к примеру в исторические места, красоту которых я, еще не видев их, прославлял перед королем. И не было для меня ничего более приятного, чем смотреть на величаво породистую мать и ее обворожительную дочку, сидя на передней скамеечке экипажа рядом с доном Мигелем, который иной раз специально освобождался для того, чтобы ехать с нами в какой-нибудь замок или монастырь и объяснять нам эти исторические достопримечательности.

Таким прогулкам и пикникам, устраивавшимся раз, а то и два в неделю, обычно предшествовали партия в теннис и завтрак в семейном кругу Кукуков.

В скором времени моя игра сделалась ровнее, независимо от того, бывал ли я партнером Зузу, или ее противником, или играл без нее на соседнем корте. Удивительные и вдохновенные мои подвиги тоже кончились заодно с комичными промахами, изобличившими мое невежество в этом виде спорта, я стал просто заурядным игроком, хотя волнующая близость любимой временами сообщала моим действиям больше физического вдохновения – если можно так выразиться, – чем это свойственно заурядности. Если б только мне чаще удавалось оставаться с ней с глазу на глаз! Южная строгость нравов на каждом шагу чинила этому препятствия.

О том, чтобы зайти за Зузу и вместе с нею отправиться на теннисную площадку, не могло быть и речи; мы встречались уже на месте. Побывать с ней вдвоем на обратном пути тоже не представлялось возможным; нас всегда кто-нибудь сопровождал, это стало уже чем-то само собой разумеющимся. О тет-а-тет у нее дома перед обедом, после него в гостиной или где бы то ни было нечего было и помышлять. Только в краткие минуты отдыха на скамье по ту сторону сетки, огораживавшей корт, мне изредка удавалось наедине перекинуться с нею словом, и она всякий раз напоминала мне о злополучных рисунках, требовала, чтобы я их ей показал, вернее – отдал бы в полное ее распоряжение. Не вступая с ней в пререкания по поводу ее своенравных претензий на право владеть ими, я отговаривался невозможностью улучшить подходящую минуту, для того чтобы исполнить ее желание. На деле я не был уверен, что у меня когда-нибудь хватить духа показать ей эти дерзостные творения, и цеплялся за свою неуверенность, равно как и за ее неутоленное любопытство – если это правильное слово, – ибо таинственные рисунки стали узами, связывавшими меня с нею, узами бесконечно радостными для меня и которые я ни за что на свете не хотел порвать.

Иметь общую тайну, как бы состоять с Зузу в заговоре против всех остальных – по душе это было ей или не по душе – мне представлялось необыкновенно важным и сладостным. Так, я всегда с нею первой делился своими светскими впечатлениями и лишь после того рассказывал о них за столом у Кукуков, причем ей я все описывал точнее, доверительнее, острее, чем ее домашним, радуясь, что нам можно обменяться понимающим взглядом, улыбкой воспоминания о чем-то нам одним известном. К примеру, я рассказал о знакомстве с княгиней Маврокордате, чьи божественно прекрасные черты и осанка ни в какой мере не вязались с ее поведением, поведением не богини, а субретки. Я в лицах воспроизвел для Зузу сцену в гостиной княгини, где она то и дело хлопала меня веером по плечу, кокетливо высовывая при этом кончик языка, подмигивала и вообще делала мне самые откровенные авансы, вовсе позабыв о строгости и достоинстве, подобающим женщине такой классической красоты. Сидя на нашей скамейке, мы тогда долго обсуждали это непостижимое противоречие между внешностью и манерой держать себя и вместе пришли к заключению, что княгиня либо сама не рада своей удивительной красоте, считает ее за доuku и своим поведением бунтует против нее, либо она непроходимо глупа и действует бессознательно: так красавец пудель, только что выкупанный и белый как снег, спешит вывалиться в глинистой луже.

Конечно, все эти подробности я упустил, рассказывая за столом о греческом вечере и совершенной красоте княгини.

– ...которая, конечно, произвела на вас неотразимое впечатление, – заметила сеньора Мария-Пиа; она сидела, как всегда, очень прямо, не прислоняясь к спинке стула, и серьги ее тихонько покачивались.

Я отвечал:

– Впечатление, сеньора? Нет, первый мой день в Лиссабоне судил мне такие впечатления от женской красоты, что, признаюсь откровенно, к другим я уже стал нечувствителен. – Я поцеловал ее руку и одновременно, улыбаясь, посмотрел на Зузу. Это был мой постоянный метод, его мне диктовало двуединство. Говоря какую-нибудь любезность дочери, я взглядывал на мать, и наоборот. Звездные глаза хозяина дома, сидевшего во главе небольшого семейного стола, благосклонно смотрели на эти сценки, благо Сириус, откуда шел его взгляд, так удален от нашей планеты.

Почтительное уважение, которое я питал к профессору, ничуть не умалялось оттого, что, ухаживая за двуединным образом – матерью и дочерью, – я иногда попросту забывал о нем.

– Папа всегда добр, – справедливо обмолвилась однажды сеньора Мария-Пиа. Думается, что этот *pater familias*[212 - отец семейства (лат.)] с той же благожелательной рассеянностью и отсутствующей добротой отнесся бы к разговорам, которые я вел с Зузу на теннисной площадке или на прогулках, когда нам случалось идти рядом, разговорам, по правде сказать, неслышанным. Становились же они такими, во-первых, из-за ее тезиса «молчание вредно», во-вторых, из-за ее феноменальной прямоты, полностью выпадавшей из рамок общепринятых условностей, и, наконец, из-за темы, вокруг которой они вращались постоянно и настойчиво. Тема эта была любовь, как известно, однажды уже побудившая мадемуазель Кукук воскликнуть «фу». Я хлебнул с Зузу немало горя, ибо я любил ее и на все лады старался дать ей это понять. И она это понимала, но как! Представления о любви, составившиеся у этой обворожительной девушки, были не только странными, но и до смешного подозрительными. Она, казалось, считала ее за тайные шалости озорных мальчишек и ко всему еще порок, называемый «любовью»,

почему-то приписывала исключительно мужскому полу, убежденная, что женщинам он несвойствен, что природа не заложила в них ни малейшего к нему предрасположения и что молодые мужчины заняты одной только мыслью – втянуть девушек в это безобразие, совратить их с пути при помощи волокитства. Случалось, она говорила мне:

– Вы опять за мной ухаживаете, Луи (да, да, наедине она стала иногда называть меня Луи, как я ее – Зузу), несете слащавый вздор и смотрите на меня своими голубыми глазами, – которые, вы сами это знаете, в сочетании с белокурыми-волосами так удивительно контрастируют с вашей смуглой кожей, что даже не знаешь, что о вас и думать, – смотрите настойчиво, чтобы не сказать – нахально. А чего вы от меня хотите? Чего вы добиваетесь этими льстивыми словами и томными взглядами? Чего-то несказанно смешного, ребячливо абсурдного и неаппетитного. Я сказала «несказанно»... Какой вздор, что тут несказанного, я вам все скажу. Вы хотите, чтобы я согласилась обниматься с вами; природа позаботилась разделить, обособить одного человека от другого, а теперь они, по-вашему, должны обниматься. Вы прижметесь ртом к моему рту, наши ноздри окажутся крест-накрест, и один будет чувствовать дыхание другого. Препротивное неприличие и ничего больше; только чувственность умудрилась обернуть его в наслаждение. Да, да, а то, что кроется под словом «чувственность», – это трясина нескромностей, в которую вы стараетесь нас завлечь, чтобы мы там сходили с ума вместе с вами и два цивилизованных существа вели себя как людоеды. Вот к чему сводятся ваши ухаживания.

Она умолкла и сумела остаться совершенно спокойной, даже дыхание ее не участилось после такого взрыва прямотушия, бывшего, впрочем, не столько взрывом, сколько неуклонным следованием тезису «вещи надо называть своими именами». Я тоже молчал, испуганный, растроганный и опечаленный.

– Зузу, – проговорил я наконец, держа руку над ее рукой, но до нее не дотрагиваясь, затем, словно защищая Зузу, я этой же рукой провел по воздуху над ее волосами – взад и вперед. – Зузу, вы причиняете мне боль, потому что такими словами, не знаю уж как и назвать их – черствыми, жестокими, может быть, слишком правдивыми и именно потому правдивыми только наполовину, нет, вовсе не правдивыми, срываете нежную пелену, что окутывает мое сердце и разум, зачарованные вашей прелестью. Не смейтесь над «пеленой». Я нарочно, сознательно говорю так, потому что стремлюсь поэтическими выражениями защитить поэзию любви от ваших злых карикатурных речей. Ну можно ли в таких словах говорить о любви и о том, чего она домогается! Любовь ничего не домогается, она ничего не хочет, кроме себя самой, ни о чем, кроме себя самой, не думает, она сама по себе и окутана собственной дымкой; пожалуйста не фыркайте, не морщите свой носик, я уже сказал, что нарочно выбираю поэтические, то есть попросту пристойные выражения, говоря о любви, ибо любовь всегда пристойна, а ваши злые слова забегают далеко вперед на ее пути – пути, о котором она знать не знает, хотя и идет по нему. Ну как, скажите на милость, вы говорите о поцелуе! Ведь на земле нет общения более тонкого, молчаливого, прелестного, как цветок! Об этом нечаянном, почти произвольном, сладостном взаимообретении уст, когда чувство ни к чему другому не стремится, ибо поцелуй и есть подтверждение блаженного единства двух существ.

Клянусь, так я говорил. Говорил потому, что манера Зузу поносить любовь и вправду казалась мне ребячливой, а поэзию я считал менее инфантильной, чем черствость этой девочки. Но поэзия давалась мне легко благодаря зыбкости моего существования, и распространяться о том, что любовь ничего не домогается, не помышляет ни о чем, кроме поцелуя, мне тоже было нетрудно, ибо в ирреальности моего существования мне было не дозволено помышлять о реальном, скажем, просить руки Зузу. Я мог разве что попытаться соблазнить ее, но тут обстоятельства чинили мне слишком много препятствий, и главным препятствием было ее фантастически прямолинейное, абсурдно

неприкрашенное представление о комической непристойности любви. Послушайте только, хотя бы с досадой и горечью, как она ратоборствовала с поэзией, призванной мной на помощь.

– Па-та-та-па-та-та! – воскликнула Зузу. – Пелена, дымка и прелестный поцелуй-цветок! Все слащавая болтовня, чтобы втянуть нас в вашу мальчишескую испорченность! Фу, поцелуй – тонкое, молчаливое общенье! С него-то и начинается, по-настоящему начинается, *mais oui*[213 - ну да (франц.)], ибо отчасти он уже все, *toute la lyre*[214 - вот и вся музыка (франц.)], и в то же время самое худшее из всего. Почему? Да потому, что кожа нужна вашей любви, кожа, телесный покров, а на губах кожа нежная, под ней сразу кровь – и отсюда поэтическое слияние уст; они, эти нежные уста, куда только не устремляются, потому что все, что вам нужно, это голыми лежать с нами, кожа к коже, и наставлять нас в нелепейшем занятии, которое сводится к тому, что один жалкий человек губами и руками елозит по пахучей поверхности другого, и оба они не стыдятся этого жалкого, смехотворного занятия и не думают о том, – это сразу отравило бы им удовольствие, – что я однажды вычитала в духовной книге:

Человек красивым, блестящим, нарядным бывает,
Но внутри у него потроха, и они воняют.

– Это мерзкий стишок, Зузу, – отвечал я, укоризненно и с достоинством покачивая головой, – мерзкий, хотя он и выдает себя за духовный. Я готов принять всю вашу черствость, но стишок – увольте, он вопиет к небесам. Вы хотите знать почему? Да, да, я уверен, что вы это хотите знать, и я вам скажу. Да потому, что коварные эти стишонки стремятся разрушить веру в красоту и форму, в образ и в мечту. Но чем была бы жизнь и радость, без которой нет жизни, если бы не было видимости, пленяющей наши чувства? Слушайте, что я вам сейчас скажу, прелестная Зузу. Ваш религиозный стишок грешнее самой греховной похоти, так как он отравляет удовольствие, а отравлять жизни удовольствие не только грешно – это сатанинское деяние. Ну, что вы мне скажете? Нет, нет, я спрашиваю не для того, чтобы вы меня прерывали. Я ведь не мешал вам говорить, как ни черствы были ваши речи, а я говорю благородные слова, и они сами слетают у меня с языка. Если бы все обстояло так, как говорится в этом зловредном стишке, то непреложной действительностью, а не только ложной видимостью пришлось бы считать разве что безжизненный мир, неорганическое бытие; я говорю «разве что», ибо если думать об этом зловредно, то и здесь сыщется своя загвоздка. Я лично, Зузу, отнюдь не уверен, что сияние альпийских вершин или, скажем, водопад непреложнее, действительнее образа и мечты, иными словами, так ли уж непреложно действительна, а не только видима их красота без нашего восхищения ими, без нашей любви? Ведь сколько-то времени назад из безжизненного, неорганического бытия благодаря прачачатию, что уже само по себе таинственно и темно, возникла жизнь, и если внутри у нее не все так уж чисто обстоит, – это понятно само собой. Какой-нибудь дуралей мог бы, например, объявить, что вся природа – гниль и плесень, но его утверждение так и осталось бы злобной, дурацкой клеветой и до конца дней не могло бы уничтожить любовь и радость, восхищение образом. Я слышал эти слова от одного художника: он всю жизнь почтительно писал плесень, земную брэнность и за это получил звание профессора. Но человека он тоже заставлял себе позировать для греческого бога. В Париже в приемной зубного врача, к которому я пришел запломбировать зуб, я видел альбом, книгу с иллюстрациями, под названием «*La beaute humaine*»[215 - человеческая красота (франц.)]; в ней были снимки со всевозможных изображений прекрасного человеческого образа, образа, который во все времена тщательно и усердно воссоздавался в красках, в бронзе и в мраморе. Но почему же альбом кишел прославлениями человека? Да потому, что свет испокон веков кишел дураками, которые, нимало не заботясь о пресловутом духовном стишке, за истину почитали форму, видимость, поверхность, становились ее жрецами и нередко вознаграждались за это

профессорским званием.

Клянусь, так я говорил, потому что слова сами слетали у меня с языка. И говорил не однажды, а много раз, едва только мне представлялся случай остаться наедине с Зузу, будь то на скамье у теннисного корта или на прогулке вчетвером, с сеньором Хуртадо, после совместного завтрака, большей частью заканчивавшегося гулянием по лесным дорожкам Кампо Гранде, среди банановых плантаций и тропических деревьев Ларго до Принсипе Реаль. И хорошо, что мы гуляли вчетвером, иначе я не оставался бы с глазу на глаз то с величавой половиной двуединого образа, то с дочкой: поотстав с ней немного, я в благородных, продуманных словах оспаривал ее ребячливое отношение к любви как к некоему неаппетитному мальчишескому пороку, отношение, на котором она продолжала настаивать с прямолинейным упорством.

Она упрямо держалась своей теории, хотя иной раз я уже стал подмечать вызванные, очевидно, моим красноречием признаки известного смущения, нерешительной благосклонности; временами ее молчаливо испытующий взгляд свидетельствовал о том, что мое ретивое заступничество за радость и любовь не пропало даром.

Такое мгновение наступило, и в жизни мне его не забыть, когда мы наконец (эта поездка почему-то долго откладывалась) отправились в моей коляске за город, в деревушку Цинтра; под ученым руководством дона Мигеля осмотрели старинный замок в деревне, сторожевые башни, глядящие вдаль со скалистых высот, а потом посетили знаменитый монастырь Белем, то есть Вифлеем, воздвигнутый столь же благочестивым, сколь и приверженным к роскоши королем Эммануэлем Счастливым в память и честь португальских первооткрывателей. Откровенно говоря, поучения дона Мигеля касательно стиля монастыря и дворцов, вобравшего в себя элементы мавританского, готического и итальянского зодчества, дополненные экскурсами в чудеса индийской архитектуры, входили мне, что называется, в одно ухо и выходили в другое. Я думал не о зодчестве, но о том, как внушить черствой Зузу правильное понятие о любви, а для ума, занятого чисто человеческими интересами, и ландшафт и самое прекрасное здание не более как декорация, едва замечаемый фон.

Тем не менее признаюсь, что неправдоподобная, льющаяся из всех времен и ни в одном из знакомых нам не задерживающаяся, словно увиденная во сне ребенком волшебная прелесть крытой галереи в монастыре Белем, с ее остроконечными башенками, тонкими-претонкими столбиками в арках и, словно сработанной руками ангелов, сказочно великолепной резьбой по белому песчанику, при виде которой начинаешь верить, что камень можно обрабатывать крохотным напильником и изготавливать из него тончайшие кружева, – вся эта каменная феерия привела меня в восторг, и такое приподнятое состояние духа, несомненно, способствовало моему красноречию, когда я заговорил с Зузу.

Мы довольно долго пробыли в этой дивной галерее, несколько раз обошли ее, а дон Мигель, заметив, что мы, молодежь, не очень-то прислушиваемся к его поучениям относительно зодчества времен короля Эммануэля, догнал донну Марию-Пиа и пошел с нею вперед; мы следовали за ними на некотором расстоянии, об увеличении которого я уж сумел позаботиться.

– Итак, Зузу, – сказал я, – при виде этого строения наши сердца, конечно, бьются в унисон. Такой чудесной крытой галереи мне еще видеть не приходилось (мне вообще не приходилось видеть крытой галереи, и подумать только, что первая из них оказалась такой, какая может разве что пригрезиться, да и то в детстве!). Я очень счастлив, что люблю ее вместе с вами. Давайте договоримся, какое слово нам избрать для ее восхваления: «прекрасная», «красивая»? Нет, не подходит, хотя, конечно, она заслуживает

этих эпитетов. Но «прекрасная» – это слишком строгое слово, так ведь, Зузу? Надо возвысить смысл таких слов, как «обворожительно», «прелестно» до самой вершины, до крайности, тогда мы сыщем правильное обозначение для этой галереи. Да, собственно, она это делает и без нас, то есть доводит обворожительно до крайности.

– Ну что вы пустословите, маркиз! Прелестно, до крайности обворожительно. Но ведь крайне обворожительно в конце концов и значит прекрасное.

– Нет, разница тут все же существует. Как мне это вам объяснить? Ваша мама, например...

– Прекрасна, – живо перебила меня Зузу, – а я обворожительна, так ведь? И на нас обеих вы хотите продемонстрировать эту пустословную разницу?

– Вы предвосхищаете мою мысль, – отвечал я, сознательно сделав паузу, – и при этом несколько искажаете ее. Она движется почти, как вы сказали, почти, но не совсем. Мне так радостно слышать, когда вы говорите «мы», вернее – «нас», «нас обеих» про себя и про свою мать. Но, насладившись этим сближением, я хочу от двойственного перейти к единичному. Донна Мария-Пиа, пожалуй, может служить примером того, что прекрасному следовало бы сочетаться с обворожительным и прелестным. Если бы лицо вашей мамы не было так крупно, сумрачно, пугающе гордо иберийской расовой гордостью и позаимствовало бы долю вашей прелести, она могла бы считаться законченно прекрасной женщиной. А такая, как она есть, она не достигла совершенства, которого могла бы достичь. Вы же, Зузу, совершенство, вершина прелести и обворожительности. Вы как эта галерея...

– О, благодарю вас! Следовательно, я девушка времен короля Эммануэля, и я же причудливое строение. Очень, очень вам признательна. Это уж, можно сказать, предел куртуазности.

– Вы вольны смеяться над моими идущими от сердца словами, переиначивать их и называть себя самым строением. А на деле ничего тут нет удивительного: эта галерея заставила меня утратить душевное равновесие, и вы сделали со мной то же самое, так почему бы мне и не сравнить вас с нею? Я вижу ее впервые. Вы же, наверно, не однажды бывали здесь.

– Бывала!

– Так вам надо бы радоваться, что хоть раз вы приехали сюда с новичком, с человеком, который видит ее впервые. Ведь таким образом и вы взглянете на давно знакомое свежим взглядом, точно в первый раз. Надо стараться на все вещи, даже самые обыденные, само собой разумеющиеся, смотреть свежим, удивленным взглядом, как будто вы никогда их не видели. К ним тогда возвращается их удивительность, уснувшая в обыденности, и мир остается свежим, а иначе все погружается в сон – жизнь, радость и изумление. Любовь, например...

– *Fi done! Taisez-vous!*[216 - Фи! Замолчите! (франц.)]

– Но почему? Вы ведь тоже говорили о любви, и неоднократно; согласно вашему, вероятно правильному, принципу – молчание вредно. Но при этом вы подбирали такие жестокие слова, да еще цитировали мерзкий духовный стишок, что оставалось только удивляться, можно ли до того безлюбо говорить о любви. Вы так очерствели, что вас уже не трогает самый факт существования этого чувства, что тоже вредно; и я считаю себя обязанным вразумить вас, извините за выражение, вправить вам мозги. Если взглянуть

на любовь свежим глазом, словно впервые ее заметив, какой трогательной, какой удивительной покажется она! Любовь – это чудо, не более и не менее. Конечно, в итоге, так сказать, в общем и целом, чудо – все бытие, но любовь, по моему убеждению, – величайшее из чудес бытия. Вы вот сказали, что природа заботливо отделила человека от человека, размежевала их. Очень меткое и верное замечание. Таково правило. Но в любви природа делает исключение, изумительное исключение, если смотреть на него свежим глазом. Заметьте себе, что сама природа придумала и установила это исключение, и если вы становитесь на сторону природы, против любви, то природа все равно не чувствует к вам ни малейшей благодарности; это остается вашим faux pas [217 - ошибкой (франц.)]. И вы по ошибке ополчаетесь на природу. Сейчас я все объясню, раз уж я взялся вправить вам мозги. Правда, каждый человек живет в своей шкуре отдельно от другого, и не только потому, что он должен так жить, но и потому, что он этого хочет. Ему по душе такое обособленное существование, потому что о других он в конце концов и знать ничего не желает. Всякий другой, любой другой в его шкуре ему противен, не противен только он сам. Таков закон природы, и я говорю лишь то, что есть. Вот он, задумавшись, сидит у стола, склонив голову на руку, двумя пальцами он подпирает щеку, а третий засунул в рот. И что ж такого? Это его рот и его палец. Но почувствовать у себя во рту чужой палец ему было бы непереносимо, непереносимо до отвращения. Или, может быть, это не так? Его отношение к другому по самой своей природе в основном сводится к отвращению. Физическая близость другого его гнетет, возмущает все его существо. Ему лучше удавиться, чем своим телом ощущать чужое тело. Щадя обособленность другого, он на самом деле щадит только собственную обособленность. Хорошо. Или по крайней мере верно. В общих чертах я уже набросал картину естественного и всеобщего положения вещей и сейчас перейду к следующему пункту моей речи, специально для вас заготовленной. Ибо теперь я хочу сказать о том, из-за чего природа вдруг резко отступает от своего давнего статуса, из-за чего железный закон брезгливой обособленности человека, его стремление оставаться наедине со своей плотью нежданно-негаданно рассыпается прахом, да так, что у того, кто видит это в первый раз – а видеть это обязан всякий, – от удивления и растроганности слезы струятся по ланитам. Я говорю «ланиты» и «струятся», потому что это звучит поэтично и, следовательно, подобающе. Сказать просто «щека» в такой связи я себе не позволю, – это слишком низко... Щеки можно, например, перепачкать вареньем. Но «ланита» – возвышенное слово.

Вы уж простите меня, Зузу, если я в своей заготовленной для вас речи время от времени делаю паузу и после нее начинаю, так сказать, новый параграф. Я склонен к лирическим отступлениям, вот заговорил о «ланите» и теперь вынужден снова собираться с мыслями, для того чтобы выполнить свой урок, то есть вправить вам мозги. Итак! Что же заставляет природу отступаться от своего закона, на удивление всему свету уничтожать обособленность одной плоти от другой, «я» от «ты»? Любовь. Будничное явление, но вечно новое и, если хорошенько в него всмотреться, даже неслыханное. Что здесь происходит? Взоры обособленных друг от друга существ встречаются не так, как обычно встречаются взоры. Испуганные, позабыв обо всем на свете, смятенные и слегка затуманенные от стыда, из-за того, что они так отличны от всех прочих взоров, и в то же время ни за какие блага мира не согласные поступиться этим своим отличием, они сливаются друг с другом, если хотите, я даже скажу «впиваются» друг в друга, но это уже лишнее – «сливаются» тоже хорошо... Может, совесть у них и не совсем чиста, но не будем в это углубляться. Я не слишком образованный молодой дворянин, и нельзя с меня спрашивать обоснования мировых тайн. Но одно я знаю – нет ничего слаще такой нечистой совести, с которой эти оба, внезапно изъятые из всего остального миропорядка, устремляются друг к другу. Они говорят между собой на обыкновенном языке о том о сем, но поскольку и то и се – ложь, так же как и обыкновенный язык, то в разговоре их губы кривятся чуть-чуть лживо и глаза тоже полны блаженной лживости. Один смотрит на волосы, губы, на тело другого, и затем они потупляют свои лживые

взоры или отводят их в сторону, где им все равно нечего высматривать, ибо они слепы и, кроме друг друга, ничего на свете не видят. Их взоры только прячутся в божьем мире, чтобы тотчас же и еще ярче сияя вновь обратиться на волосы, губы, тело другого, ибо все это, вопреки законам природы, перестало быть чужим, более чем безразличным, то есть неприятным, даже противным, и нежданно сделалось предметом восторга, вожделения – тем, чего так трогательно и страстно жаждешь коснуться, блаженством, которое предчувствовал и тайно предвкушал твой взор.

Вот вам еще один параграф моей речи, Зузу, сейчас я перехожу к следующему. Вы меня слушаете внимательно? Так, словно первый раз слышите о любви? Я очень на это надеюсь. Скоро настанет миг, когда погаснут огоньки лжи в глазах, постылым станет лживый изгиб рта и взор, обращенный куда-то вдаль, и они сбросят все это с себя, словно уже сбрасывая одежду, и скажут единственно правдивые слова, рядом с которыми все остальное только притворство и болтовня, эти слова: «Я люблю тебя!» Это будет истинным освобождением, самым смелым и самым сладостным из всех освобождений. И в миг, когда оно настанет, губы одного сольются с губами другого, можно даже сказать – вопьются в них для поцелуя, этого беспримерного события в мире разделенности и обособленности, такого, что при одной мысли о нем слезы готовы заструиться по ланитам. Подумайте, Зузу, как черство вы говорили о поцелуе, этой печати, скрепляющей конец отдельного существования и брезгливого желания не знать ни о чем, что не ты сам! Я не спорю и охотно соглашаюсь, что поцелуй – начало остального, дальнейшего, ибо он молчаливое подтверждение того, что близость, самая близкая близость, бесконечная, если существует бесконечность, та самая близость, от которой другой раз лучше удавиться, стала олицетворением всего желанного. Любовь, Зузу, все творит через посредство любящих, она пускается на все, чтобы сделать близость бесконечной и абсолютной, довести ее до подлинного, полного слияния двух жизней, но это ей, несмотря на все ее усилия, как это ни смешно и ни печально, никогда не удастся. Все-таки не может она пересилить природу, которая хоть и создала любовь, но твердо блюдет закон обособленности. А если двое и становятся одним, то это случается уже не с любящими, а вне их: они едины в ребенке, явившемся на свет от их любви. Но я говорю не о детях и не о семейном счастье; это уже за пределами моей темы. Я говорю о любви в новых и благородных словах для того, чтобы вы, Зузу, по-новому взглянули на нее, поняли бы, как она трогательна, и больше бы никогда столь черство о ней не отзывались. Я потому говорю по пунктам, что одним духом мне всего не сказать, и сейчас опять перейду к следующему параграфу.

Любовь, милая Зузу, не только во влюбленности, когда одна обособленная плоть странным образом перестает быть неприятной другой. Следы ее, напоминания о том, что она существует в мире, – повсюду. Когда на улице вы не только подаете несколько монеток нищему ребенку, что умоляюще смотрит на вас, но проводите рукой без перчатки по его волосам, в которых, наверно, водятся вши, улыбаясь, заглядываете ему в глаза и потом идете своей дорогой, чувствуя себя счастливее, чем до этого мгновения, – что это, как не чуть приметный след любви? И вот еще что я хочу сказать, Зузу: то, что вы обнаженной рукой дотрагиваетесь до вшивой головы нищего ребенка и потом чувствуете себя несколько более счастливой, нежели минуту назад, – это, пожалуй, еще более удивительное проявление любви, нежели ласки, подаренные любимому телу. Осмотритесь вокруг, взгляните на людей так, словно вы видите их впервые! Везде следы любви, напоминания о ней, признания ее прав вопреки тяге к обособленности и отвращению одной обособленной плоти к другой. Люди подают друг другу руки – что может быть обыкновенное, будничное, условнее; при этом никто ничего не думает, кроме любящих, – тех, что наслаждаются этим прикосновением, ибо большее им пока не дозволено. Другие обмениваются рукопожатием и не подозревая, что это любовь, закрепленная обычаем. Тела их отделены друг от друга положенным расстоянием – только не излишняя близость, боже упаси! Но, блюдя эту дистанцию и строго охраняемую

обособленность, они все же протягивают руки, и чужие ладони соприкасаются, сжимают одна другую, сплетаются, а это ведь ничто, обыкновенное приветствие, ничего в нем нет особенного, – так, кажется, представляется многим. На деле же, если всмотреться попристальнее, это тоже маленький праздник отклонения природы от своих же законов, отрицание брезгливой обособленности, след вездесущей любви.

Моя матушка, сидя в своем люксембургском замке, наверно, решила бы, что я не мог так говорить, что это беллетристика. Но, клянусь честью, так я говорил. Ибо слова сами слетали у меня с языка. Может быть, то, что мне удалось столь оригинальная речь, следует отнести за счет удивительной прелести и необычного своеобразия галереи в монастыре Белем, впрочем это уже несущественно. Так или иначе, но, когда я кончил, произошло нечто невероятное. Зузу протянула мне руку! Не глядя на меня, отвернувшись и будто бы любуясь чудесной резьбой, протянула правую руку, я пожал ее, и она ответила на это пожатие. Но в то же мгновение резко выдернула ее из моей руки и сказала, сердито нахмутив брови:

– А рисунки, которые вы дерзнули сделать? Где они? Когда же вы мне их передадите?

– Поверьте, Зузу, я помню об этом. И не собираюсь забыть. Но вы сами знаете, я никак не выберу удобного момента...

– Отсутствие изобретательности в выборе момента прямо-таки жалкое! – отвечала она. – Видно, мне надо будет прийти вам на помощь, если вы так неловки. Будь у вас побольше наблюдательности, вы бы давно знали и без моей указки, что в саду за нашим домом, в олеандровых кустах, можно даже сказать – в беседке, имеется скамейка, на которой я люблю сидеть после завтрака. Вы могли бы это знать, но, конечно, не знаете, в чем я всякий раз убеждалась, сидя там. При наличии хоть капли воображения и находчивости вы в любой день после завтрака могли бы сделать вид, что уходите, пожалуй, могли бы на самом деле уйти, а потом вернуться, разыскать меня в беседке и вручить мне наконец свою мазню. Какое откровение, не так ли? Гениальная идея? Да, для вашего разумения. Итак, будьте любезны проделать это в ближайший же день, хорошо?

– Непременно, Зузу! Это, правда, мысль столь же простая, сколь и блестящая. Извините, что я не знал о существовании скамейки в олеандрах. Она так глубоко в них запрятана, что я ее не заметил. Значит, после завтрака вы обычно сидите там одна? Превосходно! Я все сделаю в точности, как вы сказали. Для вида распрощаюсь, и с вами тоже, притворюсь, что пошел домой, и вместо того явлюсь к вам с рисунками. Вот вам моя рука.

– Оставьте вашу руку при себе! Обменяться рукопожатиями мы можем после возвращения в город, а то и дело жать друг другу руки, честное слово, бессмысленно.

Конечно, я был счастлив предстоящим свиданием, хотя меня и охватывал вполне понятный страх при мысли показать Зузу эти рискованные рисунки, явно преступавшие границу дозволенного. Как-никак, а к прелестному телу Заза, изображенному на них в разных позах, я пририсовал головку с характерными зачесами на ушах, и думать о том, как Зузу отнесется к столь дерзкому портретированию, было мне несколько страшновато. Вдобавок, я спрашивал себя, почему этому свиданию в беседке Кукуков непременно должен предшествовать завтрак и почему мне вменяется в обязанность разыграть комедию ухода? Если Зузу всегда сидит там в одиночестве после завтрака, то

я мог бы в любой день, никем не замеченный, прийти к олеандровой скамейке, тем более что это час сиесты. Ах, если бы мне можно было явиться на randevу без этих проклятых и совершенно непозволительных рисунков!

Потому ли, что я не смел этого сделать, или из страха перед негодованием Зузу, – один бог знает, в какие формы оно могло вылиться, – или же потому, что новые захватывающие впечатления, о которых я сейчас расскажу, заглушали эту потребность в моем сердце, отзывчивом на всякую новизну, – так или иначе, но день проходил за днем, а я все медлил воспользоваться ее предложением. В моих чувствах, приходится это повторить, род наплывом новых впечатлений наметился своеобразный поворот. Покорив меня своей мрачной торжественностью, они с часу на час изменяли мое отношение к двуединому образу: одну его половину, материнскую, теперь заливал сильный кроваво-красный свет, отчего отступала в тень другая половина, обворожительно юная, дочерняя.

Вероятно, я прибег к этому сравнению – свет и тень – потому, что во время боя быков играет столь значительную роль различие между ослепительно освещенной и лежащей в тени частью амфитеатра, причем преимущество отдается, конечно, тенистой, на которой сидим мы, высшее общество, тогда как простой люд принужден томиться на беспощадном солнцепеке... Но я заговорил о бое быков так, словно читатель знает, сколь важно для меня оказалось это в высшей степени достопримечательное, исконно иберийское зрелище. А между тем писать книгу не то же, что говорить с самим собой. Книга требует последовательности, обдуманности и не допускает внезапных скачков.

Прежде всего надо сказать, что мое пребывание в Лиссабоне приближалось к концу; наступили уже последние числа сентября. Со дня на день должен был возвратиться «Кап Аркона», и до моего отъезда оставалось не более недели. Поэтому мне и вздумалось во второй и последний раз посетить музей Ciencias Naturaes на rua da Prata. Я хотел еще раз повидать белого оленя в вестибюле, доисторическую птицу, беднягу динозавра, гигантского муравьеда, прелестную ночную обезьянку и, далеко не в последнюю очередь, милейшее неандертальское семейство, а также древнего человека, презентующего букет цветов восходящему солнцу. Так я и сделал. С сердцем, преисполненным всесимпатии, прошел однажды утром, никем не сопровождаемый, по комнатам и залам первого и подвального этажей этого кукуковского творения, не преминув, конечно, на минуточку заглянуть в кабинет хозяина, – пусть все же знает, что меня опять потянуло сюда. Он, по обыкновению, встретил меня приветливо и сердечно, похвалил мою приверженность к его музею и сделал мне следующее предложение.

Сегодня, в субботу, день рождения принца Луи-Педро, брата короля. В честь этого события завтра, то есть в воскресенье, в три часа пополудни назначена Corrida de toiros, бой быков, на котором будет присутствовать сам принц; он, Кукук, вместе со своими дамами и господином Хуртадо тоже намерен посетить это народное зрелище. У него имеются билеты на теневую сторону, в том числе и для меня. Он считает необыкновенно удачным совпадением, что мне, путешествующему в образовательных целях, представилась неожиданная возможность присутствовать на португальской корриде. А что думает об этом сам путешественник?

Я думал об этом не без робости, в чем ему и признался. Меня пугает вид крови, сказал я, да и вообще, поскольку я себя знаю, эта традиционная резня вряд ли доставит мне удовольствие. Вот лошади, например. Я слышал, что бык нередко вспарывает им брюхо так, что вываливаются внутренности; смотреть на это очень неприятно, да и сам бык будет внушать мне жалость. Можно, конечно, возразить, что зрелище, которое выносят нервы дам, для меня и подавно должно быть выносимо или даже интересно. Но дамы – исконные иберийки и сроднились с этим жестоким обычаем, тогда как я – иностранец, не

привыкший... и так далее в этом роде.

Кукук поспешил меня успокоить. Напрасно, мол, я составил себе столь отталкивающее представление об этом празднестве. Коррида, конечно, вещь серьезная, но не отвратительная. Португальцы любят животных и до отвратительности это зрелище не доводят. Что касается лошадей, то на них издавна надевают толстые защитные попоны, предохраняющие их от серьезных ранений, а бык в конце концов здесь принимает смерть куда более благородную, чем на бойне. Кроме того, я ведь всегда могу смотреть не на арену, а на празднично разряженную толпу, заполняющую ряды амфитеатра, на общий вид цирка, весьма живописный и исполненный этнографического своеобразия.

Ну что ж, согласившись, что мне грех упустить такой случай, я поблагодарил профессора за внимание. Мы условились, что я заблаговременно буду дожидаться в своем экипаже у станции канатной дороги, чтобы вместе с семейством Кукук проделать весь остальной путь до цирка. Можно заранее сказать, добавил профессор, что мы будем двигаться очень медленно по запруженным народом улицам. Я убедился в правильности его прогноза, когда в воскресенье, боясь опоздать, уже в четверть третьего вышел из отеля. Да, таким Лиссабона я еще не знал, хотя провел здесь уже не один воскресный день. Видимо, только коррида и могла в такой мере взбудоражить его. Вся необъятно широкая авенида была забита разными экипажами, повозками, запряженными лошадьми и мулами, всадниками верхом на ослах и пешеходами; и так на всех улицах, по которым мой экипаж пробирался шагом из-за невероятной толчеи. Из всех переулков и закоулков, из старого города, из предместий и окрестных деревень текла толпа сельских жителей и горожан, празднично разряженная в уборы, сегодня только вынутые из сундуков, а потому с несколько горделивыми, хотя и оживленными лицами, выражающими достоинство, даже умильность; текла степенно, так мне по крайней мере казалось, без шума и бранчливых возгласов, в направлении Кампо Пекуэно.

Откуда это странное чувство душевного стеснения, смешанного с состраданием, благоговением и чуть меланхолической веселостью, которое охватывает тебя при виде празднично приподнятой, торжественной и слитной толпы народа? В нем есть что-то далекое, первозданное, пробуждающее глубокое уважение, но и тревогу тоже.

Погода стояла еще летняя, солнце ярко светило, блестя на медной оковке посохов, на которые опирались идущие издалека мужчины. На них были пестрые шарфы и шляпы с широкими полями. На женщинах – платья из накрахмаленной до блеска бумажной материи, обшитые на лифах, рукавах и подолах золотой и серебряной тесьмой ажурной работы. У некоторых в волосах были высокие испанские гребни, а поверх них иногда еще ниспадающие с головы на плечи вуали из черных или белых кружев, так называемые мантильи. То, что их носили крестьянские женщины, меня не удивляло, но когда предо мной предстала донна Мария-Пиа – конечно, не в накрахмаленном ситцевом платье, а в элегантном туалете, но тоже в мантилье поверх высокого гребня, – я, признаться, был поражен. Поскольку она не сочла нужным отметить улыбкой такой этнографический маскарад, я тоже не улыбнулся и лишь еще почтительнее склонился к ее руке. Мантилья чудо как шла к ней. Лучи солнца, проникая сквозь тонкое плетенье кружева, бросали филигранные тени на ее щеки, на ее крупное, строгое и по-южному бледное лицо.

Зузу была без мантильи. Но в моих глазах и очаровательные пряди черных волос, спущенные на уши, были достаточной национальной метой. Зато одета она была даже темнее, чем мать, как для обедни; мужчины, профессор и дон Мигель, который пришел пешком и, пока мы обменивались взаимными приветствиями, присоединился к нам, были в строгих костюмах – черный сюртук и цилиндр, тогда как я оставался в обычном своем синем костюме с цветными полосками. Это оказалось несколько *genant*[218 - неловко (франц.)], но неопытность иностранца заслуживала снисхождения.

Я велел кучеру ехать парком и через Кампо Гранде – такой путь был спокойнее.

Профессор и его супруга сели на заднее сиденье. Зузу и я – напротив них, а дон Мигель – рядом с кучером. Мы ехали молча, лишь изредка перекидываясь словами, что было главным образом вызвано необыкновенно важной, даже чопорной и, казалось, осуждающей всякую болтовню осанкой сеньоры Марии. Муж ее один раз обратился ко мне с каким-то незначительным вопросом, но я, как бы спрашивая разрешения, непроизвольно поднял глаза на эту сурово торжественную женщину в иберийском уборе и ответил ему по возможности кратко. Серьги с подвесками из черного янтаря покачивались в ее ушах при легких толчках коляски.

Скопление экипажей у входа в цирк было огромное. Наши лошади медленно пробирались к подъезду сквозь эту гущу. Затем нас принял огромный шатер цирка с его перегородками, балюстрадами и все возвышающимся амфитеатром, где лишь изредка можно было заметить пустующее место. Служители с бантами на плече провели нас на теневую сторону, и мы уселись – не слишком высоко – над желтым кругом арены, посыпанной опилками и песком.

Гигантский амфитеатр быстро заполнился вплоть до самого последнего места. Кукук ничуть не преувеличил, рассказывая мне о живописном величии этого зрелища. В яркую картину цирка, казалось, была вписана вся нация, даже высокопоставленная публика на тенистой стороне уже самым своим видом старалась, пусть робко и стыдливо, слиться с народом, там, на солнцепеке.

Некоторые дамы, в том числе иностранки, как, например, госпожа де Гюйон и княгиня Маврокордато, щеголяли высокими гребнями и мантильями, на других, в подражанье национальному костюму крестьянок, были платья, обшитые золотой и серебряной тесьмой, а строгая одежда мужчин являлась как бы знаком внимания к народу или хотя бы к народности праздника.

В гигантском цирке царило радостно выжидательное, но сдержанное настроение, даже на солнечной стороне оно заметно отличалось от обычного настроения черни, чувствующей себя как дома на «мирских» стадионах и спортивных трибунах. Нетерпеливое возбуждение, которое я разделял со всею массой зрителей, уставившихся на пустой еще круг арены, – желтый ее покров вскоре должен был задымиться алыми лужами крови, – явно сдерживалось сознанием предстоящего священнодействия. Музыка на мгновение смолкла, и вместо какой-то концертной вещицы мавритано-испанского характера оркестр заиграл гимн, едва только принц, сухопарый мужчина со звездой на сюртуке и хризантемой в петлице, и его супруга, с мантильей на волосах, показались в ложе. Все встали с мест и зааплодировали. То же самое произошло и несколько позднее в честь совсем другого человека.

Выход принца и принцессы состоялся за одну минуту до трех. Когда часы начали бить, большие средние ворота растворились, под непрекращающуюся музыку пропуская процессию актеров – впереди три меченосца с аксельбантами на коротких болеро, в расшитых узких штанах, доходивших до половины икр, в белых чулках и туфлях с пряжками. За ними – бандерильеры, держащие в руках остроконечные, украшенные пестрыми лентами бандерильи, и столь же нарядно одетые капеадоры с узкими черными галстуками, струящимися по рубашке, и пунцовыми плащами, перекинутыми через руку. За бандерильерами показалась кавалькада пикадоров, вооруженных пиками, в шляпах с развевающимися лентами, на лошадях, стеганные попоны которых, наподобие матрацев, свисали на грудь и бока, и, наконец, упряжка разубранных цветами и лентами мулов, замыкающая процессию, которая двигалась по желтой арене прямо к ложе принца, где

она и распалась, после того как каждый ее участник отвесил почтительный поклон. Я заметил, что некоторые тореадоры, направляясь к защитным барьерам, осеняли себя крестом.

Маленький оркестр снова умолк, внезапно, на полутакте; послышался одинокий и пронзительный звук трубы. Тишина вокруг была немая. И тут из распахнувшихся низких ворот, которых я раньше не заметил, выскакивает и мчится – я перешел здесь на настоящее время, потому что опять словно воочию вижу все это, – мчится нечто стихийное – бык, черный, тяжелый, могучий с виду, – непреодолимое скопище родящей и умерщвляющей силы, в котором древние, ранние народы видели бы богозверя, зверебога; грозно вращаются его глаза, рога изогнуты наподобие тех, из которых пили наши предки, но они крепко вросли в его широкий лоб и на торчащих, загнутых кверху концах несут неотвратимую смерть. Он рвется вперед, останавливается, упершись передними ногами, с яростью смотрит на красный плащ, который один из пикадоров, угодливо согнувшись, волочит по песку арены, бросается на это красное пятно, сверлит его рогами, зарывает в песок, и в тот миг, когда, склонив голову набок, он собирается еще раз ударить рогами красную тряпку, маленький человек отдергивает ее и одним прыжком оказывается позади быка. В ту же самую секунду два бандерильера втыкают пестрые бандерильи в жировую прослойку на его затылке. Бандерильи ушли в нее; они, видимо, снабжены крючками и держатся крепко, так как покачиваются и косо торчат из его тела до самого конца игры. Третий бандерильер всадил ему точно в холку короткую оперенную бандерилью, и это украшение, похожее на распростертые крылья голубя, тоже остается на нем в продолжение всей его дальнейшей смертоубийственной борьбы со смертью.

Я сидел между Кукуком и донной Марией-Пиа. Профессор время от времени наклонялся ко мне и шепотом комментировал происходящее. От него я узнал названия различных участников этой боевой игры. Он же рассказал мне, что бык до сегодняшнего дня вел счастливую жизнь на вольном пастбище, избалованный заботой и учтивым обхождением. Моя величавая соседка справа хранила молчание. Она отводила глаза от бога рожденья и смерти там внизу, на арене, только затем, чтобы укоризненно взглянуть на мужа, когда он говорил. Ее суровое бледное лицо в тени мантильи было неподвижно, но грудь быстро вздымалась и опускалась; уверенный, что она ничего не замечает, я больше смотрел на эту грудь, вздымающуюся от необоренного волнения, чем на проткнутое бандерильями с комично маленькими крылышками, залитое кровью жертвенное животное.

Я называю его так, потому что надо было быть уж очень тупым, чтобы не почувствовать охватившей вся и всех накаленной и в то же время священно радостной атмосферы, окружавшей это ни с чем не сравнимое смешение веселости, крови и благоговения, это пришедшее наружу первобытно-народное начало, это почерпнутое из глубины веков древнее празднество смерти. Позднее в экипаже профессор Кукук, уже получивший право говорить, стал распространяться о том же самом, но моему и без того тонкому, теперь же особенно обострившемуся чутью его ученые домыслы ничего существенно нового не сказали. Веселье и ярость разразились бешеным взрывом, когда бык чуть позднее, осененный внезапной догадкой, что эта неравная игра силы и разума добром не кончится, повернул к воротам, через которые выбежал на арену, и с вонзенными в его жир и мускулы нарядными остриями вознамерился уйти обратно в свое стойло.

По рядам пронеслась буря возмущения и насмешливого хохота. Не только на солнечной стороне, но и на нашей зрители повскакали с мест, свистя, крича, бранясь и отплевываясь. Моя пава тоже вскочила на ноги, свистнула что было силы, показала трусу длинный нос и – «хо-хо-хо!» – пронесся по цирку ее зычный насмешливый хохот. Пикадоры преградили путь быку, тыча в него своими тупыми пиками. Опять пестрые

бандерильи! Некоторые для пущего веселья были снабжены потешными ракетами, которые с треском и шипом взрывались на его живом теле, впивались ему в шею, спину, бока. От боли и оскорбления его мимолетный приступ разума, так возмутивший толпу, перешел в слепую ярость, подобавшую могучему животному в этой смертной игре. Лошадь и всадник уже валялись на арене. Один зазевавшийся капеадор был поднят на рога и тяжело грохнулся наземь. Но взбесившегося быка удалось отвлечь от неподвижного тела, пользуясь его ненавистью к красному цвету; поверженный был поднят и унесен с арены под громкие аплодисменты. Надо сказать, что я так и не понял, к кому они относились: к потерпевшему или к яростному быку – возможно, к тому и другому. Мария да Круц то хлопала в ладоши, то быстро-быстро крестилась, бормоча что-то на своем родном языке, по всей вероятности молитву за здоровье незадачливого капеадора.

Профессор высказал предположение, что бедняга отделался переломом нескольких ребер и сотрясением мозга.

– А вот и Рибейро, – сказал он вдруг. – Красивый мальчик!

От группы участников боя отделился один из эспадо, встреченный громким «ах» и приветствиями, свидетельствующими о его популярности; в то время как все остальные жались к барьеру, он остался на арене один на один с истекающим кровью разъяренным быком. Я обратил на него внимание еще во время процессии, ибо мой глаз немедленно отличает красивое и элегантное от обыденного. Юноша лет восемнадцати или девятнадцати, Рибейро и вправду был писаный красавец. Под черными волосами, спадавшими ему на самые брови, виднелось точеное, типично испанское лицо, на котором играла едва заметная улыбка, возможно, вызванная приемом, оказанным ему зрителями, а возможно, говорившая лишь о презрении к смерти и о сознании своей смелости; при этом черные его глаза смотрели серьезно и спокойно. Вышитая курточка с наплечниками и сужавшимися к запястьям рукавами (ах, крестный Шиммельпристер некогда наряжал меня в точно такую) шла ему не меньше, чем мне в те далекие времена.

Я заметил, что у него тонкие, на редкость аристократические руки; в одной из них он держал вынутый из ножен блестящий дамасский клинок, держал, как трость на прогулке. Другую прижимал к себе пунцовый плащ. Впрочем, дойдя до середины уже взрытой и окровавленной арены, он бросил кинжал в песок и только слегка помахал плащом в направлении быка, всеми силами пытавшегося стряхнуть с себя бандерильи. Затем он встал неподвижно, с чуть заметной улыбкой, серьезным взглядом следя за несущимся на него зловещим мучеником, для которого он был единственной целью, словно одинокое дерево для удара молнии. Он стоял как вкопанный – слишком долго, несомненно, слишком долго. Надо было хорошо знать его, чтобы с ужасом не думать: еще секунда – и он будет сбит с ног, вспорот, убит, растоптан. Но вместо этого произошло нечто удивительно грациозное, тонко продуманное, прекрасное. Рога уже коснулись его, на них повис кусок вышивки с куртки, когда одно-единственное, почти неприметное движение, передавшееся красному плащу, заставило эти орудия смерти ударить туда, где его уже не было, ибо один неуловимый шаг – и он стоял сбоку от чудовища; бык и фигура человека с рукой, вытянутой вдоль черной спины, туда, где рога целились в извивающийся алый плащ, слились в одну дивную группу. Толпа повскакала с мест и с криком: «Рибейро!» и «toigo» – разразилась овацией. Я захолопал в ладоши, то же самое сделала и иберийская пава с бурно вздымающейся грудью.

Я успевал смотреть попеременно то на быстро распавшуюся группу «зверь и человек», то на нее, ибо эта женщина, суровая и стихийная, становилась для меня все более неотделимой от кровавой игры там внизу.

Рибейро в дуэте с *toiro* порадовал нас еще несколькими блистательными трюками; мне уже стало ясно, что все дело здесь в грациозных позах перед лицом опасности, в пластическом единении изящества и могучей силы.

Был момент, когда бык, ослабев и наскучив тщетностью своей злобы, отворотился от Рибейро и тупо уставился в землю, а его партнер, вдруг повернувшись к нему спиной, опустился на колени в песок, тотчас же легко вскочил и пошел на него, склонив голову, высоко подняв одну руку и волоча за собой красный плащ. Это выглядело очень смело, но он был уверен, что рогатый глупец хоть на мгновение да оцепенеет. В другой раз, мчась впереди быка, он почти упал, но удержался на вытянутой руке, далеко отставив другую с бьющимся в воздухе плащом, неизменно повергающим в ярость его четвероногого противника, и тотчас же легким движением перескочил через его спину. Опять раздались оглушительные аплодисменты, за которые он не благодарил, считая, что они в такой же мере относятся к *toiro*, а этот последний не имел вкуса ни к славе, ни к благодарности. Хотя мне даже казалось, что он ощущает непристойность такого обхождения с жертвенным животным, до того, на вольном пастбище, знавшим лишь почтительную учтивость. Но в этом и была соль, которой здесь по-народному приправляли благоговенье перед кровью.

Покончив с игрой, Рибейро подбежал к брошенному им кинжалу, опустился на одно колено, все тем же приглашающим жестом распластал перед собой плащ и стал в упор глядеть, как бык, изготовившийся к нападению, приближается к нему неуклюжим галопом. Он подпустил его совсем близко, вплотную, точно рассчитав секунды, схватил с полу кинжал и молниеносно вонзил в его холку блестящий узкий клинок почти по самую рукоятку. Бык осел, перекатился с боку на бок, на мгновение зарылся рогами в песок, словно это был пунцовый плащ, затих, и глаза его остекленели.

Право же, это был элегантнейший способ убоя. Я как сейчас вижу Рибейро: с плащом под мышкой он идет на цыпочках, словно стараясь потише отойти в сторонку, и оглядывается на свою бездыханную жертву. Но уже во время этой короткой схватки не на жизнь, а на смерть вся публика, как один человек, встала, бурей аплодисментов приветствуя быка – героя страшной игры, который так мужественно вел себя после того, как вначале сделал было попытку удрать с арены. Овация продолжалась до тех пор, пока упряжка мулов не увезла огромную тушу. Рибейро шел рядом с повозкой, воздавая последнюю почесть своему противнику. На арену он уже не возвратился. Под другим именем, в другой жизненной роли, как часть двуединого образа, суждено было мне встретить его несколько позднее. Но об этом в свое время и на своем месте.

Мы видели еще двух быков, менее интересных, как, впрочем, и эспада, сражавшиеся с ними. Один, например, всадил свой кинжал столь неумело, что бык не упал, хотя из него потоком хлынула кровь. Он стоял в такой позе, словно его рвало, расставив ноги, далеко вытянув шею, извергая в песок широкую струю крови, – неприятная картина. Ражий матадор, не в меру франтоватый и очень важничающий, вынужден был дать ему еще «удар милосердия», так что из тела быка торчали уже рукоятки двух кинжалов. Мы ушли.

В экипаже супруг Марии-Пиа научно прокомментировал то, что мы, то есть я, впервые видели сегодня. Он долго говорил о древнем римском веровании^[219 - ...о древнем римском веровании...] – Речь идет о культе Митры, зародившемся в древней Персии и получавшем широкое распространение в Римской империи в нашу эру. Императоры Троян и Домициан официально ввели культ Митры (отождествленного с солнцем) в Риме и в своих легионах. Митра обыкновенно изображался в виде юноши в восточной одежде, вонзающего жертвенный меч в затылок быка. «Божественными» одинаково почитались и жертвоприношитель и жертвенное животное, равно как и кровь, пролитая при культовом жертвоприношении, каковой окроплялись участники мистерий в честь Митры-

Солнца («крещение кровью»). В 355 году император Юлиан Отступник, неудачливый восстановитель и обновитель древнеэллинских верований, заменил на городских форумах и в войске изображение культа агнца или рыбы (символов Христа и христианства) изображениями «двуединого божества» Митры.], спустившемся с вершин христианства до почитания не в меру кроволюбивого бога, культ которого едва не стал поперек дороги культу господина нашего Иисуса Христа как мировой религии, ибо тайны его были очень по сердцу народу. Новообращенных, согласно этому верованию, крестили не водой, но кровью быка, который, возможно, сам был богом и оживал в каждом, пролившем его кровь. В этом учении было какое-то извечное единство, нечто объединяющее жизнь и смерть в неделимое целое, и таинства его тоже зиждились на равенстве и единстве убийцы и убиенного, топора и жертвы, стрелы и цели... Я слушал профессора не слишком внимательно и лишь постольку, поскольку это не мешало мне смотреть на женщину, чья красота и сущность так ярко проявились на этом народном празднике, который, вернув ее к себе самой, сделал тем более достойной восхищенного созерцания. Грудь ее сейчас была спокойна. А я хотел вновь видеть ее вздымающейся.

О Зузу – теперь мне это стало ясно – я начисто забыл во время кровавого спектакля. Тем отважнее я решил исполнить наконец ее настойчивое требование и, благословясь, вручить ей рисунки, которые она заранее считала своей собственностью: голую Заза со спущенными на уши волосами Зузу. На следующий день я снова был приглашен завтракать у Кукуков.

Некоторое похолодание, наступившее после прошедшего ночью дождя, позволило мне надеть пальто, во внутренний карман которого я положил свернутые трубочкой рисунки. Хуртадо тоже был там. За столом разговор вращался вокруг вчерашних впечатлений, и я, чтобы сделать приятное профессору, стал расспрашивать его о «вышедшей в тираж» религии, к которой с вершин христианства спускалась прямая дорожка. Многого он ко вчерашнему добавить не сумел и только возразил мне, что далеко не все ее обряды «вышли в тираж», так как подлинно народные священнодействия искони дымились жертвенной кровью, кровью бога, и пояснил мне связи, существующие между закланием жертвы и вчерашним кровавым празднеством. Я взглянул на грудь хозяйки дома, не вздымается ли она.

После кофе я распрощался с дамами, выговорив себе право нанести им еще последний визит, так как день моего отъезда был совсем близок. Вместе с профессором и сеньором Хуртадо, отправлявшимися обратно в музей, я сел в вагончик канатной дороги и уже в нижней части города простился с ними, выразив надежду на то, что благосклонная судьба в недалеком будущем позволит мне снова насладиться их обществом. Для вида я направился к «Савой паласу», но, зайдя за угол, огляделся по сторонам, повернул обратно и сел в тот же вагончик, отправляющийся наверх.

Я знал, что калитка в палисадник открыта. Погода с самого утра стояла по-осеннему мягкая и солнечная. У донны Марии-Пиа был час сиесты. Я не сомневался, что найду Зузу в садике за домом, куда из палисадника вела посыпанная гравием дорожка. В середине маленького газона цвели далии и астры. В глубине, по правую руку, олеандровые кусты защитным полукругом опоясывали скамейку. Моя милая сидела там под сенью олеандров в платье, похожем на то, в котором я увидел ее впервые, свободном, как она любила, в голубую полоску, с кушаком из той же материи и кружевным шитьем на полудлинных рукавах. Она читала книгу и не оторвалась от нее, не подняла на меня глаз, хотя, конечно, слышала мои осторожные шаги, пока я не встал перед нею. Сердце мое учащенно забилося.

– Ах, – она приоткрыла губы, показавшиеся мне, так же как и ее прелестное лицо, бледнее обыкновенного. – Вы еще здесь?

– Снова здесь, Зузу, я уже побывал в городе и тайком вернулся сюда, чтобы исполнить свое обещание.

– Весьма похвально, – сказала она. – Господин маркиз вспомнил о своем обязательстве, – наконец-то! Эта скамейка мало-помалу превратилась в какую-то ожидальную... – Она сказала лишнее и прикусила язычок.

– Как вы могли подумать, – заторопившись, возразил я, – что я позабуду о нашем уговоре, состоявшемся в той дивной галерее? Можно мне подсесть к вам? Эта скамейка в кустах куда укромнее, чем все остальные, на корте например. Боюсь, что теперь я снова заброшу теннис и разучусь играть...

– Ну, у Мейер-Новаро в Аргентине, наверно, есть теннисная площадка.

– Возможно. Но другая. Мне тяжело расставаться с Лиссабоном, Зузу. Я только что простился с вашим досточтимым отцом. Как замечательно он сегодня говорил о народных священнодействиях. Вчерашняя коррида, мягко говоря, курьезное зрелище.

– Я почти не смотрела на арену. Да и ваше внимание не было нераздельным – как всегда. Но к делу, маркиз! Где мои dessins?[220 - рисунки (франц.)]

– Вот, – отвечал я. – Вы сами этого пожелали, Зузу... Поймите, это продукт моих мечтаний, так сказать, бессознательное творчество...

Она держала в руках эти несколько листков, рассматривая верхний. На нем рукой влюбленного было нарисовано тело Заза в разных позах. Диски серег совпадали и пряди на ушах тоже. В лице сходства было меньше, но что тут значило лицо!

Я сидел прямо, как донна Мария-Пиа, ко всему готовый, на все согласный, заранее глубоко взволнованный всем, что бы ни произошло. Кровь бросилась ей в лицо, едва она завидела собственную обворожительную наготу. Она вскочила, быстро, круто, вдоль и поперек разорвала эти шедевры и пустила трепещущие лоскутки бумаги по ветру. Конечно, так и должно было случиться. Но вот чего не должно было случиться и все-таки случилось, это следующее: какое-то мгновение она с отчаянным выражением лица смотрела на обрывки бумаги, упавшие на землю, но вдруг глаза ее наполнились слезами, она снова опустилась на скамейку, обвила руками мою шею, спрятала пылающее личико на моей груди; короткие прерывистые вздохи вырывались у нее почти неслышно, тем не менее они мне сказали все; в то же время – и это было самое трогательное – маленький кулачок непрерывно и ритмично молотил по моему плечу. Я поцеловал ее руку на моей шее, притянул к себе лицо, покрывая поцелуями ее губы, и они ответили мне, совсем как в моих мечтах, совсем как я этого хотел, как представлял себе это, когда впервые увидел ее, мою Заза на площади О Рочо. И кто же, пробегая глазами эти строки, не позавидует мне? Не позавидует ей, впервые узнавшей любовь, хотя она и молотила по мне кулачком. Но какой неожиданный оборот судьбы! Какая превратность счастья!

Зузу резко откинула голову, разорвала наше объятие. Перед олеандрами и скамейкой, перед нами, стояла ее мать.

Молча, словно нас ударили по только что страстно соединенным губам, смотрели мы на величественную даму; возле ее большого бледного лица с суровым ртом, с нахмуренными бровями и раздувающимися крыльями носа покачивались подвески из черного янтаря. Вернее – смотрел на нее только я; Зузу прижала подбородок к груди и усиленно молотила кулачком, теперь уже по скамейке, на которой мы сидели.

Читатель поверит мне, что я был меньше обескуражен появлением матери, чем это можно было предположить. Возникшая передо мной столь неожиданно, она точно явилась на мой зов, и к понятной моей растерянности вдруг примешалась радость.

– Мадам, – учтиво сказал я, поднявшись с места. – Прошу прощения за то, что потревожил вас в час отдыха. Все это случилось как-то само собой и не переступило границ благопристойного...

– Молчите! – повелела властительница своим удивительно звучным, чуть гортанным голосом и обратилась к Зузу: – Сюзанна, ты сейчас пойдешь в свою комнату и останешься там, покуда тебя не позовут!

Затем она перевела взгляд на меня:

– Маркиз, я хочу поговорить с вами, следуйте за мной.

Зузу уже бежала по газону, который, видимо, и сделал шаги сеньоры неслышными. Сеньора же шла теперь по усыпанной гравием дорожке, и я, послушный ее велению, «следовал» за ней, иными словами, шел не подле нее, а немного поодаль и наискосок. Так мы вошли в дом, затем в гостиную, откуда одна дверь вела в столовую. За противоположной, неплотно прикрытой дверью, видимо, находилось помещение интимного характера. Рука суровой хозяйки дома прикрыла ее.

Наши взгляды встретились. Она была не то что красива, а удивительно хороша собой.

– Луи, – сказала она, – прежде всего мне следовало бы спросить, считаете ли вы, что именно так вам надлежало нас отблагодарить за наше португальское гостеприимство? Нет, молчите! Я отнюдь не хочу утруждать себя этим вопросом, а вас ответом на него. Я позвала вас сюда не затем, чтобы дать вам возможность принести вздорные извинения. Ими вы не искупите неразумия ваших поступков. Чудовищного неразумия. Все, что вам теперь остается и подобает, – это молчать, предоставив человеку более зрелому взять на себя заботу о вас и вернуть вас на правый путь с безответственно ребяческого пути, по которому вы ушли так далеко в вашей юношеской беспечности. Ну можно ли было столько намотать и напортить, поддавшись пагубному стремлению юности к юности. О чем вы думали? Что вам нужно от этого ребенка? Позабыв о благодарности, вы вносите сумбур и смятение в дом, гостеприимно открывший вам свои двери из уважения к вашему имени и прочим качествам, в дом, где царят порядок, разум, твердые правила. Сюзанна рано или поздно, скорее всего в самом недалеком будущем, станет женой дона Мигеля, достойного ассистента дона Антонио Хосе, – такова непреложная воля ее отца. Как же неразумно вы поступили, позволив своим желаниям обратиться на эту девочку. Ваш выбор и ваши поступки недостойны мужчины, это мальчишество. Еще хорошо, что в эту историю вовремя вмешался зрелый разум. Однажды в разговоре вы обмолвились о доброте зрелости, о той доброте, с которой она произносит имя юности. Для того чтобы встреча юности со зрелостью стала счастливой встречей, нужны решительность и отвага, и если бы юность проявила эти качества, вместо того чтобы искать утешенья в детской, она не должна была бы теперь ретироваться, как мокрый пудель, не унося с собой за океан даже сладостного воспоминания...

– Мария! – крикнул я.

– Оле! Хе-хо! А-а-э! – ликуя, крикнула она.

Вихрь первоначальных сил унес меня в края блаженства. И еще выше, еще более бурно

вздымалась ее царственная грудь под жгучими моими ласками, нежели тогда, во время кровавой иберийской игры.

1

Фамилия Шиммельпристер состоит из двух немецких слов: Schimmel – плесень и Priester – пастырь, священник.

2

это так; удивительно; чудесно (франц.)

3

Феликс (felix) по-латыни означает «счастливый».

4

...я любил воображать себя кайзером... – Речь идет о германском императоре и короле прусском Вильгельме I (1797–1888). «Седовласым героем» художник Шиммельпристер называет кайзера потому, что он номинально числился главнокомандующим во время франко-прусской войны 1870–1871 годов (фактически главнокомандующим немецкой армии был начальник генерального штаба Мольтке-старший). В 1871 году Бисмарк осуществил давно намеченное им объединение немецких земель под гегемонией Пруссии, и Вильгельм I, на 75-м году жизни, был провозглашен главою новой («второй») германской империи.

5

лайковый (франц.)

6

юная хозяйка (лат.)

7

...победы истинно Давидовой... – Речь идет о славной победе отрока Давида (позднее, с 1033 года до н.э. царя Израиля) над филистимлянским богатырем Голиафом; автор сравнивает с нею победу симулянта Круля над военной машиной империи

Гогенцоллернов.

8

...в канун Михайлова дня... – Накануне 29 сентября (по католическому церковному календарю).

9

Добрый вечер, господин комиссар. К вашим услугам я и все мое имущество. Перед вами честнейший молодой человек, глубоко уважающий закон; я ничего от вас не утаил. Уверяю вас, что вам никогда еще не приходилось досматривать более невинный багаж. (франц.)

10

Эге! Да вы, видно, забавный мальчуган. Но говорите вы хорошо. Вы что, француз? (франц.)

11

И да и нет. Почти. Наполовину, я бы сказал. Во всяком случае, я страстный почитатель Франции и непримиримый противник отторжения Эльзас-Лотарингии (франц.) – Эльзас и Лотарингия, две восточные провинции Франции, были отторгнуты Германией в 1872 году, согласно Франкфуртскому мирному договору.

12

Мсье, я вас дольше не задерживаю. Можете закрывать чемодан и продолжать свой путь в столицу мира; вас напутствуют добрые пожелания французского патриота (франц.)

13

малыш (франц.)

14

старина (франц.)

15

Господь да благословит вас, дитя мое (франц.)

16

Удивительно! (франц.)

17

мсье консьерж (франц.)

18

Конечно, господин директор! (франц.)

19

новый служащий (франц.)

20

Господи ты боже мой! (франц.)

21

Ну да, ну да! (франц.)

22

вот что я такое (франц.)

23

удачи (франц.)

24

Черт побери! (франц.)

25

Ага, вот и ты! Нам уже не терпелось, чтобы здесь был полный набор! (франц.)

26

эге, красавчик (франц.)

27

для бедного больного из четвертого номера (франц.)

28

Еще не экипировались? (франц.)

29

номер девяносто два (франц.)

30

это его прозвище (франц.)

31

ты, Есташ, никогда не научишься управлять этой гондолой (франц.)

32

Для тебя, что ли, буду стараться! (франц.)

33

Тоже еще философ нашелся! (франц.)

34

ну, неважно (франц.)

35

хорошенькая женщина (франц.)

36

Ах, господин главноуправляющий, неужели вы всерьез спрашиваете меня, говорю ли я по-французски? Тысячу раз прошу извинения, но меня это рассмешило. Ведь это, собственно, почти мой родной язык – язык моей матери, вернее, отца, потому что мой бедный отец – царство ему небесное! – питал в своем нежном сердце необыкновенную любовь, можно сказать страсть, к Парижу и пользовался любым случаем, чтобы подольше пожить в этом дивном городе, где ему были знакомы все закоулки. Уверяю вас, он знал даже такие захолустные улочки, как, например, улицу Небесной Лестницы, и по-настоящему дома чувствовал себя только в Париже. Что из этого следует? То, что я получил, в основном, французское воспитание. Разговор я воспринимал лишь как французский разговор. Болтать для меня значило болтать по-французски, – ах, мсье, ведь этот язык сама элегантность, сама цивилизация, остроумие, вот уж подлинно разговорный язык, да что там, это язык, созданный для беседы... В продолжение всего моего счастливого детства я болтал по-французски с очаровательной демуазель из Веве – из швейцарского Веве, – которая пеклась о моих манерах и подобающем воспитании. Это она научила меня французскому стихотворению, чудесному стихотворению, которое я так часто твержу про себя, и оно буквально сформировало мой язык: Ласточки моей родины, Не расскажете ли вы мне о моей любви? (франц.)

37

Я в отчаянии, господин главноуправляющий, и на все лады клянупоэзию (франц.)

38

Вы говорите по-английски? (англ.)

39

Разумеется, сэр. Конечно же, говорю. Почему бы мне не говорить по-английски? Я очень люблю этот язык. Право же, он прелестен. По-моему, английский язык – это язык будущего. Я готов побиться об заклад, что через пятьдесят лет всякий человек, кроме своего родного языка, будет говорить еще и по-английски... (англ.)

40

Говорите вы по-итальянски? (итал.)

41

Ну еще бы, синьор! Я буквально влюблен в этот прекраснейший язык, самый красивый в мире. Достаточно лишь открыть рот, и он независимо от моей воли становится источником гармонии небесных звуков. Да, дорогой синьор, я не сомневаюсь, что ангелы на небе говорят по-итальянски. Нельзя представить себе, что эти божественные существа пользуются языком менее музыкальным... (итал.)

42

Не поправляйте меня! (франц.)

43

само собой разумеется, мсье... (франц.)

44

Смею заверить, господин главноуправляющий, мне недостает слов, чтобы выразить... (франц.)

45

хорошо, хорошо (франц.)

46

ты, мой милый, будешь возить вверх и вниз хорошеньких женщин (франц.)

47

в этой упаковке товар привлечет внимание хорошеньких женщин (франц.)

48

дядюшка (франц.)

49

Дурак! (франц.)

50

мне наплевать (франц.)

51

решено (франц.)

52

Черт возьми! (франц.)

53

Поцелуемся! Спокойной ночи! (франц.)

54

местного вина (франц.)

55

господин и мадам (франц.)

56

осторожнее (англ.)

57

безбожно богата (франц.)

58

тем лучше для нее (франц.)

59

На второй, не так ли, мадам? (франц.)

60

Да, на второй. Откуда вы знаете? (франц.)

61

знаю, да и все (франц.)

62

вы слишком любезны, мадам (франц.)

63

Я бесконечно рад, мадам, если мой голос не оскорбляет вашего уха! (франц.)

64

И это ухо музыкальное и чувствительное. Впрочем, слух – это не единственное из моих чувств, которое обладает восприимчивостью (франц.)

65

войдите (франц.)

66

Как, в этот миг, когда время уже призывает нас в церковь, вы еще не готовы?
Раздевайтесь скорее! Я считаю мгновенья! Свадебный наряд! (франц.)

67

любовную связь (франц.)

68

возлюбленный (франц.)

69

Я обожаю униженья! Обожаю! О, и тебя обожаю, глупый маленький раб, обесчестивший
меня... (франц.)

70

это смешно до крайности (франц.)

71

под этим псевдонимом (франц.)

72

Полные остроумия, и тома страстных стихов (франц.)

73

интеллекта необыкновенного (франц.)

74

в своей глупости (франц.)

75

Это необыкновенно... это меня захватывает! Арман, любимый (франц.)

76

О небо! (франц.)

77

Ужасно! (франц.)

78

лечь с мыслящим мужчиной (франц.)

79

это любовь трагическая и безрассудная (франц.)

80

невероятно интеллектуальные (франц.)

81

он меня обманывает (франц.)

82

цветенье твоей юности навек опьянило мое немолодое сердце (франц.)

83

Ты ведь никогда не слышал александрийских стихов – и не знал бога воров, хоть ты и сам божествен! (франц.)

84

Но это изумительно! (франц.)

85

Это чудесное унижение, такое возбуждающее, мечта, а не унижение! (франц.)

86

по-джентльменски (англ.)

87

время разрушит тебя, это сердце сохранит твой образ в самый благословенный миг (франц.)

88

Арман, ты будешь жить в моих стихах, в моих романах (франц.)

89

прощай, любимый (франц.)

90

чайных (франц.)

91

сладостей (франц.)

92

дайте же что-нибудь этому мальчику (франц.), дайте ему что-нибудь, он очень мил (англ.)

93

это просто смешно (франц.), этого мало, не скардничай (англ.)

94

между прочим (франц.)

95

высокого вкуса (франц.)

96

вот и я (франц.)

97

дочь воздуха (франц.)

98

ловкого трюка (франц.)

99

Великолепно! Великолепно! (франц.)

100

посмотрим, посмотрим (франц.)

101

Вы согласны? (франц.)

102

если удастся (франц.)

103

храбрость (франц.)

104

Хорошо! (франц.)

105

в добрый час (франц.)

106

до скорого свиданья, мой мальчик (франц.)

107

довольное лицо (франц.)

108

легкого блюда (франц.)

109

старшему (франц.)

110

Ну да, это ты! (франц.)

111

отлично, мадам, сию минуту, мадам (франц.)

112

благодарю, Арман (франц.)

113

Вместо меня. Эдакие сластолюбивые паршивки! (франц.)

114

и по тебе видно, что ты это знаешь (франц.)

115

«Он очень хорош, этот чародей, правда?» Ты далеко пойдешь, голубчик, – прими мои лучшие пожелания и мое благословение (франц.)

116

Шутник! (франц.)

117

Элинор! Если ты не перестанешь пялить глаза на этого мальчишку, я отошлю тебя в твою комнату и ты будешь есть одна до самого нашего отъезда (англ.)

118

первому завтраку (франц.)

119

Доброе утро, мисс Твентимэн. Хорошо ли вы спали? (англ.)

120

я спала очень мало, очень мало, Арман (англ.)

121

нет, я предпочитаю страдать (англ.)

122

но вы и меня заставляете страдать (англ.)

123

О Арман, тогда будем страдать вместе! (англ.)

124

потому что я люблю вас (англ.)

125

просто чепуха (англ.)

126

любви (англ.)

127

свиданье (франц.)

128

Бог мой (франц.)

129

Боже милостивый (англ.)

130

...на гэльском наречии... – Одно из кельтских наречий, на котором говорят в некоторых районах Ирландии, в высокогорной Шотландии и на острове Мэн.

131

Но вы ничего не кушаете, милорд. Шеф будет очень обижен, если вы станете так пренебрегать нашими блюдами (франц.)

132

Арман, я люблю вас так отчаянно и беззаветно, я так страстно вас люблю, так обожаю, и я погибла, погибла, погибла... Скажите, откройтесь мне, любите ли и вы меня хоть чуть-чуть? (англ.)

133

Ради бога, мисс Элинор, будьте осторожны, кто-нибудь может войти... ваша мама, например. Как, скажите на милость, вам удалось удрать от нее? Конечно, я люблю вас, милая маленькая Элинор! У вас такие трогательные ключицы, и вообще вы во всех отношениях прелестная девочка... Ну, а теперь снимите руки с моей шеи и бегите отсюда... Здесь очень опасно. (англ.)

134

Какое мне дело до опасности! Я люблю вас, я люблю вас, Арман, давайте убежим с вами, но прежде всего поцелуйте меня... Ваши губы, ваши губы, я алчу ваших губ... (англ.)

135

Ваши губы! (англ.)

136

милая маленькая Элинон (англ.)

137

Ни поцелуя! Ни ребенка! Бедная я, несчастная! Бедная маленькая Элинон, отверженная, покинутая! (англ.)

138

Маркиз Веноста. Внимание! (франц.)

139

А вы, господин маркиз? (франц.)

140

так себе (франц.)

141

Шутник! (франц.)

142

моя бедная мать (франц.)

143

мои бедные родители (франц.)

144

замки (англ.)

145

свежести молодости (франц.)

146

ты меня доведешь до белого каления (франц.)

147

простой и ясный (франц.)

148

Превосходно! (франц.)

149

Он неподражаем, этот дерзкий юнец! (франц.)

150

псевдоним (франц.)

151

Как вы поживаете? (франц.)

152

Очень забавно! (франц.)

153

Посмотрим! (франц.)

154

Наконец! (франц.)

155

образ жизни (лат.)

156

мой дорогой папа (франц.)

157

Вы очаровательны! (франц.)

158

Ну, а сейчас спокойной ночи, господин маркиз! (франц.)

159

Мы остались при своем решении, правда? (франц.)

160

это дело решенное (франц.)

161

черт возьми (франц.)

162

сюртук (англ.)

163

добрый вечер, мсье (франц.)

164

Древовидный папоротник – Растение каменноугольного периода. Современные тропические древовидные папоротники, ствол которых достигает 20 метров в высоту, не являются столь древними, как утверждает Кукук. Они впервые появляются не в каменноугольном периоде, относящемся к первичной эре истории земли (палеозою), а лишь в конце вторичной эры (мезозоя) – в меловом периоде.

165

Морские звезды не являются «потомками» морских лилий: эти два класса иглокожих животных развились в кембрийском периоде (т.е. в начале палеозоя) из общих для них докембрийских, более примитивных предков, очень рано обособились друг от друга и образовали два самостоятельных ствола единого родословного дерева. Описанная Кукуком смена стадий развития (прикрепленная личинка и свободно плавающая взрослая форма) характерна не для морских звезд, а для некоторых видов морских лилий: взрослые морские звезды – не плавающие, а медленно ползающие по дну животные.

166

В лице профессора Антонио Хосе Кукука Томас Манн нарисовал обобщенный образ биолога-идеалиста начала XX века. Трудно сказать, почему автор окрестил его комической фамилией Кукук (что по-немецки значит кукушка). Быть может, он хотел этим подчеркнуть любовь профессора Кукука к разговорам о «недолговечности жизни», к предсказаниям скорых сроков гибели человечества; а ведь известно, что кукушке народ приписывает дар предсказывать, сколько лет кому положено прожить. Это предположение кажется тем более вероятным уже потому, что длительность отдельных геологических эпох и периодов Кукуком повсюду резко преуменьшается по сравнению не только с принятыми в наше время представлениями, но и с представлениями, господствовавшими в конце XIX и начале XX веков. Такое систематическое, а потому, надо думать, неслучайное «сокращение сроков жизни» как бы предназначено для

удержания народов от борьбы за новый, справедливый миропорядок, рассчитанный на непрерывную череду поколений. Впрочем, очень вероятно, что Томасу Манну фамилия Кукук встретилась на обложке книги петербургского немца, врача Мартина Кукука, изданной в Лейпциге (на немецком языке) в 1907 году под претенциозным заглавием «Разрешение проблемы самопроизвольного зарождения жизни». Это предположение (вполне совместимое с ранее высказанным) кажется тем более соблазнительным, что Мартин Кукук, как и Антонио Хосе Кукук, в своих рассуждениях о происхождении жизни исходит из получивших в начале века громкую известность работ немецкого физика Лемана по жидким кристаллам. В биологических и палеонтологических пояснениях, даваемых Антонио Хосе Кукуком герою романа в вагоне и затем в музее, содержится много фактических ошибок, которые нельзя объяснить состоянием научной мысли начала века. Но прежде, чем остановиться на частностях, – несколько слов об эволюционной концепции Кукука. Философствующий биолог развертывает перед своим слушателем картину протекавшей на протяжении истории земли последовательной смены форм жизни, начиная с примитивных одноклеточных организмов и кончая появлением человека. В соответствии с общепринятыми эволюционными представлениями Кукук признает генетическую связь организмов, их происхождение друг от друга в процессе эволюции, все более и более возрастающее усложнение их организации. Однако в своем объяснении эволюционного процесса Кукук явно придерживается идеалистических представлений. Его общая схема эволюции мира сводится к следующему: «Сотворение мира свершилось не один раз, а трижды: возникновение бытия из небытия, пробуждение жизни из бытия и рождение человека». Бытие для Кукука только «эпизод» в бесконечной череде небытия: «...первое содрогание бытия прорвалось из небытия благодаря некоему „да будет“, уже неизбежно вобравшему в себя „да преидет“. Точно так же и жизнь возникла из бытия благодаря новому фидеистическому „да будет“ творца, а когда природа в своем развитии дошла до человека, понадобилось еще и третье „да будет“. Кукуку явно не нравится учение о происхождении человека от обезьянообразных предков: „...не надо, – говорит он, – чтобы нас так уж ослепляло сходство его внутренних органов с органами человекоподобных обезьян, из-за этого и так было поднято слишком много шума“. Но в то же время он отнюдь не отрицает генетической связи человека с животным миром, с характерной, однако, оговоркой: „...человек произошел от зверя в той же мере, в какой органическое произошло от неорганического. Тут примешалось что-то еще“ (очевидно, все то же третье „да будет“). Эта общая мистико-идеалистическая концепция мира определяет и ту „теорию“ процесса эволюции органического мира, которую развивает Кукук. Ученый ни звуком не упоминает о теории естественного отбора Дарвина, дающей материалистическое объяснение приспособляемости животных и растений к условиям среды, предпочитая говорить: о „первозданной способности хлорофилла“, о том, что весь мир вымерших организмов можно рассматривать как „предварительные эксперименты для-создания... человека“, о том, что гигантские динозавры юрского периода были „досадливо отвергнуты природой“, о том, что, совершенствуя строение „гигантского муравьеда“ и саблезубого тигра, „природа только подшучивала над обоими и, доведя своих детищ до предела их возможностей, взяла да и покинула их в беде“ и т.п. Такая система воззрений приводит Кукука, в конечном счете, к отрицанию причинного объяснения явлений природы: „Что, собственно, думает природа? Да ровно ничего. И человеку нечего о ней раздумывать, ему остается только дивиться ее деятельному равнодушию...“ Очевидно, что Томас Манн не разделял воззрений Кукука. Он намеренно столкнул своего авантюриста с ученым, подведившим „теоретическую базу“ под воззрения господствующих классов современного буржуазного мира, „живущего под знаком конца“.

И от носорога. – Лошадь не происходит от тапира или носорога. Лошадь, тапир и носорог – рано обособившиеся друг от друга самостоятельные ветви родословного древа непарнокопытных, развившиеся из общих для них доэоценовых предков. *Eohippus* – не родоначальник тапиров, а древнейшая вымершая форма лошади.

168

Эоцен действительно относится к «новейшей» эре истории земли (кайнозой); однако от эоцена нас отделяют не «несколько сот тысячелетий», как утверждает Кукук, а по меньшей мере 50–60 миллионов лет.

169

...его развитие завершилось значительно позднее, вместе с развитием млекопитающих... – Кукук сам говорит, что человек вряд ли существовал в эоцене. В настоящее время считается, что человек выделился из животного мира как самостоятельный вид около миллиона лет назад (не ранее начала четвертичного периода). Между тем млекопитающие впервые появляются около 200 миллионов лет назад.

170

Органическая жизнь на земле... – Поскольку уже в архейской эре (до протерозоя и палеозоя), несомненно, существовали какие-то примитивные организмы, продолжительность жизни на земле составляет (по современным подсчетам) не 550, а по меньшей мере около 1500 миллионов лет.

171

...морские водоросли – ничего другого там не встретишь. – Помимо широкого развития водорослей и бактерий, в кембрии констатировано появление первых наземных простейших растений – псилофитов. Что касается животного мира, то в кембрии были представлены не только все типы беспозвоночных, но, по всей вероятности, и первые, наиболее примитивные позвоночные животные. Наземные позвоночные и насекомые появляются в каменноугольном периоде, т.е. не 50, а примерно 250 миллионов лет назад (даже в конце XIX века отдаленность от нас каменноугольного периода исчислялась в 185 миллионов лет). Млекопитающие, как уже было указано, возникают в триасовом периоде мезозоя, а птицы позже – в юрском периоде.

172

...у него была склонность передвигаться в вертикальном положении. – Описываемый Кукуком бронтозавр или диплодок (крупнейшие позвоночные, когда-либо жившие на земле) в действительности передвигались на четырех ногах. Вертикальный способ

передвижения был свойствен большому числу других динозавров, значительно меньшего, однако, размера, чем диплодок и бронтозавр. Среди динозавров были как травоядные, так и хищники, и последние во всяком случае вовсе не отличались «добродушием».

173

...сколь первобытными остались руки и ноги человека... – В процессе эволюции человека как его конечности, так и его мозг претерпели громадные изменения: если руки человека превратились в тончайшее орудие для выполнения самых сложных трудовых процессов, то его мозг стал органом нашей познавательной деятельности. Поэтому очень трудно «измерить», насколько более «первобытными» остались руки и ноги человека по сравнению с его мозгом.

174

Хлорофилл (зеленый пигмент растений) представляет собой органическое соединение, близкое по своему химическому составу к красящему веществу (пигменту) гемоглобина в крови животных. Как известно, важнейшая функция хлорофилла заключается в поглощении световой (солнечной) энергии, которую он трансформирует в химическую энергию веществ, образующихся в процессе фотосинтеза. В результате фотосинтеза растения из углекислого газа и воды образуют органические вещества, необходимые для их развития, роста и жизнедеятельности. Таким образом – в противоположность животным, не обладающим этой способностью, – растения могут преобразовывать неорганические вещества в органические. Это, собственно, и хочет сказать Кукук, прибегший к высокопарному термину «первозданная способность хлорофилла».

175

...одно природное царство наглядно переходит в другое... – Жидкими кристаллами немецкий физик Леман назвал в начале XX века такие жидкости, у которых некоторые физические свойства (например, преломление света) распределяются неодинаково по различным направлениям и плоскостям. Своеобразные физические особенности жидких кристаллов привели Лемана и некоторых других ученых к попытке провести аналогию между жидкими кристаллами и живым веществом клеток животных и растений и на этом пути искать разрешения проблемы возникновения живого из неживого. Позднейшие исследования показали несостоятельность выдвинутой Леманом аналогии.

176

Животное переходит в растительное... – Границу между растительным и животным миром действительно трудно провести, когда мы подходим к некоторым наиболее примитивно устроенным одноклеточным организмам. Однако рассуждение Кукука о том, что «животное переходит в растительное», основанное на чисто внешнем сходстве сидячих морских лилий, являющихся совершенно несомненными животными и достаточно высоко развитыми, с цветком, а также на факте питания насекомоядных

растений животной пищей, отдаёт старинными представлениями XVII—XVIII веков (питание животной пищей – вторичное приспособление, наблюдающееся у некоторых высокоразвитых цветковых растений).

177

Современных нам одноклеточных нельзя называть «п्राживотными», ибо не они, а какие-то их прародичи дали начало другим более высоко организованным типам растений и животных.

178

человека разумного (лат.)

179

вот он, любопытный путешественник (франц.)

180

правильно (франц.)

181

фейерверк (франц.)

182

Зузу, вы совершенно невозможны (франц.)

183

это правильное слово (франц.)

184

в семейном кругу (франц.)

185

До завтра. Благодаря гостеприимству моей матери (франц.)

186

Но, мадемуазель Заза... (франц.)

187

Извините меня за эту оговорку, очень вас прошу! (франц.)

188

...но яйцекладущие млекопитающие и тупорылые гиганты муравьеды... – Это, конечно, недоразумение. Костный панцирь имелся не у «гигантских муравьедов», а у так называемых глиптодонтов – громадных вымерших броненосцев Южной Америки, имевших около 3 метров в длину. Ископаемые муравьеды вообще неизвестны. Путаница, вероятно, объясняется тем, что вымершие глиптодонты, мегатерии (наземные ленивцы) и другие неполнозубые являются родичами современных маленьких броненосцев, древесных ленивцев и муравьедов.

189

Саблезубые тигры охотились не на глиптодонтов, а главным образом на мастодонтов и мамонтов, толстую кожу которых они кололи и резали своими громадными верхними клыками.

190

...писал на стене цветными соками... – Для идеалиста Кукука рождение искусства есть акт появления гениальной личности, которая в силу каких-то внутренних стимулов начала рисовать, резать на кости и пр. В действительности рисунки первобытных людей каменного века имели в их глазах магическое значение: отправляясь на охоту, рисовали животных, на которых предстояла охота, бросали в изображения дротики (а иногда и изображали эти дротики вонзившимися в тело животного) и тем «обеспечивали» себе удачную охоту.

191

Кониферы – хвойные.

192

первобытный (франц.)

193

Иоанн-Фердинанд (1865–1927) – племянник и наследник бездетного короля Румынии Карла I; с 1914 года – король, участник (с 1916 г.) первой мировой войны и душитель молодой Венгерской советской республики в 1919 году.

194

...заикаясь и пришепетывая... – Наследственный дефект речи представителей династии Гогенцоллернов-Зигмаринген, занимавшей румынский княжеский, позднее королевский престол с 1866 по 1947 год.

195

званого вечера (франц.)

196

Карлос I (1863–1918) – король Португалии с 1889 года. В 1910 году свергнут с престола в результате буржуазной революции, провозгласившей Португальскую республику.

197

Браганца – низложенная (в 1910 г.) династия португальских королей, незаконная ветвь угасшего (в 1580 г.) бургундского дома; укрепилась на португальском престоле с 1640 года после народного восстания, положившего конец испанскому владычеству (1580–1640) в Португалии. В 1859 году фамилия Браганца была унаследована сыновьями последней представительницы дома Браганца Марии II да Глория и ее мужа, саксонского герцога Фердинанда. Карлос I – внук последней Браганца.

198

посланник (франц.)

199

Этот новый торговый договор... но все это легко устроить благодаря вашему всем известному умению... (франц.)

200

Очень нравится, государь! Я захвачен красотой вашей столицы, поистине достойной быть резиденцией такого великого государя (франц.)

201

в добрый час (франц.)

202

милый посланник (франц.)

203

манеры себя держать (франц.)

204

Прелестен! Прелестен! (франц.)

205

удар слева (англ.)

206

партия в теннис один на один (англ.)

207

несколько фантастическая, однако (франц.)

208

до свиданья (франц.)

209

чтобы исправить природу (франц.)

210

недурен (франц.)

211

ужин в саду (англ.)

212

отец семейства (лат.)

213

ну да (франц.)

214

вот и вся музыка (франц.)

215

человеческая красота (франц.)

216

Фи! Замолчите! (франц.)

217

ошибкой (франц.)

218

неловко (франц.)

219

...о древнем римском веровании... – Речь идет о культе Митры, зародившемся в древней Персии и получавшем широкое распространение в Римской империи в нашу эру. Императоры Троян и Домициан официально ввели культ Митры (отождествленного с солнцем) в Риме и в своих легионах. Митра обыкновенно изображался в виде юноши в восточной одежде, вонзающего жертвенный меч в затылок быка. «Божественными» одинаково почитались и жертвоприноситец и жертвенное животное, равно как и кровь, пролитая при культовом жертвоприношении, каковой окроплялись участники мистерий в честь Митры-Солнца («крещение кровью»). В 355 году император Юлиан Отступник, неудачливый восстановитель и обновитель древнеэллинских верований, заменил на городских форумах и в войске изображение культа агнца или рыбы (символов Христа и христианства) изображениями «двуединого божества» Митры.

220

рисунки (франц.)